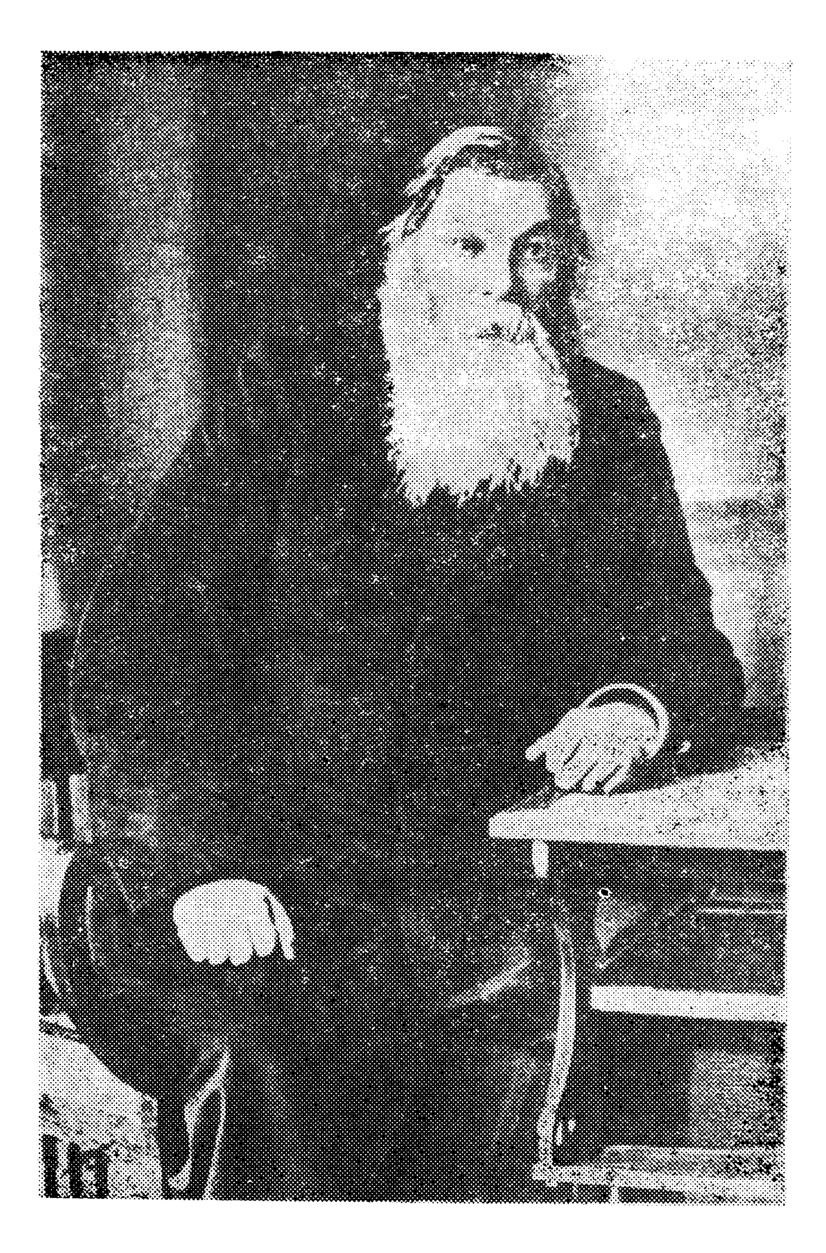
И·Я·ЯКОВЛЕВ

Воспоминания

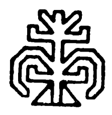


*Научно-исследовательский институт
языка, литературы, истории и экономики
при Совете Министров Чувашской АССР*



И. Я. ЯКОВЛЕВ

Воспоминания



ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ,
ДОПОЛНЕННОЕ

Чебоксары
Чувашское книжное издательство
1983

ББК.74.03(2)
Я 47

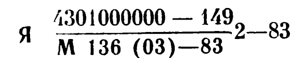
Печатается по постановлению Ученого Совета
Научно-исследовательского института
языка, литературы, истории и экономики
при Совете Министров Чувашской АССР
от 18 октября 1977 г.

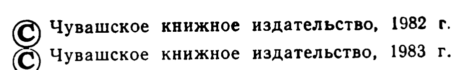
Подготовка текста

*О. П. Яковлевой, О. А. Яковлевой, Н. Г. Краснова,
Г. А. Александрова*

Рецензенты:

С. У. Манбекова, ст. научный сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС
Н. Е. Егоров, кандидат исторических наук.


Я $\frac{4301000000 - 149}{\text{М } 136\ (03) - 83}$ 2—83



ПРЕДИСЛОВИЕ

20 апреля 1918 года В. И. Ленин из Москвы телеграфировал:

«Симбирск

Председателю Совдепа

Сообщите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей чувашской женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным подъемом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яковлева надо не отрывать от дела его жизни.

Председатель Совнаркома *Ленин*»*.

Этой телеграммой вождь мирового пролетариата не только взял автора настоящих воспоминаний, выдающегося чувашского педагога-демократа и просветителя Ивана Яковлевича Яковлева под защиту молодого Советского государства, но и дал лаконичную и емкую оценку его деятельности. В. И. Ленин видел в И. Я. Яковлеве поборника национального подъема родного народа в тяжелых условиях царизма.

Сто с лишним лет назад в губернском городе Симбирске И. Я. Яковлев зажег первый огонек чувашского просвещения — организовал, будучи гимназистом, по своей инициативе и на собственные средства школу, ставшую впоследствии центром просвещения и культуры чувашей, подготовки учителей. Возглавляя школу и в течение ряда лет являясь инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, И. Я. Яковлев открыл десятки училищ в разных уголках Поволжья, создал прогрессивную систему школьного образования в крае, стал крупным теоретиком и практиком обучения в национальных школах. Он является создателем чувашской письменности на основе разработанного им алфавита, который без значительных

---

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 61.

изменений используется и поныне. Он автор первых учебников для чувашских учащихся на их родном языке, собиратель и исследователь устно-поэтического народного творчества и быта, переводчик, организатор чувашской издательской деятельности в дореволюционное время. В Симбирской школе при участии и содействии И. Я. Яковлева зародилась и окрепла чувашская литература, появились ростки национального музыкального, изобразительного и театрального искусства.

Воспоминания Ивана Яковлевича Яковлева — это рассказы о своей жизни и деятельности. Они охватывают большой промежуток времени—вторую половину XIX—начало XX веков, приходящийся на переломный период исторического развития России. Революционная ситуация 1859—1861 годов, отмена крепостного права, развитие капиталистического способа производства, широкий размах революционного и национально-освободительного движения, борьба между прогрессивными и реакционными силами определяли содержание этого периода. Воспоминания воссоздают картину тех лет, когда, преодолевая бесконечные трудности и препятствия, по тернистым тропам постоянных поисков И. Я. Яковлев вышел на путь осуществления дела своей жизни — помочь национальному подъему чувашского народа, приобщению его к культуре великого русского народа и сближению с ним.

Первые же строки воспоминаний вводят нас в безрадостный мир детства И. Я. Яковлева. Он рано лишился матери, был взят на воспитание в семью удельных крестьян Пахомовых (Кирилловых). «В раннем детстве,— вспоминает он,— я был больным, хилым, тщедушным, малорослым, молчаливым ребенком, что, главным образом, зависело от дурного, недостаточного, не соответствовавшего детскому моему возрасту питания в чувашской семье Пахомовых, меня как бы усыновившей... Для объяснения этого считаю нужным заметить, что во время моего детства вообще чувашское население питалось скверно, что зависело и от бедности и от разного рода предрассудков, обычаев, ложных мнений». Когда мальчику исполнилось восемь лет, его увезли по повинности в Бурундукское удельное училище. Автор воспоминаний указывает, что это училище постановкой обучения и порядками в нем «имело глубоко развращающее влияние на детей и подростков» и не оставило у него «сколько-нибудь благодарного воспоминания».

Яковлев рано познал жизнь с ее трудностями, несправедливостью и самодурством крепостников и других власть имущих, в то же время видел честность, человечность и трудолюбие простых людей, что, несомненно, сказалось на его формирующихся взглядах и убеждениях. Еще в ранние годы он был свидетелем тесного общения чувашей и русских, того, как эти народы «уживались между собой довольно хорошо». Но активно знакомиться с русским бытом и людьми он начал, находясь в Бурундуках. Значительную роль в его жизни сыграла семья русских крестьян Мушкеевых, у которых он в течение нескольких лет жил на квартире в период учебы в удельном училище и был окружен их заботой. Они приобщили его к русской культуре, привили любовь к русскому народу.

Расширению кругозора и жизненного опыта способствовали учеба в г. Симбирске на землемера, которую И. Я. Яковлев называет следующей переходной ступенью, и служба в удельном ведомстве. «Командировки на землемерные работы в различные местности трех губерний, населенных разнородным населением (русскими, чувашами, татарами, мордвой),— вспоминает он,—имели в жизни моей огромное воспитательно-образовательное значение, знакомя меня с нравами, обычаями, особенностями разных народностей и наводя мысль на параллели между ними по отношению к типам, характерам, обстановке быта и т. д.». Он становится очевидцем того, в каких невыносимых условиях прозябали трудящиеся массы. Невозможно было оставаться равнодушным к их судьбе. Много думал в эти годы молодой Яковлев над тем, как помочь родному народу выйти из нищеты и темноты. И он пришел к выводу, что наиболее верный путь освобождения народа от вековой отсталости и служения ему — его просвещение и образование. Но для этого самому надо было получить образование, завоевать гражданские права, хотя для «инородца», как называли в царской России лиц нерусской национальности, это было нелегко. Упорно и с присущей ему настойчивостью Яковлев начал готовиться к поступлению в гимназию. Много раз он обращается в удельный округ и Петербург с просьбой освободить его от службы в удельном ведомстве, но непременно получает отказ. Лишь в конце 1866 года он добился увольнения из удельного ведомства и в следующем году поступил в V класс Симбирской гимназии, которую, благода-

ря усердной учебе, через три года окончил с золотой медалью.

В период подготовки к поступлению в гимназию и учебы в ней Яковлеву повезло на прогрессивных людей. Он знакомится с «нигилистом» Мукосеевым, показавшимся ему впоследствии «совершенно похожим на Базарова» из романа «Отцы и дети» И. С. Тургенева, Раевскими, в семье которых были живы пушкинские традиции вольности, семьей либералов Глазовых и др. Многие из них приняли непосредственное участие в судьбе И. Я. Яковлева, оказали помощь при поступлении в гимназию. В гимназические годы он изучал русскую и зарубежную классику, читал Белинского, Писарева и Добролюбова. К этому времени относится начало его публицистической и переводческой деятельности.

«В 1868 году,— пишет И. Я. Яковлев,— у меня окончательно окрепла решимость относительно просвещения чувашей и необходимости создания для них с этой целью особой чувашской школы». В том году, находясь на каникулах в родной деревне Кошках, Яковлев уговорил Алексея Рекеева, окончившего курс в Бурундукском училище, приехать на учебу в Симбирск.

Будущего ученика Яковлев устроил на своей квартире и взял на собственное содержание. С помощью товарищей по гимназии Соколова и Панаева ему удалось подготовить Рекеева для учебы в уездном училище. Скоро Яковлев вызвал на учебу еще троих юношей. Эти молодые люди стали первыми учениками необычного учебного заведения — общежития-школы, которая существовала в первое время неофициально, как его частное предприятие. Она не прекратила своей деятельности и с поступлением Яковлева в 1870 году в Казанский университет.

В 1871 году школа при поддержке и содействии представителей русских демократических кругов и прежде всего выдающегося педагога-демократа и просветителя Ильи Николаевича Ульянова, прибывшего осенью 1869 года в Симбирск на должность инспектора народных училищ губернии, была признана официальным учебным заведением и принята на бюджет Министерства народного просвещения. Постепенно развиваясь, она превратилась в учебное заведение, готовившее учителей, ставшее центром чувашской культуры.

Основная часть воспоминаний И. Я. Яковлева посвящена рассказу о его просветительной деятельности, со-

бытиях и лицах, так или иначе связанных с ней. Перед нами предстает масштабная и целеустремленная личность, которая находится в постоянных и многообразных хлопотах о своем детище — школе и ее воспитанниках, а с назначением в 1875 году инспектором чувашских школ Казанского учебного округа — и об открытии школ и организации их работы в местах, населенных чувашами, облегчении жизни крестьян, развитии их культуры.

Из воспоминаний читатель узнает, как, следуя примеру И. Н. Ульянова, И. Я. Яковлев открывал школы в самых глухих местах Симбирской, Казанской, Самарской и других губерний, назначал учителей, обеспечивал их учебными материалами, устанавливал систему преподавания и управления школами, инспектировал их, проводил учительские съезды и курсы. Он хотел, чтобы приобретаемые трудящимися массами знания были практически полезны. Поэтому просветитель поощрял попытки организовать в отдельных населенных пунктах сельскохозяйственные школы с практическим обучением по разным отраслям сельского хозяйства.

«Главное мое внимание,— указывает Иван Яковлевич,— было обращено в течение 50 лет на Симбирскую чувашскую школу как на учебное заведение, откуда должен был бы исходить свет, разгонявший тьму, висевшую над родным мне чувашским народом». На нее, как он справедливо отмечает, ушла лучшая часть его жизни. Просветитель осуществлял руководство всей педагогически-воспитательной и хозяйственной деятельностью в школе. В ней он преподавал, лично участвовал в воспитательной работе. В школе большое значение придавалось трудовому обучению. С целью насаждения сельскохозяйственных знаний и трудового воспитания, а также обеспечения воспитанников продуктами питания при школе была организована уникальная для того времени сельскохозяйственная ферма. Школа была учреждением подлинно демократическим. В нее принимались преимущественно дети трудящихся крестьян. Известно немало случаев личного участия И. Я. Яковлева в судьбе детей из бедных семей.

Симбирская чувашская школа благодаря И. Я. Яковлеву, который хорошо знал историю и культуру чувашского народа, вел активную издательско-переводческую деятельность, «сделалась как бы справочным центром по разного рода вопросам, связанным и с жизнью чувашей,

и с переводческо-издательским делом, а также складочным местом изданий на чувашском языке».

Педагогическая система И. Я. Яковлева основывалась на лучших традициях прогрессивной отечественной, зарубежной и народной педагогики. Она исходила из идей служения народу, включала принципы, методы и средства, направленные на всестороннее развитие личности. Разумеется, некоторые его педагогические положения сегодня устарели, но интерес к ним не теряется.

Как отмечает И. Я. Яковлев, в преобразовательных начинаниях он не находил необходимой поддержки со стороны гражданских властей и правящих классов. Отношение губернаторов к нему и «чувашскому делу» (так называет он свою работу по просвещению и национальному подъему чувашей) большей частью было равнодушное, безразличное. Симбирское высшее дворянство, за редким исключением, относилось к нему, выходцу из народа, свысока, а чувашской школой совершенно не интересовалось. «Дворяне из тех, что были помельче,— указывает И. Я. Яковлев,— при случае или лягали меня, или глупо высмеивали». Мало помощи и поддержки видел он от земства, отдельные деятели не скрывали даже враждебного и презрительного отношения к нему. Поэтому просветителю иногда приходилось прибегать к различным уловкам, устанавливать личные отношения и связи, чтобы вырывать от земства «пустяки». И. Я. Яковлеву удавалось склонять к благотворительности в пользу школы отдельных купцов, используя их честолюбие, стремление к наградам и популярности ради выгод в предпринимательстве.

У И. Я. Яковлева появилось немало врагов, которые выдвигали против него обвинения в сепаратизме, т. е. стремлении отделить чувашей от русских. Сплетни и пересуды о сепаратизме И. Я. Яковлева постоянно ходили среди помещиков, писались даже доносы на него. В травле на него участвовали епископы, архиереи, священники, губернаторы, чиновники Казанского учебного округа и др. Недруги ненавидели общественно-педагогическую деятельность И. Я. Яковлева, его переводы, школу, систему просвещения. Возникал вопрос о его политической благонадежности, а одно время он был под жандармско-полицейским надзором.

Просветительная деятельность И. Я. Яковлева развернулась в тот период, когда царизм и крепостники ду-

шили нерусские народности, проповедовали идею вымирания «инородческих» племен. Нищенское прозябание трудящихся, их забитость, темноту и безграмотность, обусловленные социально-экономическим строем, они выдвигали в качестве подтверждения своих реакционных теорий о «недееспособности» и «вечной инертности» этих народов. Однако для И. Я. Яковлева именно бесправие родного народа, его нищета и темнота оказались побудительным толчком для его благородной просветительной деятельности. Он питал сыновнюю любовь к родному народу. Его общественно-просветительная работа была продиктована прежде всего этим чувством, но он никогда не противопоставлял его другим народам, ему были чужды проявления национальной ограниченности, национального эгоизма. «Русские, татары, чуваши — все одно — люди»,— учил он детей в первых же своих букварях. Он видел духовную общность этих народов, сходство их представлений и взглядов, объясняемые одинаковой географической и этнографической средой, идентичностью хозяйственных занятий, проживанием в одной стране, и активно способствовал укреплению дружественных связей между народами. Он остро переживал бедственное положение всех народов Поволжья, в одинаковой степени стремился к их просвещению. В мемуарах он пишет: «В деле просвещения народа я никогда не проводил резкой разницы между инородцами и русскими, работая с одинаковой энергией и убежденностью для тех и других».

И. Я. Яковлев глубоко и искренне любил Россию, верил в нее, видел в русском народе ведущую силу. Поэтому он в воспоминаниях с полным основанием заявляет, что считал себя русским гражданином, русским общественным деятелем, пользу чувашскому народу не отделял от пользы России, русскому народу.

И. Я. Яковлев выступал за распространение христианства среди чувашей. Это соответствовало его воззрениям, он был верующим, хотя его вера не отличалась фанатизмом. И. Я. Яковлев был убежден в том, что отрыв чувашей от язычества и вовлечение в христианство способствуют сближению их с русским народом, привитию им более высокой, как он пишет, «русско-христианской» культуры, а также сохранению их как народности. Автор воспоминаний замечает, что приобщение чувашей к христианству, распространение среди них религиозной литературы являлось его служебной обязанностью как инспектора

чувашских школ Казанского учебного округа. Следует иметь в виду, что религиозные моменты отражают слабую сторону чувашского просветителя. Они не превалировали над светским и в личной жизни, и в общественной деятельности И. Я. Яковлева, а также в основанных и опекаемых им школах.

В своих воспоминаниях И. Я. Яковлев указывает, что политическая деятельность его не привлекала. Но полностью стоять в стороне от нее он не мог. В том, что касалось вопросов просвещения чувашей и других национальностей, сближения народов, защиты экономических интересов крестьянства, он выступал активным политическим и общественным деятелем.

И. Я. Яковлев, искренне и страстно сочувствуя страданию народных масс, видя их тяжелую жизнь и нужду, защищал крестьян в спорах с помещиками, «закоренелыми крепостниками», выдвигал свои проекты по земельному вопросу. Не останавливался перед большими личными расходами, когда нужно было выезжать для разрешения всевозможных конфликтов и недоразумений па этой почве. Немало времени уделял он этому при инспектировании школ. Но, видя проблему, он не знал подлинных путей выхода из создавшегося положения, революционного решения земельного и других социально-экономических вопросов. Обеспечить крестьян землей и освободить от эксплуатации, по его ошибочному представлению, можно было, не прибегая к крутой ломке существующих отношений, форм собственности, а путем реформ и совершенствования порядка переделов земли, ее выкупа и т. д. Он, с одной стороны, стремился к «улучшению» законов, с другой,— хотел поднять уважение к ним со стороны народных масс, равно как и со стороны землевладельцев и других частных собственников. И. Я. Яковлев сочувствовал крестьянам в их борьбе, при волнениях и бунтах, но был противником этих волнений и бунтов. Здесь проявилась противоречивость и незрелость общественно-политических взглядов И. Я. Яковлева, что отражало в конечном итоге отсталость общественных отношений дореволюционной Чувашии и чувашского крестьянства.

Воспоминания И. Я. Яковлева в указанной части интересны тем, что в них он дает описание тяжелого положения народных масс, показывает лицо крепостников, которые притесняли и эксплуатировали их, описывает свои взгляды на земельно-крестьянский вопрос, свои попыт-

ки заступиться за крестьян, вмешаться в возникавшие конфликты. Он упоминает о крестьянах, бедняках, кулаках, помещиках, крепостниках, рабочих, эксплуатации, что, важно заметить, опровергает существующее в научной, а также художественной литературе представление о том, что И. Я. Яковлев якобы не видел классов и классовых противоречий в современном ему обществе, ограничивался лишь делением людей на богатых и бедных. В действительности просветителю были известны классы, но он не понимал до конца их сущности и исторического назначения, был свидетелем и классовых противоречий, но не видел путей их революционного решения. Ограниченность и противоречивость социально-политических взглядов И. Я. Яковлева сказались и в отсутствии в воспоминаниях правильной оценки сущности и характера первой империалистической войны и некоторых других важных моментов общественной жизни описываемого периода.

Читатель с интересом узнает о том, что текст речи казанского профессора А. П. Щапова на панихиде по расстрелянным царскими властями восставшим крестьянам села Бездна был сохранен для истории И. Я. Яковлевым, что он сочувствовал воспитанникам Симбирской школы, замешанным в «революционном брожении» 1905—1907 годов, и др.

В своих мемуарах И. Я. Яковлев дает целую галерею портретов современников, лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться на протяжении более чем пятидесятилетней просветительной деятельности. Это друзья детства и юношества, родственники, соратники по учебе и работе, деятели просвещения, культуры и науки, крестьяне, дворяне, помещики, купцы, чиновники, чувашские националисты и др. Их он расценивает в основном с точки зрения роли в его жизни, отношения к Симбирской школе и просвещению чувашского народа, «инородческому» и крестьянскому вопросам.

Трогательные страницы в книге посвящены воспоминаниям об Ульяновых. Мы узнаем, как состоялось знакомство молодого Яковлева с выдающимся русским педагогом-демократом и просветителем И. Н. Ульяновым. Последний принял на себя непосредственную заботу о воспитанниках школы в период учебы И. Я. Яковлева в Казанском университете. В письме В. И. Ленину от 12 ноября 1919 года И. Я. Яковлев отмечает, что «...Илья Николаевич, ... застав Симбирскую чувашскую школу в ее

зачаточном, так сказать, состоянии, убежденно, вдумчиво, горячо оказывал ей всяческое содействие по пути ее развития и процветания» *. И. Я. Яковлев обращался к И. Н. Ульянову за помощью при устройстве своих воспитанников в уездное училище и по многим другим вопросам. С помощью Ильи Николаевича и других представителей русских демократических кругов И. Я. Яковлеву удалось уравнять воспитанников школы в правах с обучающимися в других учебных заведениях и сохранить ее, несмотря на чинимые препятствия и гонения. Много сделал И. Н. Ульянов по открытию и организации работы чувашских школ в Симбирской губернии. Два просветителя-демократа совершали совместные поездки по селениям. Они имели много общего в педагогических и общественных взглядах. И. Н. Ульянов был для И. Я. Яковлева примером служения народу и делу его просвещения. И. Н. Ульянов, в свою очередь, находил в педагогическом опыте чувашского просветителя много полезного для себя как инспектор и впоследствии директор народных училищ Симбирской губернии. «Ульянов оставил приятные воспоминания своим трудолюбием, нравственной жизнью, гуманным отношением к подчиненным и доступностью»,— пишет И. Я. Яковлев. И. Н. Ульянов и И. Я. Яковлев дружили семьями. Тепло отзывается мемуарист о семье И. Н. Ульянова, его жене Марии Александровне и детях, которые были частыми гостями Яковлевых и Симбирской школы. Яковлевы приняли близкое участие в жизни семьи Ульяновых в связи с кончиной ее главы, судьбе Александра Ульянова, приговоренного к смертной казни за покушение на царя. С чувством высокой гордости и признательности И. Я. Яковлев сообщает о подготовке Володей Ульяновым воспитанника чувашской школы Охотникова к поступлению в университет, благосклонном отношении к нему «главы Российской Советской власти» В. И. Ленина, пишет, что он «все время сочувственно следил за моей деятельностью по Симбирской чувашской школе».

Много внимания уделяет Яковлев в своих воспоминаниях Ильминскому, профессору Казанского университета, директору Казанской инородческой учительской семинарии, работавшему долго по просвещению нацио-

* И. Я. Яковлев и его школа. Чебоксары, 1971, с. 273.

нальных меньшинств царской России. В истории педагогики признаны прогрессивные стороны его деятельности. Яковлев отмечает влияние Ильминского на свои воззрения, его поддержку «чувашского дела». Н. И. Ильминский помог ему в уяснении роли родного языка в просвещении, создании чувашского алфавита, организации переводов на чувашский язык, защищал его от нескончаемых нападок и гонений на него и его школу. Но И. Я. Яковлев, как деятель народного образования, многим, в частности, развитием демократических тенденций в педагогической теории и практике, значительно превзошел своего учителя и наставника.

Иван Яковлевич вспоминает также о выдающихся воспитанниках школы. Он видел в них результаты труда и усилий своих и соратников и не без гордости называет эти имена. Среди них уже упоминавшийся Н. М. Охотников и П. М. Миронов, показавшие большие способности в математике, художник А. А. Кокель, классик чувашской литературы, автор бессмертной поэмы «Нарспи» К. В. Иванов и др. Этот перечень можно было бы пополнить именами тех питомцев Симбирской чувашской школы, которые прославили себя в Великой Октябрьской социалистической революции, в советское время при защите ее завоеваний, в развитии науки, народного образования и культуры. Среди них член КПСС с 1905 года, участник трех революций и гражданской войны, Герой Социалистического Труда Т. С. Кривов, участник установления Советской власти в Чувашии Д. С. Эльмень, прославленный командир Красной Армии И. С. Космовский, Герой Советского Союза генерал-майор Н. В. Соколов, генерал-майор З. Т. Трофимов, учитель Герой Труда И. Я. Зайцев, выдающиеся композиторы Ф. П. Павлов и С. М. Максимов, известные писатели Т. С. Тайр, И. С. Максимов-Кошкинский, М. Д. Трубина, Г. В. Зайцев (Тал-Мрза), Н. В. Шубоссинни, ученые лауреат Ленинской и Государственной премий доктор химических наук, профессор И. И. Корнилов, профессора П. О. Афанасьев, И. В. Данилов, В. Г. Егоров, С. П. Горский и многие другие.

Мемуарист тепло отзывается о живом участии его жены Екатерины Алексеевны в его делах, делах Симбирской чувашской школы, особенно по просвещению чувашских девушек, рассказывает о педагогических принципах семейного воспитания, судьбе своих детей.

Воспоминания И. Я. Яковлева с его слов записывались А. В. Жиркевичем *.

Работа по составлению текста воспоминаний проходила в трудных условиях 1918—1922 годов. В 1918 году Симбирская губерния стала ареной военных действий, а летом того же года Симбирск временно был занят белочехами. Запись рассказов И. Я. Яковлева проводилась от случая к случаю. Отсюда — некоторые повторы и неточности. Большей частью А. В. Жиркевич задавал вопросы, а И. Я. Яковлев отвечал на них. Это сказалось на полноте освещения исторических событий, а также общественно-политических взглядов И. Я. Яковлева, которые проявляются преимущественно в связи с описанием отдельных эпизодов и характеристикой лиц, с которыми так или иначе сталкивался чувашский просветитель, в определенной степени—и на выборе материала. В воспо-

---

* Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927) (псевдоним Нивин) был генералом старой армии, пробовал себя в поэзии и беллетристике. В 1908 году подал в отставку в знак протеста против введения смертной казни для политзаключенных. Долгое время жил в Вильнюсе. В 1915 году переехал в Симбирск, работал общественным инспектором лечебных учреждений. В 1920—1922 годах заведовал чувашским историко-этнографическим музеем при Симбирском чувашском институте народного образования. Жиркевич часто встречался с И. Я. Яковлевым и, увлеченный его прошлой деятельностью, решил написать историю Симбирской чувашской школы и рассказать о жизненном пути ее основателя.

О своих встречах с Яковлевым, работе над составлением первых страниц мемуаров 3 августа 1918 года он писал: «Старик знает хорошо жизнь местных дворянских семейств и рисует ее самыми мрачными красками. Ему, вышедшему из простого народа, чувашу, особенно с молодости было отвратительно в местном дворянстве видеть презрение к простому народу и нежелание что-либо делать существенное для его просветления. Его не удивляет, что с падением бюрократического самодержавного строя народ, помня прошлое, стал мстить своим угнетателям...

Память его удивительно (для его возраста) сохраняет названия, фамилии, годы, мелкие подробности. Слушаешь его с интересом. Как жаль, что его повествования никем не записывались» (Отдел рукописей Государственного музея Л. Толстого в Москве, фонд А. В. Жиркевича, тетрадь № 57).

Когда в 1922 году работа над составлением воспоминаний И. Я. Яковлева была закончена, текст был подписан им и передан сыну, профессору А. И. Яковлеву. Долгое время мемуары хранились в его архиве.

После смерти А. И. Яковлева его дети, профессор И. А. Яковлев и доцент О. А. Яковлева, передали мемуары в Научно-исследовательский институт при Совете Министров Чувашской АССР.

минаниях не получили достаточного освещения эволюция взглядов и деятельность И. Я. Яковлева в советское время.

В 1918 году И. Я. Яковлев первым перевел совместно со своим учеником Конституцию РСФСР на чувашский язык, она была издана в 1919 году.

В ответном письме областному съезду Советов Чувашской автономной области в 1920 году Яковлев писал: «Радуюсь тому, что культурная работа среди чувашского народа, предпринятая более 50 лет тому назад нами, одинокими работниками, ныне находит многих и многих продолжателей. Да развивается она вширь и вглубь на благо родного нам и горячо любимого чувашского народа, доселе столь обездоленного своей исторической судьбою. Позволю себе выразить пожелание, чтобы работа над чувашской культурой развивалась в строгом согласии с державными интересами и идеалами великого русского народа, совершающего ныне мощный поворот в сторону демократизации своего политического и общественного строя» *. Эти пожелания, как и многие другие его проекты и мечты, осуществились и воплощаются в жизнь в Советской Чувашии, процветающей в братской семье народов СССР.

Глубоко трогают нас в воспоминаниях пожелания Ивана Яковлевича родному народу — быть навеки с Россией. Они более развернуто высказаны в его завещании чувашскому народу, написанном в 1921 году: «...Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума, сердца и воли. Народ этот принял вас в свою семью, как братьев, не обидел и не унизил вас... Народ этот да будет руководителем и вашего развития. Идите за ним, верьте в него. Трудна была жизнь этого народа, много горестей и несчастий встретил он на своем долгом и скорбном пути, но он не угасил в себе светочей духа и не утратил понимания своего высокого призвания. Да будут его радости вашими радостями, его горести вашими горестями, и вы приобщитесь к его светлому будущему и грядущему величию. Народ этот не обидел вас в прошлом, он не обидит вас и в будущем. Любите его и сближайтесь с ним... Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью» **.

---

* Культурное строительство в Чувашской АССР (сборник документов). Книга I (1917—1937 гг.). Чебоксары, 1965, с. 76.

** Советская педагогика, 1958, № 9, с. 97.

Он имел в виду здесь уже Россию советскую, в историческое величие и будущность которой он поверил.

Умер И. Я. Яковлев в 1930 году и был похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище.

В работе «К характеристике экономического романтизма» Ленин указывал, что «исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками» *.

С этих ленинских позиций мы и исходим в оценке деятельности И. Я. Яковлева, по результатам работы, по тому, что он дал народу сравнительно со своими предшественниками, судим о его личности. Приведенная в начале предисловия телеграмма В. И. Ленина — лучшая характеристика просветителя. По словам А. В. Луначарского, И. Я. Яковлев своим полувековым педагогическим и общественно-просветительным трудом подготовил чувашей «к сознательному участию в Октябрьской революции совместно с революционным пролетариатом и к защите октябрьских завоеваний»**, заложил первые основы массовой грамотности и культуры чувашских трудящихся***. Высоко оценили И. Я. Яковлева видные деятели партии и государства В. Д. Бонч-Бруевич, М. Н. Покровский и др. Имя его сохраняется в благодарной памяти трудящихся Советской Чувашии.

* * *

Текст воспоминаний И. Я. Яковлева печатается с некоторыми сокращениями. Не включены в книгу те места, которые не представляют познавательной и научной ценности, а также отдельные повторы. Слова, вставленные в текст Редакцией, даны в прямых скобках. Название книги «Воспоминания» дано Редакционной коллегией. Ею же выделены разделы и составлено их содержание.

Во втором издании внесены дополнения в VII раздел, исправления и дополнения — в предисловие, примечания

---

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 178.

** ЦГА ЧАССР, ф. 447-р, оп. 1, д. 4, л. 6.

*** Итоги юбилейной научной сессии, посвященной столетию со дня рождения И. Я. Яковлева. Чебоксары, 1948, с. 44.

и именной указатель, приведены даты жизни и деятельности И. Я. Яковлева.

Предисловие написано Г. Н. Плечовым с использованием материалов Н. Г. Краснова и И. А. Маркелова.

Книга снабжена примечаниями, именным указателем и перечнем основных дат жизни и деятельности И. Я. Яковлева, составленными Н. Г. Красновым. В ней использованы фотоснимки, хранящиеся в архиве Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР и музее И. Я. Яковлева при Чувашском государственном педагогическом институте имени И. Я. Яковлева.

Просим читателей направлять свои отзывы о книге, пожелания и замечания по адресу: 428015, Чебоксары, Московский проспект, 29, корп. 1, Научно-исследовательский институт при Совете Министров Чувашской АССР или: 428000, Чебоксары, пр. Ленина, 4, Чувашское книжное издательство.

«...Труд наш был честен и добросовестен. О результатах его судить, конечно, не нам. Кто любит народ, кто хочет добра ему и кто верит в него, тот правильно оценит и чужую работу на пользу народа».

И. Я. Яковлев

I

Я родился, по официальной записи о крещении в церкви села Жукова Симбирской губернии Буинского уезда, 18 апреля 1848 года в деревне (ныне село) Кошки-Новотимбаево, находившейся верстах в 60 от города Симбирска, Симбирской губернии Буинского уезда *. Деревня была сплошь населена одними чувашами. Родился я, по одним показаниям, в среду перед пасхой, по другим — будто бы в первый день пасхи [1]**.

В нашей деревне лет более чем за сто до моего рождения все были крещены в православие [2]. Официально у нас язычников не было. Но соседняя деревня Таяба имела население еще частью языческое. По преданию, предки крестьян деревни Кошки были крещены насильственно или согласились на крещение из-за материальных выгод, льгот по воинской повинности и т. п.

Мать мою звали Анастасией; отчества ее не помню [3]. Да у чувашей и не употребляется отчество. Она была чувашка. Мать моя умерла на второй или третий день после моего рождения, вероятно, вследствие родов. Мои фамилия и отчество даны были мне при крещении по моему крестному отцу, крепостному крестьянину Якову Яковлеву, принадлежащему помещику села Жукова Ухову (имение это впоследствии перешло к Еремеевым), у которого мой крестный был музыкантом и регентом. Имение Жуково находилось верстах в шести от деревни Кошек. Крестною же матерью моей была крепостная крестьянка из деревни Салмановки, находившейся вер-

---

* Ныне Тетюшского района Татарской АССР (здесь и далее неоговоренные примечания даны Редколлегией).

** См. в разделе «Примечания».

стах в двух от деревни Кошек, ближе к селу Жукову. Мать моя имела среднее хозяйство, дом без сада и сама хозяйничала. Дом ее представлял из себя обыкновенную чувашскую грязную избу с небольшими окнами. У матери моей, кроме меня, были еще дети: старший сын Иван, мой брат, второй сын, имени которого я не помню, дочь Акулина, моя сестра. Четвертым ребенком был я. Сестра была старше меня на 8—10 лет. Она и братья мои умерли [4], но некоторые из детей их до сих пор живы. Они остались крестьянами. О брате Иване могу сказать, что он был способный; его выбирали в качестве представителя, уполномоченного * от деревни Кошки. Но он был горький пьяница, а жена его была глупая, чуть не идиотка. Это отозвалось на их детях, тоже глупых. С братом и его семьей я не был близок.

У чувашей существует обычай, в силу которого в доме должен быть сын. Когда его нет, то за сына берут ребенка по родству или из чужой семьи. В крайности берут даже мальчиков у русских. Меня и взяла к себе после смерти моей матери семья удельных крестьян чувашей Пахомовых [5], жившая в деревне Кошках, саженях в 60—70 от дома моей матери, что произошло, когда мне было от роду дня два-три. Я нуждался в кормлении грудью, а в доме Пахомовых не было никого, кто заменил бы мне в этом отношении родную мать. Напротив того дома, в котором я родился, жила женщина-чувашка, вторая жена крестьянина-чуваша Федора Лгуна **. Она из милосердия и стала кормить меня грудью, не беря за это вознаграждения. Надо заметить, что у чувашей такое доброделание не считается чем-либо особенным. Если остаются сироты, то их разбирают по домам и воспитывают наравне со своими родными детьми... Чуваши прежде брали к себе на воспитание и русских детей-сирот, обращая их, конечно, в чувашей.

У меня, когда я вырос, было искреннее желание сделать что-либо для моей кормилицы. Что-то я как будто бы для нее и сделал немного. Она умерла, и мне не удалось отблагодарить ее за услуги. Внуки ее и внучки учились в Симбирской чувашской школе. Помню лицо моей кормилицы — я ее потом видел часто, бывая в Кошках.

---

* Имеется в виду — местного крестьянского общества.

** Прозвище — перевод на русский язык чувашского «суеçĕ» (лгун).

Будучи маленьким, я не сознавал важности того, что этой женщиной было для меня сделано, а подростком виделся с нею все реже и реже.

В раннем детстве я был больным, хилым, тщедушным, малорослым, молчаливым ребенком, что, главным образом, зависело от дурного, недостаточного, не соответствовавшего детскому моему возрасту питания в чувашской семье Пахомовых, меня как бы усыновившей. Я стал лучше расти лишь с 1864—1865 годов. Для объяснения этого считаю нужным заметить, что во время моего детства вообще чувашское население питалось скверно, что зависело и от бедности и от разного рода предрассудков, обычаев, ложных мнений. О быте чувашей того времени можно сказать, что в чувашских деревнях скотина поправлялась, а человек хирел. Мясо (баранов, телок, бычков) употребляли в пищу очень редко, например, около Петрова дня, осенью, во время особых празднеств. Особенно редко приходилось мясо на зимнюю пору. Обыкновенной пищей была пища растительная, главным образом хлеб с солью. Варился суп (по-чувашски «яшка») с картофелем, капустой. Употреблялась кислая капуста, иногда квас. Еще делалось что-то вроде киселя изо ржи, ржаная каша (рожь обращалась в крупу). Лучшая пища приготовлялась, конечно, тогда, когда являлись в дом гости. Говорят, что в настоящее время пища в чувашских деревнях улучшилась вместе с общим улучшением крестьянского благосостояния.

Так как в доме Пахомовых зеркала не было, то я глядел на себя в воду колодца, причем сам себе казался уродом.

Из моего детского житья в Кошках припоминаю, что у меня среди крестьянских детей был большой приятель, мальчик Иван, сын какого-то чуваша Матвея. Этот Иван был старше меня лет на 7—8. Рядом с пахомовским пчельником был пчельник Матвея. Одной из забав наших с моим приятелем Иваном было связывать ветви близко, один к другому, стоявших вязов на высоте трех сажен от земли и на этих ветвях устраивать своего рода спальню, где мы с ним иногда ночевали, глядя на звезды. Я любил слушать страшные сказки, которые этот Иван придумывал.

Приемную мать мою я не помню: она умерла года через три после того, как я был взят в эту семью. Ни имени, ни фамилии ее я не помню — не знал [6]. Знаю,

что она была такая же удельная крестьянка, как мои родные,— мать, братья и сестра. У приемной моей матери была от первого брака дочь Анастасия, старше меня на 8—10 лет. Помню, что обе они меня очень любили. Приемный отец Егор (другое его имя было Андрей) после ее смерти, когда мне было пять лет, женился вторично. У чувашей бывает по два имени, согласно обычаю. Одно дает священник при крещении, другое, не всегда христианское, дается уже в семье. У чувашей существовала и существует примета, в силу которой, если человек имеет одно имя, то не живет долго, а с двумя именами долговечен. Относительно имен, даваемых при крещении, в мое время бывали случаи, что священники нарочно, желая сделать неприятность той или иной чувашской семье, давали замысловатые, редко употребительные имена. Я второго имени не имел.

Андрея я всегда звал отцом, а приемную мать матерью. От второго брака у Егора-Андрея Пахомова пошли дети: дочери Прасковья и Анна и сын Андрей. Имени второй жены Пахомова я не помню. В семье Пахомовых жили «бабушка» (мать моего приемного отца Егора-Андрея) Авдотья и «дедушка», отец его (Пахом), слепой старик, который, будучи зрячим, занимал место старшины в волости. Он умер лет 75. Я звал их обоих «бабушка» и «дедушка».

Семью Пахомовых я считаю моей родной. К ней до сих пор я храню самые родственные теплые чувства. Меня не обижали, относились как к родному ребенку. Я долго не знал о том, что Пахомовы мне чужие, хотя кое по каким признакам догадывался об этом. Пахомовы мне о моем происхождении не говорили. Только когда мне исполнилось лет 17, т. е. когда я уже учился в гимназии, увидев свою метрику о рождении и крещении, я узнал, что это не родная моя семья.

Мачеха моя (вторая жена Егора-Андрея Пахомова) была из крестьян деревни Кошки-Новотимбаево. Я ее тоже звал матерью. С некоторых пор, помню, пошли неприятности между мачехой, сестрой Анастасией (падчерицей) и бабушкой Авдотьей, меня любившей. Из-за меня главным образом и выходили столкновения. Бабушка и падчерица упрекали мачеху в том, что она, вопреки обязательству держать меня как приемыша наравне с родными детьми, не одевает или недостаточно, плохо одевает меня и т. д. Конечно, мачеха более люби-

ла своих детей, чем чужих. Крупных столкновений однако я не помню. Были ссоры, как и во всякой семье,— не стоит об этом рассказывать.

Родная моя сестра Акулина в 1858—1859 году вышла замуж. Живя у Пахомовых, когда мне было лет 7—8, я бывал у нее изредка, на празднике пасхи и других. Она жила в доме моей матери, где я родился. Помню, как она дарила мне орехи.

Жители деревни (позднее села) Кошки-Новотимбаево наружно * считались и были православными христианами, а на самом деле оставались грубыми язычниками. Они крестили детей и совершали другие таинства у православного священника лишь по необходимости. Но, например, при бракосочетании, погребении и в других случаях придерживались языческих обычаев, так что христианство в деревне Кошки, равно как и в других соседних чувашских деревнях, было лишь наружным, по названию, на бумаге. Иконы, хотя и висели в избах по углам, но были там только для вида, закопченные, в пыли, паутине, без лампад. В избах прятались старые идолы. Так, у Пахомовых в холодной постройке находился идол Ириха — род не бога, а злого духа, которому приносились жертвы для того, чтобы он принес в дом радость и избавил от горя и несчастий. Он помещался в лукошке, был покрыт тряпкой. Я его никогда не видел. Такие же изображения злых духов имелись и в других избах. Этих мне случалось видеть. Они представляли из себя не человеческую фигуру, а просто куски свинца, дерева, которым поклонялись, приносили жертвы. Жители деревни Кошки-Новотимбаево вносили священнику деньги за исполнение треб, давали ему яйца и другие припасы во время объезда им деревни, что случалось несколько раз в год. Приезжал священник из соседнего села Жукова. Он не говорил по-чувашски, чуваши же в большинстве не знали по-русски и по-славянски. Если кто из чувашей говорил по-русски, то только из мужчин. Женщины же и дети в нашей деревне сплошь по-русски не говорили. В церковь маленьких чувашат не водили, разве лишь на пасху. Взрослые бывали в церкви только по необходимости.

Когда появлялся в хатах деревни православный священник, то пел один или с дьячком. Все присутствовав-

---

* Здесь: формально, не по убеждению.

шие стояли без шапок. После пасхи священник ходил по деревне, собирая кур, яйца, овес и прочее. С ним привозили церковную хоругвь, которую носили чувашские дети, в том числе и я. Это нас, ребят, забавляло. Хоругвь втыкалась на улице, и к ней относились приношения: груды ржи, овса, пшеницы, яйца и т. п. Чуваши впускали к себе в хаты священника, но к духовенству никакого уважения не питали.

Я помню одну игру в деревне Кошках, в которой я сам принимал горячее участие в возрасте 6—7 лет. Дети брали из изб православные иконы и, пользуясь тем, что они деревянные, четырехугольные, бросали их вдоль улицы на глазах у взрослых: какая икона будет брошена дальше, тот и выигрывал. Это происходило летом в 1854 или 1855 году. Подобные забавы делались скрытно от православного духовенства. Это духовенство требовало, чтобы чуваши покупали в церкви свечи. Такие свечи хранились во всех хатах на случай приезда священника, когда их для показа зажигали перед иконами.

Надо заметить, что недалеко от деревни Кошки-Новотимбаево были два села — Жуково, помещичье, и Старые Бурундуки, удельное. В Бурундуках было смешанное русско-чувашское население, а в Жукове — только русское. Имелись по соседству и татарские селения.

В 1871 году по моей инициативе было открыто в Кошках-Новотимбаево русское училище [7] при участии министра народного просвещения графа Дмитрия Андреевича Толстого и попечителя Казанского учебного округа П. Д. Шестакова. Благодаря им училище получало время от времени пособия в 100 и менее рублей, в ту пору считавшиеся достаточными для поддержания существования подобного сельского учебного заведения. Первым учителем был назначен мой товарищ и приятель по Бурундукскому училищу Игнатий Иванов. Чувашская письменность тогда только что зарождалась. Книг на чувашском языке не было. Существовали чувашско-русский букварь и рукописные молитвы (я же все это и вводил). Лишь в 1871 или 1872 году появился литографированный букварь [8]. Предметами преподавания в училище были чтение и письмо (сначала по-чувашски, а потом по-русски), первые четыре правила арифметики, закон божий, церковное пение. Впоследствии я ввел в училище разные ремесла. Сначала был сделан опыт с портняжным ремеслом. Это ремесло продержалось года

три, но не привилось. Надо заметить, что вообще чуваши были совсем плохие ремесленники и вялые землепашцы. Садоводство, огородничество при мне едва начиналось. Хлеб родился хорошо. Потребности крестьян были ограниченны. Особых потребностей не существовало. Потом я ввел в училище кузнечное ремесло, но и оно не пошло. Позднее, в 1891 году, был построен для ремесленного заведения особый дом. Я завел столярную мастерскую. Она пошла и теперь держится. В ней стали делать стулья, рамы и т. п. По мере привития селу Кошки коекакой культуры стали появляться у населения его коекакие, хотя и весьма скромные, потребности на примитивные вещи. Рекомендованный мною учитель Игнатий Иванов оказался слабо подготовленным и стал пить. Он года через три ушел. На месте его затем перебывало несколько учителей, но село Кошки никогда не имело хорошего учителя. Заведовал училищем и наблюдал за ним местный священник.

Несмотря на свои недостатки, Игнатий Иванов оказал делу просвещения чувашей величайшую услугу. С помощью его, как хорошо знавшего чувашский язык, умевшего сближаться с простым народом, мне удалось демократизировать училище, сблизить его с местным населением, так что чуваши стали внимательно относиться к заведению. Переведенный в село * Тетюшского уезда Казанской губернии Иванов оказал еще большие услуги. До него не умели писать по-чувашски литературно, связно излагать на бумаге свои мысли. Пробавлялись неудачными переводами с русского, татарского языков. Иванов, плохо знавший русский язык, в то же время хорошо, плавно рассказывал по-чувашски. Он по моему совету и указанию составил рукопись величиною листов в десять с рассказами по-чувашски, которые были изложены оригинально, интересно, связно, умно, а по языку были безукоризненны. Все это так и осталось в рукописи, не будучи никогда напечатано. Рукопись хранится у Н. И. Ашмарина. На русский язык она переведена не была. Темы рассказов были взяты из чувашского быта. В рассказах рисовались типы с отрицательными или положительными качествами и стремлениями. Изложение

* Название села неизвестно. Возможно, это Новые Шимкусы Тетюшского уезда Казанской губернии, куда в 1875 г. И. Иванов был переведен учителем в земское училище.

рукописи просто и приноровлено к степени развития чувашей-крестьян. Рукопись Иванов составил в 1876 или 1877 году. К этому времени письменность на чувашском языке была уже установлена. Рукопись написана по-чувашски, но русскими буквами.

Игнатий Иванов уже скончался.

Мои сношения с деревней Кошки никогда не прерывались. Когда я стал, как говорится, на ноги и мог уже что-либо делать для моих односельчан, они постоянно обращались ко мне с просьбами, приезжали в Симбирск за советами, указаниями, справками по их делам. Это заставляло меня, в свою очередь, ездить, просить, стучаться в двери и отдельных лиц, и учреждений. Многое мне удавалось сделать и для отдельных крестьян.

Кое-что, кроме постройки церкви и школы в Кошках, сделал я вообще для всего сельского чувашского и русского населения. Надо заметить, что к этим двум новшествам жители деревни Кошки-Новотимбаево относились сначала враждебно, хотя из осторожности, боязни не оказывали явного противодействия. Спросишь чуваша д. Кошки, нравится ли ему училище, он ответит: «Хорошо... хорошо...». На самом же деле от училища население не ждало ничего хорошего (из училищ выходили часто волостные писцы, бравшие потом взятки с своего же брата (мужика). Мне удалось одноклассное училище обратить в двухклассное, что было, надо думать, в 1895 году. Мною были построены на местные средства здания для школы. Еще ранее, в 1886—1887 году, я открыл там одноклассное женское училище для чувашек [9]. А вот наиболее важное из того, что мне удалось сделать для всей деревни Кошки. При наделе крестьян деревни Кошки землей от удельного ведомства к ним отошла не вся лесная и пахотная соседняя дача. Мне же удалось на их средства купить куски удельной земли, не вошедшие в надел, в количестве около 400 десятин. Это оказалось для них очень выгодным. Такую услугу они ценили. Участки земли были проданы им с лесом, с правом расчистки его. Прежде еще, чем земля перешла к крестьянам в их полное владение, они стали эксплуатировать, продавать лес и вырученными деньгами выплатили почти всю стоимость купленной земли. Я купил на крестьянские деньги у помещика села Жукова около 300 десятин пахотной и поемной луговой земли на Волге в двух отдельных участках. При этом мне пришлось проявить

в хлопотах большую настойчивость. Покупка совершилась при посредстве Крестьянского банка. Это приобретение не стоило дорого крестьянам. Для покупки были заложены вышеупомянутые 400 десятин. Я убеждал односельчан купить еще 220 десятин у владельцев села Жукова Еремеевых. Но кошкинцы обществом на это не согласились. Однако потом отдельные хозяева (около 24 дворов) купили эту землю — каждый в отдельности.

Благодаря всем этим приобретениям кошкинские крестьяне поднялись, разбогатели. Это сказалось на их домашней обстановке, питании. Стали строить более просторные, удобные избы, с окнами большего размера, впускавшими в помещение больше света, что отразилось благотворно на глазных болезнях, от которых ранее многие слепли. Появились даже каменные дома. Избы стали строиться по-белому, и в них делались голландские печи с трубами наружу.

Я прожил в Кошках до 8 лет, когда меня записали учиться в школу села Большие Бурундуки *, находившегося на запад от д. Кошки, верстах в 8 от нее. В те дни грамотность среди удельных крестьян считалась обязательной повинностью. Живя у Пахомовых, я любил слепого дедушку Пахома, водил его в качестве поводыря за конец палки, когда он отправлялся иногда далеко, верст за 20 и далее, по соседним деревням к своим родственникам. Помню, как однажды мы попали с ним в грозу под сильный дождик. Водил я его и на пчельник, принадлежавший Пахомовым, где дедушка, ковыряя лапоть, любил слушать жужжанье пчел. Обязанности поводыря мне не очень-то были по душе, так как от старика нельзя было далеко отлучаться. Однажды мы с ним пошли на ярмарку. Я куда-то ушел от него, а когда вернулся, то дедушка несколько раз ударил меня (не очень больно) тем костылем-палкою, за который я его водил.

Припоминаю такой случай из жизни моей у Пахомовых. Меня хотели взять на ярмарку. Но у меня были старые, порванные лапти. По моим же понятиям показаться на ярмарке не в новых лаптях было зазорно, стыдно. Я заплакал и отказался ехать. Когда узнали, в чем дело, то дали мне новые лапти, и тогда я поехал. Могу даже указать, что это было 26 июня (в праздник иконы Тихвинской божьей матери), что ярмарка была

---

* Должно быть: Старые Бурундуки.

в селе Сумарокове, находившемся недалеко от деревни Кошек (между с. Жуково и Кошками). Сам я научился плести лапти рано и плел их на себя и других, но плохо.

Вспоминается мне еще следующий эпизод из моего чувашского раннего детства. Как-то мне подарили две копейки. У чувашей был обычай во время празднеств одаривать деньгами маленьких. С ними меня повезли на базар. Показывают крымскую барашковую шапку. Хотелось бы мне ее купить, да на две копейки не купишь. Вот пряники: один красный, другой белый — иного сорта. Мне мало одного, хотелось бы купить всяких. Я колеблюсь и, наконец, что-то покупаю.

Заговорив о слепом старике Пахоме, вспоминаю, как он, веровавший в приметы, заговоры, колдовство и прочее, жаловался мне на то, что кто-то «перекладывает» на него «свои грехи», т. е. говорит о своих недостатках и тем как бы сваливает их на душу его, Пахома: «Все говорит да говорит...» Гораздо позднее, изучая прошлое чувашского народа, его быт и нравы, я нашел в его ритуалах много следов древних европейских верований, между прочим, жертвоприношения, двойное празднование чувашами пасхи.

Так как я служил поводырем дедушке и был уже хорошим работником в семье Пахомовых (бороновал, косил, жал), то принимались разные меры для того, чтобы не отсылать меня в школу в Бурундуки. Но добиться этого так и не удалось: меня вынуждены были в конце концов туда отправить. Особенно хлопотал за меня старый слепой дедушка, энергичный, бодрый, рассудительный, развитой крестьянин. Сын же его, мой приемный отец, Егор-Андрей Пахомов, хотя и был хорошим работником, но представляется мне существом подавленным, забитым, неэнергичным, вялым, не похожим совершенно на своего отца, «дедушку».

Припоминаются мне из эпохи моего раннего детства следующие случаи, скорее, сцены. Вот первая картина, вспоминающаяся мне. Дело было в 1853 или 1854 году, летом. Стоит светлый солнечный день. Все ярко освещено. По лугу леса идут в ряд косцы и косят. А я иду за ними по лугу же около леса и собираю землянику. Среди косцов Андрей-Егор Пахомов с молодой своей второй женой, моей мачехой. Это происходит, надо думать, скоро после их свадьбы. А вот и другое событие из моего раннего детства. Я как-то пошел на наш пчель-

ник. Он находился от дома версты за две. На нем имелось 12—15 колод с ульями. Я любил туда ходить и один, и с дедушкой. Старик сидит в лесу (удельном) около ульев, плетет лапти, а я играю, приношу ему воды, исполняю его поручения. В упоминаемый день, возвращаясь с пчельника обратно, нахожу чью-то узду, ременную, с железными кольцами. Что делать с находкой? Я боялся, что у меня могут ее отнять. На поясе висел у меня ножик. Я придумал разрезать узду на части, бросить их, спрятать, а кольца взять с собою, что и исполнил. Кольца я принес домой и отдал «отцу» (так звал я Егора-Андрея Пахомова).

Особенно любил я бывать на нашем пчельнике, когда «ломали мед» (т. е. вырезались из ульев соты), так как тут и на мою долю давали меда. На пчельнике нашем никто не жил. Не было на нем и избушки, как это устраивалось на пчельниках у других, более зажиточных чувашей. Но ни пчел, ни меда никто не трогал, кроме хозяев.

Семья Пахомовых была трезвая, работящая. Меня приучили ко всякой работе. Часто по ночам я пас лошадей с другими мальчиками деревни Кошки, ездил со старшими в город Тетюши летом и осенью, когда туда возились для продажи огурцы, картофель. Бороновал поле, сидя верхом на лошади, жал рожь, косил, водил лошадей на водопой. Будучи еще небольшим мальчиком, я дошел до того, что нажинал в день до 100 снопов один. С лета 1860 года уже пахал по целым дням: сеял рожь Егор-Андрей, а я запахивал. Помню, как от усталости (соха качается) у меня при еде во время отдыха дрожали руки. Это было, когда я пахал в деревне Кошках дня три-четыре подряд.

По окончании в 1860 году курса училища в Бурундуках, т. е. когда мне было лет 12, я впервые, явившись на родину в Кошки, пахал самостоятельно. А в начале сентября того же года меня отправили в город Симбирск в землемерное училище, которое я избрал сам, руководствуясь ребяческими соображениями, потому что в более раннем возрасте, следя за работами находящегося в Кошках землемера, помогал ему ставить вехи, что мне нравилось [10].

Дом в Старых Бурундуках, где находилось училище и где я учился, существует до сих пор, он перенесен в селе в другое место.

Помню, что около деревни Кошки росли старые дуплистые вязы — на окраине удельного леса, кучкой, в одном месте, а также разбросанные по лесу в одиночку. Меня водили молиться, поклониться к вязам, стоявшим группою на опушке леса, как к священным деревьям. Около них приносились жертвы злым и добрым духам, якобы жившим в дуплах старых деревьев, для чего клались серебряные и медные деньги. Они лежали, скопившись за много лет целой грудой, которую долго никто не трогал. Но когда мне было лет 10—12, кто-то украл, унес эти деньги. С тех пор новых денежных жертв у корней старых вязов более не клали. При мне же приносившие жертвы, обратившись лицом к вязам, молились злому духу, чтобы тот им не вредил. Мой родной брат Иван был, по чувашским понятиям, атеист. Он не верил в духов, нарочно рубил священные вязы. Впрочем, впоследствии он и к моим переводам на чувашский язык священных книг относился скептически, уверяя, что я все вру, сочиняю, выдумываю. Брат мой уже умер.

Многое в этих воспоминаниях будет непонятным, если я не коснусь, хотя бы в общих чертах, некоторых сторон чувашской жизни, чувашской натуры, т. е. той среды, в которой прошло мое детство. Тем более, что теперь, когда в чувашскую деревню хлынули русские обычаи, нравы, вкусы, иными словами, когда она подпала влиянию русской культуры, кое-что в ней совершенно изменилось.

В характере чувашей есть много симпатичного, но в них нет той энергии, того широкого удалого размаха, той мощи духа, того творчества, какие встречаются зачастую у русских... Однако у чувашей есть много хорошего. Например, у них замечается какая-то особенная, бог весть откуда дошедшая до них деликатность во взаимных сношениях. Чуваши избегают сказать кому-либо грубость, что-либо обидное, унижающее, оскорбительное. Во время моего детства и юности разврата среди чувашей не замечалось, хотя многие жили, не венчаясь в церкви, как мужья и жены. При обращении друг к другу чуваши любили прибавлять слова «господин», «госпожа», так что у них выходило «господин зять», «госпожа теща» и т. д.

Честность в те времена среди чувашских крестьян была удивительная. Все лежало и хранилось без запоров, тем не менее краж почти совсем не было.

Припоминая жизнь мою у Пахомовых, могу сказать, что вся семья (отец и сын) была трезвая. Да и вообще в д. Кошках пьянства не существовало. Если были личности, злоупотреблявшие вином, водкой, то на них все указывали пальцами, с укором. Пили водку по праздникам, только рюмками, в ограниченном количестве.

Чувство родственности было у чувашей сильно развито. Отразилось это особенно ярко на обычае, который можно назвать фиктивным родством. Обычай этот заключается в том, что, например, не соединенные церковным таинством брака условливались считать друг друга на словах мужем и женой. Придумывались и другие родственные комбинации, причем бедные старались из личных видов попасть в такие фиктивные родственные отношения к богатым, влиятельным.

У чувашей в дни моих детства и юности процветало гостеприимство. Православные священники в видах обращения чувашей, в целях привития к ним христианства, старались насадить чествование более крупных годовых праздников по деревням, а также местных престольных там, где существовали уже православные церкви. И вот за неделю или за две до таких и других праздников или семейных торжеств по соседним деревням рассылались особые депутации из подростков для приглашения кровных, свояков и хороших знакомых. Все они съезжались накануне праздника, с вечера. На такие празднества пробирались и незваные, свои, деревенские. Приезжие гости начинали обходить с визитами всю деревню. Устраивались в некоторых домах особые собрания, причем впереди усаживались женщины, а за ними отдельно по рангу (почету, летам, заслугам) старики. Тут же идет обмен новостями, слухами. Дети толкутся среди взрослых, ко всему прислушиваются, во все вникают. Такие праздничные торжества и собрания продолжаются дня два-три. Потом гости расходятся и разъезжаются до следующего праздника.

В семье малолетние, не могущие еще работать, дети находились всецело под влиянием и на попечении матерей. По мере того, как мальчики росли, крепли, их забирали в свои руки отцы и начинали втягивать в работы по домашнему хозяйству.

Помню, что избы чувашей в то время освещались лучинами. Телята, ягнята, птица помещались на зиму в

жилых избах вместе с людьми. Для скота и лошадей существовали особые конюшни.

Вот еще детское воспоминание, связанное с пребыванием в Кошках и Бурундуках. Удельное ведомство вводило в подчиненных ему селениях разного рода новшества, к слову сказать (как я убедился в том позднее), плохо прививавшиеся. Так, например, велено было в промежутках между хатами сажать фруктовые и простые деревья, разбивать цветники и т. п., причем уничтожались огороды. В каждом удельном селении устроена была особая яма, куда крестьянами сваливался навоз. А для того чтобы талый снег и дождь не разжижали навоза, над ямой устраивался особый деревянный навес. Приказано было навоз этот вывозить на яровое поле для удобрения последнего (так называемая общественная запашка). Отдан был приказ, чтобы поля общественной запашки засеивались отборным зерном, чтобы земля два раза перепахивалась, особо тщательно бороновалась, унавоживалась. Все это вызывало среди крестьянства ропот, недовольство, доходившее до возмущений. Весна. Надо заняться срочными работами в поле, а тут сады, деревья, которым крестьяне не придавали значения и за которыми надо было тщательно ухаживать под угрозой суровых наказаний... Мне было лет 7—8, когда я бывал свидетелем таких бытовых сцен. При мне ходит по полю проверяющее исполнение приказа удельной конторы начальство, пробует ногой навоз, т. е. разбрасывает его в разных направлениях: нет ли целины, т. е. незапаханного места. Если оказывается такой, хотя бы самый незначительный кусочек земли, то по адресу ходившего с начальством виновного мужика следовал крик: «Ложись! Розги». Мужик покорно спускал штаны, тут же ложился и получал известное число ударов розгою, иногда от руки самого начальства. Затем шли далее и, когда опять обнаруживалась провинность мужика, его клали еще и еще под розги. То же проделывалось и тогда, когда обнаруживали неисправности относительно засадки фруктовыми деревьями садов между избами. Помню, какое тяжелое впечатление на меня, ребенка, наблюдавшего такие сцены, производила подобная расправа — право одного человека сечь по прихоти своей и усмотрению другого человека.

В качестве землемерного ученика я находился на землемерных работах в селе Тушна (Симбирской губернии

и уезда). Однажды, когда кончилась обедня и местный батюшка под колокольный звон сельской церкви уходил к себе в дом, а народ толпился на паперти, раздался крик старосты: «Пожалуйте на площадь!» Площадь была у церкви. Дело происходило летом. По списку вызываются старостой из толпы те крестьяне, которые должны получить известное число розог, положенное удельной конторой. Приговоренных обступает толпа. Они по очереди раздеваются, ложатся на землю и секут друг друга положенным числом ударов. К подобным сценам по деревням так все привыкли, что они никого не удивляли. То же мне приходилось наблюдать во время землемерных работ и в других селениях. Помню, что идея свободы личности не входила тогда в крестьянские головы.

Моя детская чувашская жизнь была не лишена некоторых радостей, развлечений. В первых числах мая, по окончании яровых посевов, к Николе, начинались в деревнях, в том числе и в нашей, хороводы с песнями, танцами, играми — в одном или одновременно в нескольких местах деревни. У русских хороводы ведутся обыкновенно днем, а у чувашей ночью, редко днем. С вечера начинают петь те песни, что пелись в то же время в прошлом году. По окончании пения этих песен (они, конечно, не записывались, а запоминались — благо у многих чувашей хорошая память) начиналось творчество, импровизация. Песни слагались в четыре, шесть, восемь, вообще в парное число стихов с рифмами в начале и в конце — обычная форма чувашской поэзии. В импровизации участвовали и парни и девушки. Пели в унисон. В каждой деревне были свои импровизаторы, доходившие до известного совершенства. Впоследствии я записывал многие такие народно-чувашские песни-импровизации. Напевы таких песен однообразны, но сердечны. Я сам никогда не пел: у меня не было ни слуха, ни голоса. Но тем не менее мотивы чувашских песен-импровизаций меня трогали. Весенние песни продолжались с начала мая до 25—26 июня, а потом с началом работ прекращались до осени. В этот период времени в нашей деревне бывали два языческих общественных праздника (так называемые по-чувашски учуки). Во время одного из них всей деревней приносился в жертву доброму божеству (духу) бык, а во время другого — злому божеству (духу) корова. Это происходило по ночам около деревни у священных деревьев. Оба праздника бывали в начале или в по-

ловине июня. Вся деревня, от старого до малого, выходила играть. Зарезанных быка или корову варили до утра. Утром же старики на тарелках раздавали это мясо присутствующим. На такие праздники собирались и собираются гости из соседних сел и деревень. Парни, подростки, девушки-невесты, дети участвовали затем в играх: бегали взапуски, боролись, перетягивали друг друга на палках и т. д. На том месте, где варились бык или корова, зажигались костры. И я принимал во всем этом горячее участие. Помню, обычай, существовавший в соседней деревне Черепаново, который назывался по-чувашски «акатуй». Такие же праздники бывали и в других чувашских деревнях, чествовавших их по очереди в присутствии гостей из соседних деревень. При этом придумывалось много удовольствий для детей, в которых и я принимал участие. Устраивались хороводы с песнями, бега, езда на лошадях взапуски. Девушки деревни Черепаново одаривали гостей платками. Происходили борьба, тяганье на палках, другие состязания в силе и ловкости. Было шумно, весело.

Осенние праздники происходили после уборки в конце октября, после праздника Казанской божьей матери, — не на открытом воздухе, а уже в домах. Во время их варили пиво в каком-либо доме по очереди, плясали, а затем делали экскурсии по деревне из дома в дом с песнями на телегах или санях, причем опять пели, плясали в обыкновенных, непраздничных костюмах, а посетителей хозяева дома угощали, принимали, давали деньги. Это были так называемые у чувашей «девичье пиво», «девичий праздник». Ходили иногда, разделившись на несколько групп.

Накануне Нового года опять бывали в нашей деревне особые празднества с плясками, в которых участвовали подростки. Старики же на их пляски смотрели с удовольствием. Само собою разумеется, что и я во всем этом участвовал вместе с односельчанами.

Позднее, в 80-х годах, когда мне уже было лет 30, около деревни Кищак Буинского уезда Симбирской губернии, в верстах 50 от Симбирска, летом, случайно проезжая ночью по делу, я видел чувашский хоровод, следя за ним незаметно, спрятавшись за ветрянку (ветряную мельницу) с 11 часов ночи до 3 часов утра. Молодежь (парни и девушки), построившись в две колонны, одна побольше, другая поменьше, стройно, красиво, с

одушевленными песнями или колоннами одна на другую, проходили насквозь, потом возвращались и опять шли друг на друга. Пение было прекрасное, танцы изящные. Мне вспомнилось мое детство, и я без слез не мог видеть эту картину. Я уехал, не дождавшись конца веселья.

Чувашские песни, слышанные мною в детстве, носят в себе много оригинального, особенного. В основе их — всегда поэтическая картина, но душевных, личных переживаний, как это зачастую встречается в песнях русских, там нет. Мотивы (напевы) их трогательны. Все они — чувашская поэтическая импровизация. В одной из песен говорится, что пока мы, чуваши, радуемся, веселимся, бог, глядя на нас, тоже радуется, радуются поле, лес, звезды — все в природе. Даже зарницы, сверкая в небе, тоже радуются, как бы участвуют в нашем веселье. В чувашских песнях нет никогда ничего грязного, циничного, срамного. Они глубоко целомудренны, нравственны. Да и вообще чувашская речь не содержит в себе бранных слов. Вся брань, употребляемая иногда чувашами, взята ими от русских. Но зачастую чуваши, произнося русские ругательства понаслышке, сами не понимают их грязного, похабного смысла. Помню, как впоследствии священник Баратынский мне рассказывал о том, как к нему пришел чуваш, говоривший только по-чувашски, но сыпавший отборными русскими ругательствами. Баратынский стал спрашивать его, понимает ли он смысл этих ругательств. Оказалось, что посетитель произносил их, ничего не понимая, следуя примеру русских.

Много лет спустя, вводя музыку и пение в чувашских школах, я пользовался всем этим (т. е. песнями) в духовно-нравственном, воспитательном отношениях, хотя сам с детства не имел ни слуха, ни голоса. В русской песне часто звучит хорошее личное чувство. В ней зачастую — величие, мощь народного духа. Русская песнь часто в основе своей имеет трогающие душу картины (например, «Во поле березонька стояла...»). Ничего этого нет в чувашских песнях-импровизациях. Вот почему в чувашские школы я вводил впоследствии убежденно, настойчиво русскую песню.

В детстве, до школы, на меня сильное впечатление производила природа. Я особенно любил лес. Любил посещать наш пчельник с дедушкой Пахомом. Любил всходить на высокую (сажен около 100 высотой) гору, нахо-

дившуюся около деревни Кошки, чтобы оттуда смотреть на окрестности. И впоследствии, посещая мою родную деревню, я любовался видами, открывавшимися с этой горы.

Из времени моего пребывания в Кошках мне памятно одно событие, оставившее в душе моей след. В соседней деревне Кильне кабатчик убил посетителя, крестьянина деревни Кошки, а для того, чтобы запутать следы преступления (убийство было совершено с целью ограбления), отвез мертвое тело и бросил на земле деревни Кошки. Наехала следственная комиссия. Начались обыски, допросы, а вместе с ними поборы, взятки. Сам я, как ребенок, этого ничего не видел, но от взрослых все знал и слышал. В нашей семье шли постоянно разговоры о том, как власти приезжают, грабят, поедают кур и т. п.

Приведу еще случай из моей детской жизни. Однажды около нашей деревни на другой стороне реки расположился табор цыган. Я с семьей Пахомовых и с кем-то из русских пошел бродить по табору. Старая цыганка у моста, взяв мою руку и разглядывая ее, сказала по-русски: «Большой будешь человек. Далеко пойдешь...» Мне это перевели сейчас же на чувашский язык. Все поняли это тогда в том смысле, что мне не придется остаться в деревне. Потом, когда я вышел, как говорится, в люди, Пахомовы часто вспоминали эти слова цыганки.

Когда я вырос и, будучи в гимназии, стал сознательно оглядываться на мое деревенское прошлое, то при сравнении чувашского деревенского быта с бытом соседней русской деревни меня поражали две особенности у чувашей. Чуваши, остававшиеся в язычестве, несмотря на внешнее восприятие христианства, для сношения с божеством не нуждались, как православные, в посредниках в виде духовенства. В то же время симпатичной чертой в них было то, что, когда наступали в России общенародные бедствия (война, голод, повальные болезни), в чувашских деревнях прекращались увеселения не только в среде взрослых, но и среди подростков и детей.

Во время моих детства и отрочества у чувашей были бедняки, но не существовало обычая, замечавшегося в русских селениях,— хождения за подаяниями по хатам и деревням. В то же время чуваши охотно давали милостыню и русским, и татарам.

II

Скоро, однако, моя деревенская свобода кончилась: в 1856 году меня отвезли в село Старые Бурундуки, в тамошнее удельное училище. Это было в начале сентября. Помню, что в том году выпал ранний снег. Взял меня в школу прямо с поля, где я работал, кажется, десятский. Повез меня приемный отец Егор-Андрей Пахомов. Остановились мы в селе Бурундуках у родных его, чувашей. Никакой предварительной подготовки у меня не было. Я был помещен вначале у родных, удельных крестьян, чувашей.

Село Старые Бурундуки лежит на реке Свияге. В нем в моем детстве было дворов двести. Имелись два конца, русский и чувашский. Существовала маленькая церковь, перенесенная мною позднее в деревню Кошки. Впоследствии я с удовольствием посещал Бурундуки, хотя и не с тем чувством, как мою родину — деревню Кошки. Если Кошки я оставлял со слезами, то Бурундуки с грустью. Мне дороги были река Свияга, где я ловил раков и рыбу, кустарник за Свиягой, где я гулял.

Старые Бурундуки были сперва сплошной чувашской деревней, потом сюда стали переселяться (или их переселяли) русские. Это случилось давно. Предки крестьян Мушкеевых, у которых я жил через два года, по семейным их преданиям, поселились лет за 150 до моего появления в Бурундуках. Русское и чувашское население уживались между собою довольно хорошо. Глава семьи Мушкеевых, Гаврила, о котором я еще расскажу, относился к чувашам безразлично *.

К моим детским чувашским воспоминаниям о Кошках и Бурундуках относится еще следующее. Пахомовы брали меня к себе из Бурундукского училища на каникулы, пасху, рождество, отвозя обратно на лошади. При этом каждый почти раз меня по дороге тошнило и рвало, быть может, от обилия неудобоваримой пищи перед дорогой в училище, быть может, и оттого, что зимой меня слишком тепло, с головой закутывали в теплое платье.

Так как моя отправка в Бурундукское училище была не по душе слепцу, дедушке Пахому, лишавшемуся с мо-

---

* Здесь: одинаково, так же, как к русским.

ним уходом опытного, привыкшего к нему поводыря, то старик сделал попытку подкупить священника Баратынского, отвезя ему в виде взятки фунт цветочного чаю, купленного в Тетюшах за 1 р. 50 коп. или 1 р. 20 коп., с тем, чтобы тот уволил меня из училища, тем более что в первый год моего пребывания в последнем занятия мои, благодаря моим болезням (оспа, ушиб головы), шли малоуспешно. Баратынский, конечно, взятки не принял и ходатайства не удовлетворил.

Занятия в школе производились дважды в день: с 8 часов утра до 12 часов дня и с 2 до 4 часов пополудни. У родных, чувашей, я прожил полтора-два месяца, не более. Меня перевели в русское семейство, для того чтобы я научился говорить по-русски (я говорил только по-чувашски). В школе особого учителя не было. Заведовал школой местный священник Алексей Иванович Баратынский, с которым я и по выходе из школы долго поддерживал хорошие отношения. Учили по ланкастерской системе [11]. Под руководством священника старшие, уже подготовленные несколько ученики обучали грамоте ничего еще не знающих новичков. Курс школы продолжался от 4 до 6 лет, в зависимости от развития, усердия, успехов в занятиях и прочего. Все преподавалось по-русски, а в числе учеников находилось более половины чувашей, ни слова по-русски при их поступлении не понимавших, как и я. В низший класс принимали с восьмилетнего возраста, но попадали и девятилетние. Все ученики разделялись на четыре группы — в зависимости от успешности усвоения пройденного курса. За лень и шалости секли розгами. Однажды священник Баратынский высек и меня за неприготовленный урок: мне дали 6—7 ударов розгою. Было небольно, но неприятно, что до сих пор осталось у меня в памяти. Других же секли больше, давая большое число розог.

В училище я держал себя замкнуто. В общих играх не участвовал. Любил пускать змеев за селом. Помню, как однажды с товарищами я хотел вырыть из норы крота. Но мы так до него и не добрались.

В школе я пробыл около четырех лет, окончив ее в 1860 году в последних числах июня. За эти годы я особенно сошелся с двумя приятелями. Это были русский мальчик Никита Иванов (из села Бурундуки) и мальчик-чуваш Игнатий, по фамилии тоже Иванов (из моей родной деревни Кошки). Впоследствии мне удалось

Игнатия Иванова вытащить в учителя чувашской школы. Никита же Иванов, принадлежавший к богатой семье, так и умер простым крестьянином.

За мое содержание Пахомовы платили не деньгами, а натурой, по пуду муки и по пуду крупы в месяц. Надо иметь в виду, что все это было тогда в деревне крайне дешево. Например, мука продавалась по 25—30 копеек за пуд. Кроме того, родные помещенных на квартире детей старались оказывать хозяевам какие-либо услуги.

На вторую половину первого года моего пребывания в школе меня поселили в русской семье, к какому-то удельному крестьянину Сидору, фамилии которого я не помню. Потом я перешел на жительство к русскому же удельному зажиточному крестьянину села Бурундуков Гавриле Ивановичу Мушкееву, православному, у которого в доме я и прожил остальные три учебных года. О семье Мушкеевых, сыгравшей значительную роль в моей жизни, я расскажу особо, подробнее.

Сообщу кое-что о событиях, врезавшихся мне в память за время моего пребывания в Бурундукском училище.

У крестьянина Сидора я жил недолго, месяца два, тем не менее мое пребывание у него мне памятно по двум событиям.

В конце октября 1856 года я тяжко заболел натуральной оспой. Лечили меня домашними средствами. Помню, что для того, чтобы я не срывал зудящие струпья, руки мне обвязывали тряпками. Вся семья Сидора и он сам относились ко мне во время недуга участливо. Я проболел недель шесть, а когда стал поправляться, то меня взяли на время для поправки Пахомовы.

Пока я жил у Сидора здоровым, то спал высоко на полатях. Между полатями и печкой имелось пустое пространство. На полати надо было лазить через печку. Однажды в марте 1857 года ночью во сне я свалился с полатей и головой ударился о край лохани, стоявшей у печки, так сильно, что пробил череп до мозга и потерял сознание. В бессознательном состоянии я пролежал дня три [12]. Едва оправился, как меня опять взяли в Кошки к Пахомовым.

Благодаря этим двум болезням и каникулам, тянувшимся в училище с конца июня до сентября, в первый год моего хождения в Бурундукское училище я учился недолго и мало.

Вторым событием было убийство крестьянином Сидором, в семье которого я жил, татарина-вора, забравшегося во двор Сидора. Это случилось на рождестве, на святках, когда я жил у Пахомовых в Кошках, как я выражался, «дома», но событие составляло долго предмет разговоров между крестьянами Бурундуков. Сидор убил татарина с кем-то в сообществе, труп бросили в Свиягу в прорубь под лед. Когда настала весна и снег начал таять, нашли мертвое тело. Сидора увезли в острог, где он долго сидел, пока его не выручил хлопотавший за него по начальству священник Баратынский.

Пока я жил у Сидора, случилось еще одно убийство в Кильне (чисто русском, небольшом [селе], находившемся между Кошками и Старыми Бурундуками). Целовальник в кабаке убил кошкинского чуваша Петра. С убитым был чуваш Иван, которого и заподозрили в этом убийстве, так как он не мог доказать, куда девался убитый его товарищ. Потом целовальник признался в убийстве священнику Баратынскому на исповеди. Баратынский не выдал тайны исповеди, но своим вмешательством в судьбу сидевшего в остроге Ивана способствовал его оправданию и спас от заточения. От Баратынского я узнал об исповеди целовальника тогда, когда последний умер, т. е. гораздо позднее убийства.

Помню блестящую комету в октябре 1857 года, поразившую мое детское воображение. Комета, действительно, была замечательная по величине и хвосту, который захватывал чуть не полнеба. Явление это продолжалось недели две. Комета находилась на юго-западе, все поднимаясь на юг. По вечерам народ высыпал из изб смотреть на нее. Она сильно поразила меня, но детское мое воображение ничего с этой кометой не связывало. Что говорили о комете среди чувашей, теперь не помню. В русском крестьянском населении, меня окружавшем, появление кометы связывалось со смертью симбирского архиерея Феодосия. Так как в семье Мушкеевых высоко чтили архиерейский сан, то и говорили, что бог ознаменовал кончину симбирского владыки особым небесным знамением.

Помню хорошо приезд в село Бурундуки управляющего Симбирской удельной конторой, действительного статского советника (имевшего звезду) * Сергея Петро-

---

* Имеется в виду орден св. Станислава.

вича Глинки, происходившего из дворян Смоленской губернии. Об этом Глинке до сих пор рассказываются легенды и анекдоты по Симбирской губернии. Отец живущего ныне около Симбирска князя Баратаева был женат на дочери С. П. Глинки. Это было в мае 1857 года. Глинка приезжал ревизовать наше Бурундукское училище. Ждали его приезда дня два-три, причем следить за появлением сановника поместили особый корпус на колокольне местной церкви, с которой была видна окрестность. Знавший крутой, взбалмошный нрав Глинки, заведовавший училищем священник Баратынский прямо трепетал в ожидании его приезда. Разыгралась такая сцена. Мы, ученики, были поставлены за длинными партами, у которых учились. Парты эти помещались посреди большой классной комнаты. Нас предварительно выучили на приветствие Глинки кричать: «Здравия желаем, ваше превосходительство»,— а в случае обращения к нам титуловать «вашим превосходительством». Глинка, высокий, дородный, представительный мужчина, одетый в обыкновенное платье, без звезды и других отличий, молча вошел в класс, сняв шапку, но не обращая на нас внимания, не подав руки Баратынскому, даже не ответив на его низкий поклон, молча же обошел с трех сторон вокруг парт, около которых мы, ученики, стояли, и вышел из класса. Этим и ограничился осмотр им нашей школы. Глинка почему-то был не в духе и в таком настроении явился в заведение. Проходя около стены класса, он сердито тронул рукой эту стену и нашел на ней пыль. Он грозно сказал священнику Баратынскому: «Если бы вы были поп, настоящий поп, то этого не было бы!..» При выходе из училища, на крыльце, Глинка увидел мужика-просителя, сунувшегося к нему с прошением. Не разобрав его просьбы, Глинка, проходя далее к выходу из училища, вырвал у мужика клок бороды, швырнул этот клок и удалился. Это я сам видел. Мне рассказывали, что в этот же приезд свой в Бурундуки Глинка привел в церковь местного старшину-татарина и начал убеждать его креститься, доказывая ему преимущества православной веры, указывая на красоту, благолепие храма и т. д. Тот с перепуга поддакивал грозному сановнику.

Про этого Глинку, державшего себя царьком, полубогом, рассказывали целые легенды. Простой народ он считал скотиной.

Село Старые Бурундуки расположено на реке Сви-

яге. В моем детстве около Бурундуков леса не было, а на другом берегу имелись кустарники, не принадлежавшие селу, в которые ходили гулять через огромную плотину мельницы, пересекавшую реку. За рекою поднимались горы, где чуваши устраивали свои состязания, а русские — праздники на троицу.

Общественной жизни в селе Бурундуках не существовало. Я только слышал во время моего пребывания в школе о том, что около села у реки Свияги в поле и на горе устраиваются молодежью особые состязания, в которых принимают участие и дети. Состязания эти состояли в пении в унисон (как это принято у чувашей). Той группе, которая одерживала в состязании победу, в виде премии выдавались платки. (Но я лично на этих состязаниях не бывал.)

При выходе из Бурундукского училища я плохо усвоил русский язык, будучи в состоянии вести по-русски лишь самый простой, несложный разговор. Книги же я стал читать свободно по-русски позднее, лишь в 1864 году. Тем не менее при выпуске моем из училища меня заставили декламировать басню Крылова «Стрекоза и Муравей», хотя много мне в ней было совершенно непонятным. Катехизис Филарета я, как и другие воспитанники училища, чуваши, знал наизусть, почти безошибочно пересказывая его на уроках и на экзамене. Но из этого катехизиса я ровно ничего не понимал.

Наблюдавший за Бурундукским училищем священник Баратынский был прекрасный администратор, добродушный человек, однако с недостатками. Баратынский не был похож на других православных священников, с которыми мне приходилось встречаться в жизни. Несмотря на убежденную приверженность его к православной церкви и принадлежность к духовному сословию, он отличался быстрым, светским оригинальным умом, остроумием, светскими манерами, привычками. Сущность докладов схватывал быстро, писал и говорил хорошо.

Возложив обучение на старших, более или менее опытных уже учеников, Баратынский имел только общее наблюдение за занятиями. Даже закон божий преподавали под его руководством ученики. К духовно-нравственным, религиозным нуждам воспитанников Баратынский относился совершенно безразлично, требуя лишь соблюдения известных обрядов, чтения в положенное время молитв и прочее. Вспоминая о нем, я думаю, что

он пошел не по своей дороге: ему надо было быть не духовным, а светским лицом. Баратынский читал постоянно «Московские ведомости», восторгался Катковым и во время польского восстания 1863 года сочувствовал подавлению мятежа. Вообще у него отсутствовало критическое отношение к окружающему.

Я знал Баратынского долго и близко, видел его как священника и педагога в бытность мою в Бурундукском удельном училище. Баратынский учился в Казанской духовной семинарии, потом был переведен в Симбирскую духовную семинарию; за пьянство и дурное поведение был исключен из этой семинарии и едва добился посвящения в диаконы села Сугут Буинского уезда Симбирской губернии, где пробыл менее года. Затем его посвятили в священники в село Чепкасы Буинского же уезда, где он нес еще обязанности законоучителя местного удельного училища. Насколько была «благотворна» деятельность Баратынского по этому училищу, видно из того, что из училища при нем вышел чуваш, который занялся в Чепкасах (где были мечети) сманиванием в магометанство чувашей, как это рассказывал сам Баратынский. Поднялось дело. Баратынского перевели в село Курени Буинского уезда, чисто русское. В 2—3 верстах от этого села было расположено имение отставного генерала Андрея Егоровича Головинского—Ивашевка. Человек набожный, знаток церковных уставов, Головинский взял на себя обязанность руководить, ради соблюдения должного порядка и благочиния в сельском храме, где бывал, Баратынским, учить его, как следует служить, держать себя в церкви и т. д. Предки Баратынского в 3—4 поколении были татарского происхождения — не помню, со стороны отца его или матери. Баратынский имел красивую, представительную наружность, был высок ростом. Писал он хорошо, легко, быстро. Из села Курени его перевели недалеко, верстах в 8, в село Большие Бурундуки, тоже Буинского уезда, где он пробыл долго и умер в 1895 году. У Баратынского были близкие родственники из русских крестьян. Сыновей у Баратынского было трое: Николай (старший, впоследствии адвокат), Петр (впоследствии доктор) и Леонид. Первые два были в Казанском университете, Леонид, средний, в университете не был, а учился в Казанском учительском институте, которого не окончил.

Главной заслугой Баратынского было председательст-

вование в разных собраниях духовенства по Симбирской епархии и работа в училищном совете Буинского уезда, где он был много лет председателем. Он умел привлекать в народные школы способных, образованных семинаристов, увеличив плату преподавателям в народных школах (бывших удельных и т. д.). Деятельность Баратынского в этом направлении уже была отмечена в разное время в печати.

Для того же чтобы составить себе понятие о Баратынском как о педагоге, достаточно вспомнить о том состоянии, в каком находилась Бурундукская школа во время моего четырехлетнего пребывания в ней.

Училище помещалось в одном здании и назначалось для детей и подростков обоего пола. Коридор разделял мужское и женское отделения. В женском отделении, насколько помню, общий надзор за воспитанницами имела какая-то женщина. В женском отделении училища обучались дочери местных крестьян, главным образом из русских семейств. На их обучение обращалось мало внимания, гораздо менее, чем на обучение мальчиков. По окончании обучения девочки возвращались домой; немногие из них впоследствии попали в акушерки. Вообще женское образование в училище не привилось, не оставило никакого следа.

Трудно составить себе понятие о том режиме, который старшие ученики установили относительно младших, отданных на их полный произвол и благоусмотрение. Когда много лет спустя мне попадались в печати описания жизни кадетских корпусов староииколаевской эпохи, то, сравнивая их с тем, чему свидетелем пришлось быть мне, я нахожу, что все такие воспоминания бледнеют перед тайнами Бурундукского училища.

Достаточно сказать, что старшие ученики не только беспощадно секли, били младших, но прямо-таки истязали их. Приведу для примера такие факты. В то время вошли в моду стальные перья. Старые заржавленные стальные перья давались для употребления ученикам. Старшие воспитанники придумали для младших такую пытку: они втыкали им под ногти эти перья. В классах имелись для употребления учеников металлические чернильницы. Старшие воспитанники мочились в них, кипятили мочу на огне и затем принуждали детей пить такую мерзость. В училище был уродливый воспитанник чувашонок. Старшие сажали его себе на плечи, воору-

жали палкой и, гоняясь за младшими, заставляли его бить их палкой по чему попало. Остальные пытки все были в том же духе. При училище имелся сторож. Для того чтобы он не мог доложить священнику Баратынскому о происходящих в школе безобразиях, сторож этот на время пыток, сечения, избиений посылался куда-либо в село. Дети так боялись взрослых товарищей, что, когда Баратынский собирался ехать в город или по сборам по приходу, в училище царили ужас, паника, горе, поднимался плач, конечно, втихомолку, чтобы об этом не узнало начальство, тогда старшие стали бы еще больше мстить младшим. Обыкновенно пытки и прочее производились по понедельникам, после того как малолетние ученики возвращались в училище, побывав дома в воскресенье. Детям приказывалось приносить сласти, подарки. Те, кто не мог удовлетворить желаний старших воспитанников, в наказание и пример подвергались пыткам. Может быть, сторож и догадывался о том, что происходило в его отсутствие, но делал вид, что ему ничего неизвестно, боясь потерять место. Наружно же в училище, благодаря принимавшимся старшими воспитанниками мерам, все казалось в порядке. Жаловаться Баратынскому никто не смел и думать, так как с таким жалобщиком расправились бы потом еще более жестоко, беспощадно.

Тяжелые воспоминания, навсегда во мне сохранившиеся, о времени пребывания моего в Бурундукском училище и о том положении, в каком находились там малолетние воспитанники, отданные на полный произвол безнравственных, некультурных старших, в связи с последующим опытом моей педагогической деятельности убедили меня в том, что горе тому учебному заведению, где дети отданы во власть детей же, а не взрослых. Поэтому, будучи инспектором чувашской школы, я всегда старался, чтобы ничего подобного тому, что видел я в детстве, не повторялось.

Священник Баратынский появлялся в училище официально лишь в известные часы, хорошо изученные учениками, и то ненадолго, обходил наскоро заведение, присутствовал на некоторых уроках, читал в училище книги, газеты. Только изредка появлялся он не в урочное время. Для того, чтобы он не мог натолкнуться на беспорядки, вроде истязаний и т. п., старшие воспитанники ставили по очереди двух особых часовых — караульщиков у ворот, ведших во двор училища, и на вы-

соком крыльце последнего, откуда далеко было видно. При этом была изобретена даже особая сигнализация.

Особенной изобретательностью по части зверских истязаний воспитанников отличался великовозрастный воспитанник Семен Рубцов, лет 18—19, по выходе из училища сейчас же женившийся. К счастью моему, этот изверг оставил меня в покое, так как приходился родственником Мушкеевым (тетка Рубцова была женой Трофима Мушкеева, брата Гаврилы Мушкеева). В семью Мушкеевых доходили слухи о бесчеловечных поступках Семена Рубцова. Там его за это все осуждали. Рубцов и не смел меня трогать.

Замечу, что меня в училище не трогали, не мучили, не били еще и потому, что откуда-то прошел слух, что я сирота, бедняк, что, следовательно, с меня нельзя получить взятки.

Когда через несколько лет по выходе из училища я рассказывал Баратынскому о том, что делали старшие воспитанники с младшими, то он уверял, что ничего об этом не знал. Уместно сказать, что за Баратынским никакого контроля по училищу не было. Раз в год приезжал управляющий удельным округом, да благочинный * изредка спрашивал по закону божьему. Изредка, бывая на ревизиях удельных владений, приезжал помощник управляющего удельным округом. Но все эти лица обходили официально школу, не вникая во внутренний ее быт и не расспрашивая по этой части воспитанников.

Ученики Бурундукского училища носили свою одежду, ходили в лаптях. У меня сапог не было. В 1858 или 1859 году (хорошо не помню), приказано было сшить для учеников школы однообразную одежду — желтые кафтаны — на случай приезда начальства, причем деньги взыскали с домашних.

На третьем или четвертом году моего обучения в училище я сам был назначен старшим, как лучший по успехам (я окончил училище первым), притом отличавшийся хорошим поведением. С моим назначением старшим прекратились в училище вышеуказанные печальные явления.

Как я относился к жестокостям, совершавшимся Се-

---

* Благочинный — лицо, назначаемое духовенством из священников для административного управления церквами. Он мог проверять в школах знания учащихся по закону божьему.

меном Рубцовым и другими, более взрослыми воспитанниками? С испугом и нравственным страданием. Общее мое впечатление о времени, проведенном в Бурундукском училище, то, что это заведение имело глубоко развращающее влияние на детей и подростков.

Что дало мне училище? Оно научило меня механически читать по-русски, благодаря тому, что я обладал с детства прекрасной памятью и смышленостью. Но я не понимал большей части того, что читал. Я усвоил хорошо четыре правила арифметики. В школе, благодаря лучшей пище, здоровье мое улучшилось. Но в этом школа не повинна, так как я жил в русской семье Мушкеевых, где меня кормили, содержали лучше, чем в деревне Кошках у Пахомовых... В общем об училище у меня не осталось сколько-нибудь благодарного воспоминания.

Что касается до моего внешкольного пребывания в селе Бурундуках, то я должен сказать, что хотя по-прежнему и здесь я был замкнут, избегал игр с детьми моего возраста, но все же у меня было немало развлечений, удовольствий.

Дома Мушкеевых находились у самой Свияги, где я постоянно ловил рыбу, раков. От щипков последних у меня были язвины на пальцах. По-прежнему я любил природу, прогулки по окрестностям.

Близость родины моей — деревни Кошки — позволяла мне часто навещать родные места и тех, кого я знал по деревне. Во время этих посещений Егор-Андрей Пахомов интересовался иногда, чему я научился в школе. Но я плохо умел, а иногда и не мог удовлетворить его любопытство, прежде всего потому, что не умел рассказывать связно, толково о том, что происходило в училище. Многого мой приемный отец не мог понять уже потому, что в школе я знакомился с русской жизнью, часто складывавшейся совершенно иначе, чем быт чувашей. Наконец, многие усваиваемые мною понятия не укладывались в рамки чувашской речи, не могли быть поняты простым крестьянином-чувашом. Андрей Пахомов был недоволен, разочарован моими познаниями.

В училище требовалось, чтобы ученики говорили, молились по-русски, но чувашам не воспрещалось разговаривать между собою на родном языке. И я с приятелем моим Игнатием Ивановым обменивались по-чувашски нашими впечатлениями, не очень-то отрадными.

Мне хочется несколько остановиться на замечатель-

ной русской семье бурундукских крестьян Мушкеевых, о которых я уже упоминал выше. Семья эта в те три года, которые я в ней прожил, состояла из главы ее, Гаврилы Ивановича Мушкеева, и брата его, Трофима Ивановича. У Гаврилы был сын Павел (любивший выпить), две дочери — Татьяна, приблизительно моих лет, с которой я одновременно на разных половинах учился в училище, и другая — постарше меня, имя которой я забыл. У Трофима Мушкеева, кроме жены, были два сына и дочка. В семье жили еще две старухи — мать Гаврилы Ивановича, имевшая в то время свыше 65 лет, с больными, в ранах, ногами, и тетка, сестра отца Мушкеева, лет 50, слепая от рождения или рано ослепшая.

Гаврила Иванович Мушкеев был человек суровый, строгий к себе и другим, только изредка улыбавшийся, с особенным сыновним почтением относившийся к своей престарелой матери. Гаврила Мушкеев, хотя и плохо грамотный (читал по складам, а писал каракульками), представлял из себя во всех отношениях замечательную личность. Он остался в памяти моей как необыкновенно трудолюбивый, энергичный, не любивший, прямо не могший даже жить без дела, быстро работавший, с разносторонними талантами, русский крестьянин. Казалось, не существовало какой-либо отрасли труда, которая оказалась бы не по силам, не по способностям этого человека. У него не было, например, пчел. Он решил их завести, изучил пчеловодство, и скоро у него имелся образцово устроенный пчельник. (В благодарность за содержание меня Пахомовы посылали ежемесячно Мушкееву 1 пуд муки, 1 пуд крупы и взяли под свой надзор пчельник, устроенный им в удельном лесу около деревни Кошки.) Все делалось Мушкеевым быстро, успешно, с величайшим усердием и увлечением. Гаврила не умел делать сети, рыболовные снасти. Захотел и стал делать их сам прекрасно. Понятия не имел о дублении овчин — научился и т. д. Мушкеев обладал большими средствами, которые явились результатом его личного физического труда — по хозяйству, ловле рыбы и т. д. Он только и признавал почтенным личный физический труд. Торговлей, как и ремеслом, не занимался, считая ее ниже своего достоинства. К наживе у Мушкеева стремления не было.

Мушкеев относился ко мне ласково, по-отечески, как к ребенку. Никогда не наказывал. Щадил мои слабые

силы, но всячески приучал меня к работе. При поездках в город он меня с собою никогда не брал, а на рыбную ловлю я часто с ним ездил, помогая ему, насколько мог и умел. К охоте Мушкеев был равнодушен.

Оставило в моей памяти след и отношение семьи Мушкеевых к животным. У них было много скота (коров, овец, свиней и др.), лошадей, птицы. Скот помещался в особых хлевах. Никогда я не видел жестокого обращения хозяев или живших с ними с животными. Напротив, о них заботились, никогда не истязали, не били без нужды, не изнуряли, как это случалось наблюдать у других, соседних крестьян.

В то же время Мушкеев умел заставлять работать не покладая рук и других, подавая всем пример. Сам Мушкеев был среднего роста, коренастый, плечистый, большой силы, вообще отличавшийся цветущим здоровьем. То, что было под силу ему, являлось крайне тяжелым, а подчас и непосильным для другого. Помню, что одно время у него служил в работниках чуваш. Сначала ему было у Мушкеева тяжело, тем более что хозяин его был требователен. Потом он привык. Мушкеев хотя и жил дружно с братом, но и его заставлял работать. У него был приятель, такой же, как и он, по характеру и энергии. Бывало, по праздникам они сойдутся, не наглядятся друг на друга, беседуют о своих делах, проектах. Вообще же Мушкеев мало говорил, но много делал. В семье он никого не обижал, а все его боялись, уважали. Только раз видел я его сильно выпившим. Вид у него при этом был такой грозный, что при появлении его все, кто куда, разбежались, попрятались. Гаврила любил меня, никогда не бил, не наказывал. И жена его меня очень любила. Когда я в детстве знал Мушкеева, ему было лет 40. Я поступил к нему в дом в 1857 году, попав в Бурундукское училище, а уехал от него после окончания училища, что было в июне 1860 года. Умер Гаврила Мушкеев в глубокой старости, более чем 80 лет, будучи в последние годы церковным старостой в церкви села Старые Бурундуки, нажив большое состояние. Не чуждался он и общественной деятельности. Основой всей его жизни был труд. По его убеждению, человек не может жить без труда и должен в труде искать себе на земле счастья. Счастья вне труда для Мушкеева не существовало.

Вообще покойный Гаврила Мушкеев рисуется мне ка-

ким-то русским богатырем, духовно-нравственным гигантом, словом, замечательным во всех отношениях, выдающимся русским человеком.

Так же хорошо относились ко мне брат Гаврилы Трофим и жена его Прасковья (кажется, ее так звали). Бывало, все: «Ванюшка, иди! Ванюшка!» Это, значит, обращается ко мне. Она баловала меня. Печет пироги, лепешки — дает детям, не забудет и меня.

Я любил ездить по ночам с Гаврилой Мушкеевым ловить рыбу на так называемых «бударках» (маленьких лодках). Рыбу пугали особым снарядом, пугалом, представлявшим из себя длинную, около двух саженей, палку, на конце которой прикреплен железный стакан (чашка). Этим стаканом били по воде, вспугивая рыбу.

У Гаврилы Мушкеева, как я упоминал, был пчельник в удельном лесу недалеко от деревни Кошки. Не помню, ходил ли я туда с ним, а с сыном его Павлом, который был старше меня лет на шесть, хаживал.

Недолюбливала меня в семье старуха, тетка Мушкеева, слепая. Она звала меня презрительно «чувашонком», пихала меня ногой сзади, найдя меня ощупью, вообще выражала ко мне враждебное настроение. Я ее побаивался. Впрочем, зла она мне не делала. О ней я тоже сохраняю хорошее воспоминание.

Иногда я видел, как слепая старуха, тетка Гаврилы Мушкеева, тайком уходила в клеть, в конюшню, вообще куда-либо в уединенное место и там молилась.

Я должен вообще признать, что влияние семьи Мушкеевых на меня было хорошее, здоровое, русско-православное. Семья была работящая, трудолюбивая, нравственная. Все меня так любили, что даже дочь Гаврилы Мушкеева, видя ко мне общее внимание, ревновала, думая, что будто бы меня больше любили, чем ее. Кроме вечной глубокой благодарности к этой семье, я до сих пор ничего другого не питаю.

У Мушкеевых все дети спали вместе на полатях, и я — с ними.

К этому времени я научился кое-как читать. В доме у Мушкеевых имелась книга «Чтение из евангелистов», с выборками некоторых мест из евангелия, написанная по-русски. (В училище обучали читать по-славянски. Я знал кое-как и славянский язык. Учеников заставляли читать в церкви во время богослужений.)

Потом в течение многих лет, в том числе и тогда,

когда положение мое стало вполне обеспеченным, я поддерживал с семьей Мушкеевых добрые отношения, благодарный им за все то, что они для меня сделали в моем детстве. Приезжая в Бурундуки, я привозил им всегда гостинцы — платки и другие мелочи. Чего-либо существенного я для них не сделал. Внуки Гаврилы Мушкеева учились у меня в чувашской школе. Один из них не мог учиться, умер рано, будучи больным падучей болезнью [13]. Правнук Гаврилы Мушкеева был человек энергичный, дельный и служил впоследствии в Симбирске бухгалтером в городской думе. В нем сказалась порода его прадеда Гаврилы Мушкеева.

III

Из Бурундукского удельного училища я был взят, как первый ученик, в Симбирское удельное же землемерное училище [14]. Поехало нас в Симбирск человек 50. Затем приехали ученики из Казани, Саратова, Самары, Алатыря, Сызрани, так что нас собралось человек около 150 (и прежде набранных, и новых).

В удельном Симбирском округе (конторе) в мое время быт был крепостной. Управляющий удельным Симбирским округом Арсений Федорович Белокрысенко и другие начальствующие лица обращались с низшими служащими на «ты», грубо, пренебрежительно.

Но я остаюсь навсегда благодарным землемерному училищу, состоявшему в ведении округа, за то, что оно приучило меня работать. После семьи Мушкеевых, где меня тоже, сообразуясь с моим возрастом, слабым здоровьем и силами, приучали к хозяйственным работам по дому и в поле, втягивая постепенно в работу, Симбирское землемерное училище явилось в этом направлении как бы следующей, переходной, ступенью. В училище я пробыл три года. За это время благодаря постоянной работе я не знал, что такое удовольствие. Белокрысенко и другие требовали от нас усвоения землемерного дела, усердной, систематической, усидчивой работы. При системе занятий, практиковавшейся в заведении, труд обращался как бы в необходимость, потребность, привычку. Приходилось добросовестно исполнять свои обязанности, никогда не оставаясь праздным, без занятий. Я взял себе в будущем за идеал именно такую работу и когда впоследствии сам стал начальником, то требовал от

подчиненных такого же добросовестного отношения к делу. Я, например, никогда не играл с ними в карты, чтобы их не развращать. Я ценил на службе человека главным образом по его работе.

Из жизни моей во время моих странствований в качестве землемера по Симбирской губернии мне припомнились два случая.

В 1861 году, когда я работал в Сурском лесу Буинского уезда Симбирской губернии и проезжал в телеге по лесу, лошадь, чего-то испугавшись, понесла, причем телега, на которой я ехал, опрокинулась. Я упал и в двух местах вывихнул левую ногу. Это повреждение, заставившее меня долго пролежать и лечиться, до сих пор напоминает о себе болью в ноге в дурную погоду и прихрамыванием. Ногу мне плохо вправил волостной старшина, а затем женщина-чувашка в селе Тарханах Буинского уезда. Врача там тогда не было. Недели две я промучился с невправленной ногой. Звали старшину Богдановым. Он был чувашин.

Приведу еще один эпизод из моей службы в мерщиках. В июле 1865 года я во время моих работ жил в городе Сызрани. Туда же перекочевал из имения Акшуат Поливанова уволенный с водочного завода мастер с сыновьями (фамилии их не помню, да это и неважно). Старший сын мастера Василий со мною познакомился. Он жил далеко от меня, но тем не менее мы ходили друг к другу. Приходит как-то ко мне этот Василий и просит одолжить ему для исповеди и причастия новые мои сюртук, жилет, брюки и штаны. До этого случая я не знал, что он был горький пьяница. Когда же я пришел поздравить его с принятием святых тайн, то оказалось, что он платье мое заложил в кабаке, а деньги пропил. Мне же пришлось выкупать у кабатчика мою одежду, так как родные Василия не пожелали это сделать. Мне оставалось только прийти к заключению, что пьяницу никогда не исправишь.

Пребывание в землемерном училище и служба мерщиком с разъездами, топографическими работами, съемками планов и т. п. развили во мне память, которая и ранее была недурна. У меня до сих пор сохранилась привычка запоминать по дороге всякие мелочи, местности, названия, имена, фамилии, цифры и т. п.

Из землемерного училища в конце апреля 1864 года я был произведен в мерщики и назначен в город

Сызрань [15]. Когда в том же году страшный пожар уничтожил почти весь город Симбирск, меня там уже не было.

Начальником землемеров землемерного училища, имевшим общее наблюдение за землемерными работами в удельных имениях и землях Симбирской, Самарской и Казанской губерний, был командированный из Петербурга, из департамента уделов, Михаил Герасимович Иванов, весьма умный, гуманный, негордый человек — во многом полная противоположность Белокрысенко, которому в общем порядке подчинялся Иванов, имея, однако, и известную долю самостоятельности. Так, Белокрысенко из числа служивших в округе землемеров имел в личном его распоряжении только одного землемера и нескольких мерщиков специально для работ по Симбирской удельной конторе. Высылка остальных мерщиков на работы по упоминаемым губерниям зависела от Иванова.

Доступность Иванова была до того велика, что, например, я и еще несколько человек (до 30), съехавшихся в Симбирск, жили первоначально при его квартире, бывшей на том месте, где ныне находится сад кадетского корпуса, в особом сарае, расположенном во дворе. Во время пожара 1864 года этот сарай сгорел. Потом нас с остальными съехавшимися разместили по Симбирску в трех домах (Котляровского, Фомина и Белоусова). В первую половину 1860 года я жил в доме Котляровского, вторую — частью в доме Фомина, частью Белоусова.

Быт землемерного училища не отличался чистотою нравов. Более взрослыми воспитанниками и здесь, как в Бурундукском училище, устраивались младшим по возрасту товарищам тоже своего рода истязания, пытки, но не столько со злым, корыстным умыслом, как в виде глупых, грубых шуток. Так, например, по ночам, когда все засыпали, практиковалось приложить к пяткам намеченной жертвы насаленную бумагу и поджечь ее, что вызывало нестерпимую боль, всунуть в нос спящему бумагу, свернутую в «цигарки» с порохом или нюхательным табаком, чтобы, поджегши такой снаряд, вызвать удушье, чиханье и испуг. С наступлением сумерек ученики безобразничали, испражнялись тут же в спальнях и т. д. Это делали, конечно, не все.

Зимою мы занимались письменными каллиграфическими работами, черчением, копированием планов. Летом 1861—1863 гг. до глубокой осени нас рассылали в разные местности по трем губерниям округа. Многие практиче-

ски упражнялись в течение зимы в измерениях земли. Кормили нас очень порядочно: давали мясо, баранину (даже иногда в виде жарких), кашу, пироги.

Как педагог, Иванов был далеко не безукоризнен. Например, приносил воспитанникам табак и папиросы, чем приучал юношество курить. Я никогда не курил. С нами он был мягок, добр, вежлив, думал о том, чтобы доставить нам какое-либо развлечение, удовольствие. С удельными крестьянами он тоже обходился хорошо, отстаивая, соблюдая их интересы, за что в конце концов и пострадал, был удален Белокрысенко с должности и сослан на жительство в Пензенскую губернию (где было небольшое имение его жены) по обвинению в том, что он умышленно неправильно, в интересах крестьян толкует последним уставные грамоты [16], вызывая их тем подавать жалобы и даже уча кляузничать. Это было напраслиной. Общее мнение было то, что Иванов пострадал, будучи невиновен. По отношению к крестьянам Иванов был тоже не похож на Белокрысенко, который, хотя и считал себя либералом (читал «Вестник Европы» [17] и проповедовал либеральные теории), но на самом деле был типичным бюрократом, убежденно, иногда не совсем добросовестно, а зачастую в ущерб крестьянам, отстаивавшим интересы удельного ведомства. С Ивановым Белокрысенко и до этого дела был в натянутых отношениях. Воспользовавшись удобным случаем, он и сплавил Иванова.

Командировки на землемерные работы в различные местности трех губерний, населенных разнородным населением (русскими, чувашами, татарами, мордвой), имели в жизни моей огромное воспитательно-образовательное значение, знакомя меня с правами, обычаями, особенностями разных народностей и наводя мысль на параллели между ними по отношению к типам, характерам, обстановке быта и т. д. Все это приводило меня неизменно к родным мне чувашам, которых я сопоставлял с другими народностями.

В то же время обострился во мне, благодаря этим командировкам, процесс религиозных сомнений и исканий. Дело в том, что мне пришлось столкнуться по селам и деревням с раскольниками различных толков, иногда очень умными, бойкими, начитанными. Я заводил нарочно с ними беседы о преимуществах одной веры над другой. Меня смущало то обстоятельство, что раскольники

с твердостью, с убеждением, подчас красноречиво, доказательно обосновывали преимущества старообрядчества над православием, утверждая: «В православии нет истины», «вне старообрядчества человека ждет гибель» и т. д. Я был всегда суеверен, вера во время пребывания моего в землемерном училище теплилась, но я сомневался, блуждал...

От мельника-колдуна деревни Берляково Казанского уезда (Берляково было сплошь населено русскими, и этот колдун, имени которого я не помню, был русский, православный, а не раскольник) я научился заговаривать кровь с помощью произнесения известных заклинаний (часть которых я и сейчас помню). Я делал опыты, причем мне удавалось останавливать кровь у себя и других этим способом. От него же я перенял уменье безнаказанно брать в рот за зубы стекла, дробить их зубами, есть стекла. Не помню, глотал ли я их или выплевывал. Такие мои фокусы производили на окружающих впечатление, а во мне укрепляли уверенность в силе моей воли: я верую, что кровь при моем заговоре остановится, что стекло не может мне повредить — и вера сбывается на деле. В первое время моего пребывания в гимназии меня преследовали те же религиозные сомнения на почве сравнения вер — православной и раскольничьей.

В 1864 году, будучи мерщиком удельного ведомства, я работал в селе Винновке Сызранского уезда Симбирской губернии, верстах в 40 от Самары ниже по Волге. И ранее у меня бродили в голове мысли, но неопределенно, о том, что у других народов была же своя письменность — почему же ее нет у родного мне племени чувашей? В Винновке случилось со мной событие, которое дало дальнейший толчок этой мысли. В июне этого 1864 года я тяжело заболел лихорадкой, благодаря тому, что местность, где я жил, находилась глубоко в ущелье, а моя квартира была у гнилого ручья, впадавшего в Волгу. Болезнь меня извела, обессилила. Не только врача, но и фельдшера в окрестностях не было. Вдруг в Винновку заезжает на паре или тройке собственных лошадей управляющий имениями княгини Долгоруковой, урожденной графини Орловой-Давыдовой, поляк Косинский Осип Львович. Я лежал очень слабым в мужицкой избе, куда он и зашел меня навестить, хотя до того мы знакомы с ним не были. Думаю, что кто-либо сказал Косин-

скому, что в Винновке есть землемер, который ему как раз был необходим, но что он не знал о моей болезни. Увидав меня, узнав ту обстановку, в которой я находился, Косинский сказал мне: «Вы никогда не вылечитесь, если останетесь здесь. Поедемте сейчас в горы, в мою усадьбу! Надо переменить место». Надо заметить, что имение его находилось на высокой горе посреди Самарской Луки. Я ухватился за это предложение, тем более что он с резонами, настойчиво предлагал мне переехать. Выбора не имелось. И я, будучи перевезен в имение Косинского на его лошадях, очутился в его кабинете. С ним жила симпатичная жена, старушка, полька. У Косинских были дети (кажется, в то время учившиеся, студенты), но они отсутствовали. В доме Косинских говорили по-польски и по-русски. Я пролежал недели две слишком в имении, послав оттуда донесение по почте о моей болезни. Тогда я был еще малограмотен и излагать на бумаге мысли по-русски мне было трудно. В скором времени вместо меня был командирован в Винновку мой товарищ мерщик Соболев. Он посетил меня в имении Косинских, называвшемся Аскулы (недалеко от села того же имени). Ко времени сенокоса я поправился. Пребывание мое у Косинских имело для меня большое значение в смысле укрепления во мне мысли о необходимости для чувашей письменности. Я любопытствовал, есть ли книги на польском языке. Мне был известен только русский язык. Я видел до того книги только на русском и татарском языках. А тут вдруг узнал, что у поляков, как и у других образованных народов, существуют книги на своем родном языке. Почему же, думалось мне, нет таких книг на чувашском языке у чувашей? Мне было досадно и обидно.

Косинский между тем дал мне работу по имению. Из чувства благодарности за оказанное мне гостеприимство я ее принял и, исполнив, получил в награду за мой труд 25 рублей. Такая крупная сумма в первый раз в жизни оказалась в моих руках. Окончив работу у Косинского, я уехал продолжать [выполнять] казенное поручение в Винновку (верстах в 15—18 от Аскул). Косинский вскоре снова предложил мне работу по наделам. Должен сознаться, что по качеству, быстроте работы я принадлежал к числу средних мерщиков. Новую работу я сделал вместе с Соболевым. При уплате за труд на мою долю пришлось 200 или 300 рублей. Это был, по моим тогдашним понятиям, уже целый капитал. Получил я его не

сейчас, а в следующую зиму, когда работы были закончены. Мною было затем получено новое приглашение от Косинского. Взяв отпуск на три недели в конце августа, я отправился в имение Косинского, исполнил его поручение и опять получил деньги. Все вместе составило около 400 рублей. Эти работы и связанный с ними заработок убедили меня в том, что, для того чтобы чего-либо добиться, нужно получить образование, т. е. идти в гимназию и университет. Во мне утвердилось решение, что для этого я должен переехать в Симбирск, где была гимназия, и поступить в нее. У моих товарищей таких предположений и забот совершенно не было.

С июня 1865 года я работал вместе с мерщиком из чувашей, бывшим удельным крестьянином Прохором Акимовичем Акимовым, на землемерных работах в селе Паньшине Сызранского уезда Симбирской губернии (южнее Сызрани). Мы проработали недели две-три. В это время меня очень озабочивала мысль о возможности для чувашей читать и писать по-чувашски. Снова мучили меня вопросы: почему же и нет? В чем же затруднение? A priori* я решил, что, быть может, это достижимо. Среди подобных вопросов и сомнений я путался. Окончив лишь землемерное училище, я, можно сказать, почти никакого общего образования не имел. А потому для разрешения таких вопросов у меня не было материала в запасе полученных мною в означенном заведении сведений. Тем не менее я и думал и говорил о переводе богослужебных книг на чувашский язык, сообщая мои предположения в перерывах землемерных работ моему начальнику, надзиравшему за работами в Паньшине, Ивану Ивановичу Зекину. Зекин доказывал мне, что из моих проектов ничего не выйдет. Бывало, сойдемся вечером в праздник я, Акимов и Зекин, и я начинаю споры с последним на эту тему. В спорах активного участия Акимов не принимал. Но много лет спустя при встрече со мной он о них мне напомнил.

Само собою, что из предположений моих ничего реального и не вышло бы, если бы не встреча моя в будущем с Н. И. Ильминским.

Во время пребывания моего в селе Паньшине на меня произвел сильное впечатление следующий случай. Я во-

---

* Заранее, наперед.

обще с малых лет не мог спокойно видеть бедствий, страданий людей без того, чтобы не постараться для них что-либо сделать. А тут в Паньшино пришел старый солдат с несколькими георгиевскими крестами на груди, русский, едва передвигавший ноги, которого вел, поддерживая, мальчик. Не помню теперь, сколько я дал бедняку-инвалиду, но зато помню, что меня возмутило подобное положение солдата, проливавшего кровь за отечество. Как, думалось мне, может быть такое отношение к героям? По поводу этого случая у нас опять были беседы с Иваном Ивановичем Зекиным. Тот не возражал на мое возмущение.

Гораздо ранее 1865 года, когда у меня определилось стремление дать чувашскому народу возможность читать и писать на родном языке, в течение 1861, 1862 и последующих годов я, так сказать, вбирал в себя молча, сосредоточенно из окружающего все то, что могло дать мне те или иные указания по этому вопросу, бывшему тогда еще для самого меня не вполне ясным. Такая внутренняя работа отражалась на моих поступках. Так, у меня явилась идея выписывать через Сызрань и волостное правление в селе Переволоках «Русские ведомости» [18] Скворцова, что я и исполнил. Тут только, постоянно читая газету, я стал основательно изучать русский язык, понимать хорошо прочитанное. Когда я жил в имении Косинского, то читал Коршевские «Петербургские ведомости» [19], бывшие в ходу и считавшиеся либеральной газетой. До чтения этих газет мне в руки попадались такие русские книги, как «Бова Королевич», «Битва русских с кабардинцами». Начав читать газеты, я бросил чтение подобной литературы.

Имея в виду гимназию, находившуюся в Симбирске, я в конце 1865 года перешел из Сызрани в Симбирск на ту же службу мерщика, поступив в удельную контору, где я делал планы. По закону я обязан был 8 лет отслужить за содержание меня на общественный (крестьянский) счет в землемерном училище удельного ведомства [20], работая по приведению в порядок удельных имений. Оно находилось в Симбирске на том месте, где теперь управление Симбирского удельного округа.

Для характеристики жизни моей в мерщиках приведу следующие факты. Как мерщик я получал ежемесячно 10 рублей жалованья, да в течение летних месяцев, когда приходилось работать в поле, добавлялось к 10 рублям

еще 3 рубля, так что все жалованье состояло в месяц из 13 рублей. На эти деньги надо было жить, одеваться, нанимать квартиру и т. п. Правда, и жизнь в это время, особенно по деревням, стоила удивительно дешево. А крестьяне тех деревень, где летом производился обмер земли, кормили нас, мерщиков, даром, так что в конце концов при бережливости и уменьи жить оставалась еще и некоторая экономия. Вот из этой-то экономии я решил сделать себе шубу. Устройство шубы тянулось два года. В первый год мне удалось скопить деньги только на покупку тулупа (овчины), который я и носил без покрышки. Понадобился еще год для того, чтобы я мог покрыть овчину сукном. Таким образом получилась та шуба, о которой я мечтал.

Приглядываясь к жизни образованных людей, я заметил, что все мужчины пьют чай из стаканов. Тогда я решил приобрести себе стакан, что и исполнил, живя в качестве мерщика в Сызрани в избе у простой бабы-мещанки, у которой сын был писцом в Сызранской удельной конторе и получал такое же, как я, жалованье. По уговору с хозяйкой квартиры, я должен был спать в кухне на полатях, имея свой войлок вместо матраца и подушку. Но мне разрешалось пользоваться так называемым залом, т. е. входить туда и заниматься. Недели две-три хозяйка наливала мне в ее горнице чай в мой стакан, как вдруг однажды с неудовольствием говорит мне: «Когда мы с вами рядились, то не было уговора подавать вам чай в стакане». Я недоумеваю, так как мне казалось, что все равно, из чашки или из стакана я выпью несколько порций чая. Спрашиваю ее, в чем дело. «А вот в чем,— отвечает она,— в стакан я вам должна наливать чай гуще для колера, чтобы он не просвечивал... А в чашке не будет заметно, жидок чай или нет...» Оказалось, что хозяйка рассчитывала даже в таких мелочах. Помнится, я платил ей за обед и чай что-то около пяти рублей в месяц.

Хочется мне еще рассказать о нескольких странных явлениях, в те времена существовавших в удельном ведомстве, поражавших меня в дни моей молодости. К числу подобных явлений следует отнести и попытки ведомства насильственно насаждать по деревням Приволжского края культуру, не справляясь со степенью подготовки к ее восприятию местного населения, с местными условиями и прочее.

Около Сызрани, верстах в 5—6, существует и теперь село Образцовое. Я посещал [его] осенью и зимой 1864 года, уже тогда, когда с падением крепостного права пала и возможность производить над крестьянами разного рода опыты по прихоти начальства, в том числе и удельного. Но здесь оставалось еще много следов подобных новшеств. Ранее по приказу начальства сюда были согнаны насильственно из всех волостей Сызранской удельной конторы лучшие мужики с их семьями по особому избранию. Для них были построены двухэтажные каменные дома по немецкому образцу, где жило по нескольку семейств; дома были разбиты по местности по особому плану, была устроена пожарная каланча с пожарными насосами и с пожарной командой из крестьян. Земля была роскошная, наделы огромные, по 15 десятин на каждую мужскую душу. Но все это не привилось как чуждое нравам и взглядам населения. Во время моих посещений я был свидетелем того, как все заведенное с такими усилиями и затратами удельным ведомством разрушалось само и разорялось крестьянами. Без образования народа подобные опыты неосуществимы, чего тогдашнее удельное начальство в расчет не принимало.

Подобные же немецкие, чуждые русскому человеку, новшества были заведены не в одном селе Образцовом, но и в других селениях. Кое-где, однако, реформы в крестьянском хозяйстве привились. Это случалось в таких местах, где имелись налицо подходящие условия. Так, например, в Старых Бурундуках, где я учился, удельное ведомство вздумало выделывать кирпич. Благодаря тому, что в окрестностях имелась в изобилии подходящая, чистая, хорошая глина, из которой можно было выделывать прекрасный, чистый, прочный, звонкий кирпич, этот вид фабричного производства существует и до сих пор. Когда священник Баратынский задумал строить в селе этом церковь, то у него и у местных крестьян явилась мысль устроить кирпичный завод, чтобы выделывать кирпич для воздвигаемого храма, а часть его продавать с тем, чтобы вырученные деньги шли на сооружение последнего. Так и было сделано.

Когда удельное ведомство вздумало ввести по удельным селениям выделку овчин и кож, то во многих местах мера эта не привилась. В мордовских же селениях Паркине и Помаеве подобная выделка удержалась до сих

пор, так как нашла сочувствие населения и другие благоприятные местные условия, которых не было в других селениях.

Для того, чтобы дать деревне образцовых, умелых, образованных хозяев и ремесленников, удельное ведомство устроило недалеко от Петербурга, на станции Удельной, школу с образцовым хозяйством. В нее года на 3—4 посылались со всех концов России для обучения деревенские юноши, которые затем, возвращаясь в родные деревни, должны были и сами заводить у себя образцовые хозяйства и помогать в этом отношении односельчанам. Удельное ведомство оказывало на местах всяческое содействие таким специально обученным крестьянам, давая пособия, отводя им лучшие земли, снабжая скотом и т. п. Кое-где, действительно, хозяйство таких крестьян стояло выше, чем хозяйство тех, кто жил с ними по соседству. Но в общем и эта мера не привилась, пав сама собой в большинстве селений при наступлении эмансипации *.

Помню, как удельное ведомство вводило по своим деревням общественную молотьбу, общественную запашку, требуя, чтобы снопы сжатой ржи были ровные, одинакового везде размера и вида. Для того, чтобы проверять умолот ржи, овса, делали опыты, сколько зерна выходило из 100 снопов и того же размера и вида. Конечно, все это не имело под собой почвы, так как нельзя же было требовать одних и тех же результатов умолота, который не мог быть на худой земле, при дурной ее обработке и других неблагоприятных условиях таким же, каким оказывался в образцовых хозяйствах. Само собой разумеется, тут выходили недоразумения между удельным начальством и крестьянами, ведшие к розгам и другим наказаниям, напрасно озлоблявшим население. Сюда присоединились взяточничество низших служащих удельного ведомства, несправедливость и произвол личных усмотрений.

Для того, чтобы поступить в гимназию, я подал прошение управляющему тогда удельным округом Арсению Федоровичу Белокрысенко об увольнении меня со службы по удельному ведомству. Это совпало с временем, когда мерщики бежали с казенной работы на частную

---

* После отмены крепостного права.

практику по отводу земли помещиками крестьянам, каковая работа оплачивалась лучше. Поэтому Белокрысенко, прочтя мое прошение, заподозрив с моей стороны то же намерение, рассердился на меня и раскричался. В просьбе моей мне было отказано. Будучи по характеру упрям и настойчив, я лично более не являлся к Белокрысенко, а начал с ним неравную борьбу. Первоначально мною было подано прошение в Петербург директору департамента уделов графу Стенбоку. Получаю отказ. Тогда у меня явилась мысль откупиться от службы в уделах, внеся то, во что обошлось мое обучение в землемерном училище, считая по 60 рублей в год. Я подал по начальству прошение такого содержания. Мне снова отказали. В 1866 году при встрече я все рассказал священнику Баратынскому, а ранее и писал ему о том же. Баратынский был в хороших отношениях с отставным генералом Головинским, дедом нынешнего, находящегося в Симбирске, Головинского. Он был побочный сын известного в Симбирске генерала Ивашева, адъютанта Суворова, и какой-то графини Толстой. Генерал Головинский по просьбе Баратынского написал обо мне письмо симбирскому губернатору барону Велио, прося снестись с Белокрысенко, чтобы тот меня не задерживал в удельном ведомстве. В то же время Баратынский поручил мне в дополнение к посланному письму лично явиться к барону Велио, что я и исполнил. Барон принял меня любезно, но из этого ничего не вышло. Он сообщил мне, что говорил с Белокрысенко и тот заявил, что ни за что меня не отпустит.

Я продолжал работать в удельном ведомстве, но подал еще одно прошение — на этот раз прямо министру императорского двора графу Адлербергу — с ходатайством уволить меня из удельного ведомства за плату, так как я хочу продолжать мое образование. На это прошение я долго не получал ответа. Однако я не унывал. С октября 1866 года Белокрысенко надоедали просьбами обо мне отставной гвардии полковник Раевский (Самсон Дмитриевич) и Плотников, помощник Белокрысенко по управлению удельным округом. Белокрысенко, желая избавиться от присутствия моего в Симбирске, перевел (сослал) меня в октябре 1866 года в Алатырь, предполагая, как мне показалось, что таким образом я буду лишен возможности надоедать ему и другим просьбами. Он попрежнему считал, что я хитрю, его обманываю, желая

уйти на более доходную работу. А я уже готовился усердно для поступления в гимназию, брал уроки языков, запасся словарями и т. п. Отъезд из Симбирска, конечно, расстраивал мои занятия. Приехав в Алатырь, я стал брать уроки у смотрителя тамошнего уездного училища Иванова по латыни и немецкому языку. Всякой свободной минуткой я пользовался для самообразования. В Алатыре я сошелся с этим Ивановым, но он на меня не оказывал никакого влияния.

Уездное училище в Алатыре помещалось в доме другого учителя, Алексея Андреевича Мукосеева, специальностью которого была математика. Как я узнал впоследствии, этот Мукосеев был уволен из Нижегородского дворянского института как нигилист. Я с ним познакомился. Он стал заниматься со мною бесплатно алгеброй, геометрией, оказав мне этим существенную помощь. Мукосеев, хотя и ходил в церковь, но никогда не молился. На меня Мукосеев не пытался оказывать политическое влияние. Вообще щекотливых вопросов в беседах со мной он не касался. Только раз при разговоре о моем знакомом, полковнике Раевском, он выразился так: «Все они подлецы!» В сущности, Мукосеев был хороший, добрый человек. Когда несколько лет спустя я прочел «Отцы и дети» Тургенева, то Мукосеев показался мне совершенно похожим на Базарова. В Алатыре в разговорах со мной он иногда прорывался, высказывая свои взгляды и суждения.

Будучи в Алатыре, как в ссылке, я впервые увидел русскую пляску в русской семье мерщиков. Она произвела на меня сильное впечатление. Семья была Скороходовых.

Мое пребывание в Алатыре тянулось до святок 1867 года, когда 4—5 января в Алатырь для ревизии учреждений удельного ведомства приехал Белокрысенко. Вообще он славился как строгий и грубый начальник. На этот раз, вызвав меня к себе, он сказал мне с недоверчивостью после ряда окриков: «Ты никогда не будешь в гимназии!» Я заплакал, поняв, что мне опять отказано, уже из Петербурга, и ушел. Как вдруг через день мне прислали из Министерства двора * бумагу с извещением о том, что я уволен из удельного ведомства даже без всякого выкупа. Надо заметить, что у меня, бедняка, мел-

* Министерство императорского двора и уделов.

кого служащего, никаких ходов в министерстве, конечно, не было. Увольнение мое совершилось помимо Белокрысенко, согласия его не спросили.

Сделаю некоторое отступление для того, чтобы покончить с моими отношениями к Белокрысенко. Около года прошло с тех пор, как я перевелся из Сызрани в Симбирск мерщиком с целью поступить в гимназию. Так как все мои попытки добиться увольнения из удельного ведомства несправедливо парализовались Белокрысенко, то я всей душой его ненавидел, злобствуя против него до того, что по временам готов был, казалось, убить его. Иногда в мечтах мне представлялось, что я взлетаю под небо и оттуда сбрасываю на него шар. Но нет худа без добра!.. Хотя Белокрысенко явился для меня чем-то вроде камня на моей шее, мешавшего мне жить, моя борьба за право дальнейшего образования закалила мою волю, следовательно, повела к лучшему.

Гораздо позднее, в 1884 году, когда я был уже окружным инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, т. е. человеком с положением, я встретился у Ульяновых частным образом с Белокрысенко, который продолжал быть управляющим Симбирским удельным округом. Мы вспомнили с ним прошлое, и он мне заявил, что действовал вопреки моим желаниям, находясь в заблуждении, так как думал, что я его обманываю. Белокрысенко был, безусловно, честный и незлой человек, не бравший взяток, что составляло тогда в удельном ведомстве исключение. Еще до моего с ним знакомства, как бы желая загладить сделанное мне по неведению зло, он дважды по личной инициативе оказал мне внимание и помощь, когда узнал, что я действительно поступил в гимназию. В этой гимназии учителем немецкого языка в то время был немец Яков Михайлович Штейнгауер, знавший Белокрысенко. Последний все справлялся у него обо мне, о моих успехах и выдал мне от Симбирской удельной конторы пособие в 120 рублей. Другое пособие в такой же сумме получил я из конторы благодаря Белокрысенко, когда окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью.

Возвращаюсь к моему личному знакомству в Симбирске с Белокрысенко в 1884 году. Мы бывали друг у друга. Однажды он был у меня на блинах с генералом Мирославом Викентьевичем Гриневичем. Я был женат, жил не в теперешней моей квартире, а в деревянном доме.

Заговорили о прошлом. Белокрысенко спрашивает меня: «Как вы ко мне относились, когда я вас преследовал?» Я отвечаю: «Очень скверно...» «А именно?» — допрашивает он. «Доходило дело до того,— говорю я,— что я хотел вас убить». Мой ответ его поразил так, что он побледнел, доел блины и сейчас же уехал. Знакомство наше, благодаря этой моей откровенности, порвалось. А через год Белокрысенко скоропостижно умер. Я до сих пор раскаиваюсь в моей резкой выходке.

Из Алатыря со мною поехал в Симбирск и Мукосеев, устроившийся на службу в палату уголовного и гражданского суда. Репутация Мукосеева была настолько установившейся в отрицательном смысле, что впоследствии, когда я был в гимназии, священник Баратынский мне передавал, что законоучитель гимназии протоиерей Петр Иванович Юстинов, когда в присутствии его, директора гимназии Вишневского и других речь зашла обо мне, сказал: «Хорош! Но только видно, к сожалению, влияние Мукосеева». Дело в том, что я, мучимый сомнениями, желая до всего основательно докопаться, иногда на уроках закона божия задавал отцу Юстинову слишком, по его мнению, неудобные вопросы.

IV

Приехав в Симбирск, я стал усердно готовиться в гимназию. Мукосеев продолжал со мной занятия. Он познакомил меня со своим товарищем, учителем словесности Симбирской гимназии Михаилом Васильевичем Арнольдовым. С последним я начал заниматься русским языком и русской словесностью. Так как мне было уже 19 лет, то я должен был по годам поступить прямо в V класс. Директор гимназии Вишневский относился очень сочувственно к моему желанию учиться в гимназии. К тому же он был русский, но живший много лет в чувашском селе, где отец его был священником, а потому хорошо знакомый с чувашами и их бытом. Поэтому он и мной интересовался. Тогда (1866—1867 гг.) был поднят и считался в моде инородческий вопрос, которым занимался попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков (Н. И. Ильминского я еще не знал).

Мне повезло в отношении подготовки по некоторым предметам. Племянник полковника Раевского как раз в это время готовился в технологический институт. Учите-

ля гимназии давали ему уроки. Мне любезно было предоставлено участвовать в этих уроках (по немецкому языку, отчасти по математике). Надо заметить, что все уроки давались мне бесплатно.

Моя подготовка в гимназию и последующее время совпали с эпохой начала освободительного движения, я стал читать журнал «Русское слово» [21], в котором участвовал Писарев. Но вообще, за недостатком свободного времени, читал я мало.

Тут настала пора великого для меня соблазна. Я незавидно сдал экзамены в V класс в начале августа 1867 года. На экзаменах ко мне отнеслись снисходительно. Особенно я оказался слабым по русскому языку и естественной истории. В конце июня я получил телеграмму, которой Косинский вызывал меня в Самару. Я поехал. Косинского там не нашел. Меня встретили два незнакомых мне господина — агент с немецкой фамилией и еще кто-то, предложившие мне сделать план имения принца Гессенского под Самарой, подаренного ему государем на выгодных условиях, с вознаграждением мне за нанесение на план имения в шесть тысяч рублей. Предложение было слишком выгодно. Но, приняв его, я должен был бы покинуть гимназию. Во мне больших колебаний не было. И хотя приезжавшие накормили меня на Самарской пристани обедом, я отказался.

Приготовлением в гимназию я был более всего обязан Арнольдову, который был редактором «Симбирских губернских ведомостей» и секретарем Симбирского статистического комитета.

Ко времени подготовки в гимназию относятся мои первые попытки сотрудничать в газете. Не помню точно, в каком году (думаю, что весной 1867 г. и в 1868 г.) я поместил при содействии Арнольдова в «Симбирских губернских ведомостях» следующие статьи: 1) «Учук», в которой описывал, как чуваши совершают свои празднества (статья эта была не более как моя ученическая работа [22]. Насколько помню, она появилась в газете под двойной фамилией «Арнольдов—Яковлев»); 2) отзыв на книгу Золотницкого о чувашском календаре [23].

Когда я, будучи уже в университете, познакомился с Ильминским, он говорил мне, что своевременно *

---

* Здесь: раньше, в свое время.

обратил внимание на мои заметки о календаре и букваре.

Но вот вопрос, верно ли сообщение братчика братства святителя Гурия П. Знаменского в его книге «На память о Н. И. Ильминском (к 25-летию братства святителя Гурия)», что я в 1868 году будто бы напечатал в «Симбирских губернских ведомостях» статью против употребления чувашского языка в школах,— такой статьи я никогда не писал и не печатал [24]. Я возражал в этой газете на статью Золотницкого, доказывая, что он не понимает чувашского языка. Под ложным влиянием Баратынского я мог смотреть его глазами на преобладающее значение в чувашских школах русского языка, но против чувашского языка не мог иметь что-либо враждебное.

Переносясь в прошлое, представляю себе Симбирск, опустошенный в лучшей его части пожаром 1864 года. Некоторые здания каким-то чудом уцелели в море огня, как например, деревянный балаган-театр, там, где ныне начинается Театральная улица. Губернская тюрьма (острог), Покровский мужской монастырь уцелели. Бродя по городу после пожара, я чуть было не погиб против того места, где теперь построен кадетский корпус, попав в глубокий, сажен в 20 глубины, колодезь, едва прикрытый досками. Если я в него не провалился, то потому лишь, что инстинктивно ухватился за края руками. Теперь место, где находился колодезь, застроено, и я не мог бы его найти. Помню, как город постепенно возрождался затем под попечением симбирских деятелей — губернатора барона Велио и городского головы купца Александра Ивановича Зотова.

В гимназии я учился усердно; в конце первого года был в числе средних учеников, но русский язык долго мне не давался (с этим боролся учитель русского языка и словесности Виноградов). Также я был слаб по немецкому языку и занимался по этому предмету с товарищем Александра Андреевича Мотовилова Лебедевым. (Мотовилов путает, в глаза меня уверяя, будто бы он, Мотовилов, давал мне уроки французского языка). Я и теперь говорить по-французски и по-немецки не могу, вообще иностранные языки знаю слабо.

Вспоминаю о том, каким резким переходом от землемерного училища с его крепостным бытом показалась мне Симбирская гимназия с ее общеобразовательным курсом и режимом, в основу которого было положено уважение к человеческой личности.

Так как мне было хорошо при подобных условиях в гимназии, то мне все более и более хотелось, чтобы так же хорошо могло житься и другим. Почему, думалось мне, нельзя и чувашей сделать такими же счастливыми, довольными, как я, дав им возможность получить солидное образование. В 1868 году у меня окончательно окрепла решимость относительно просвещения чувашей и необходимости создания для них с этой целью особой чувашской школы.

Коснувшись пребывания моего в Симбирской гимназии, считаю нужным остановиться на личности тех педагогов-преподавателей, которые вообще обращали внимание на себя или сыграли роль в моей жизни.

Более всего памятен мне преподаватель русского языка и словесности Алексей Иванович Виноградов, прекрасно, увлекательно рассказывавший нам, ученикам, содержание греческих трагедий и образцовых произведений русской литературы. Он окончил семинарию и университет. Во мне он вызвал особенную любовь ко всему древнегреческому, так как, будучи сам горячим поклонником греческой культуры, умел во время своих интересных, захватывающих уроков подчеркнуть, что в древней Греции не было ни одной области духовной жизни, которую греки не постарались бы развить, культивировать. К сожалению, как педагог Виноградов страдал тем недостатком, что не всегда бывал справедлив в оценке своих учеников. Так, например, не принимая во внимание того, с какими трудностями мне, чувашу, давалась русская речь, он при разборе в классе моих сочинений зло их вышучивал. Обыкновенно из сочинений всего класса на одну и ту же тему он брал на выбор 3—4 и в течение нескольких уроков подробно, гласно, критически, толково, хорошо разбирал их. Делал это он для блага учеников. От такой системы являлась и польза: зная, какая судьба ожидает наши сочинения, мы подтягивались и тщательно их обрабатывали, особенно я, к которому он был очень придирчив. В 1869 году Виноградов был переведен в Московский учебный округ. В последнее время пребывания его в гимназии я бывал у него раза два-три. Он же предоставил мне давать уроки математики жившему у него ученику Ульянову *. Из отношений моих к Виноградову могу привести следующий факт.

* Однофамилец И. Н. Ульянова.

У Виноградова была хорошая привычка приглашать к себе на квартиру учеников и разбирать с ними недостатки их классных и домашних работ (сочинений). Я был в пятом классе, и, как уже упоминал, мне особенно доставалось от Виноградова за чувашские обороты речи. Однажды, когда я был им вызван на квартиру, Виноградов обмолвился, что хотел бы покурить, а сигар у него нет. Я ему говорю: «Дайте, я схожу...» Тут он прочел мне наставление на ту тему, что не надо унижать себя, ронять человеческое достоинство предложением подобных услуг. Все же в лавочку я сбегал, купил на его деньги и принес ему сигары.

Рассказываю об этом пустом случае потому, что он меня тогда сильно озадачил. Я еще полон был при поступлении в гимназию крестьянскими воззрениями на жизнь и на взаимные услуги. Живя в деревне, я не считал чем-либо особенным, обидным, унизительным оказать кому-нибудь услугу вроде той, в какой нуждался Виноградов. Мой воспитатель как бы толкал меня на ложный путь барства.

Перевод Виноградова состоялся тогда, когда я был в VII классе. Временно его заменил по кафедре словесности преподаватель местной духовной семинарии (продолжавший давать и в ней уроки) Матвей Васильевич Барсов. Он читал у нас недолго и оставил о себе в воспитанниках неприятное впечатление, так как по системе и манере чтения лекций составлял полную противоположность Виноградову, читал вяло, казенно, без энергии и одушевления. Преподавал он у нас в классе около года. Я стал по отношению к нему сейчас же в оппозицию. К этому времени в моей голове созрела идея, что люди все родятся с одинаковыми способностями, и если они выходят различными, то виной этому неблагоприятные условия жизни, дурные воспитатели, педагоги и т. п. На этой почве во время уроков стали происходить у меня с Барсовым столкновения. Он меня оспаривал, а я искал случая поймать его на противоречиях. Мне казалось, что я его шельмую, ставлю в глупое положение. Ученики были на моей стороне и поддерживали мои выходки против преподавателя, который никому не был по душе. Барсов на меня жаловался инспектору Ауновскому, который вызывал меня на объяснения. Тут произошло событие, которое я не могу иначе назвать, как глупостью с моей стороны. Незадолго до окончания мною гимназии

Барсов задал классное сочинение на тему об открытии Америки Колумбом и о том, какое значение имело это открытие в связи с другими современными ему событиями на земном шаре (теперь точно не могу припомнить содержание темы). По обыкновению, я начал громко возражать, доказывая Барсову, что между частями его темы нет внутренней связи, что всякая мысль должна быть кратка, сжата, ясна, а не растянута и туманна, как его, и т. д. Мое заявление было в высшей степени резко и дерзко. Барсов воспользовался случаем, устроил мне ловушку, предложив изложить мое возражение на бумажке. Я согласился и подал Барсову письменную критику его темы, а он представил ее инспектору Ауновскому. Последний вызвал меня, критически разобрал мое возражение, доказал его неосновательность и указал на неуместность занятия, как он выразился, «подобными глупостями» за два-три месяца до окончания мною курса гимназии. Эта беседа с Ауновским охладила меня, успокоила. Я перестал издеваться над Барсовым. По окончании гимназии мне приходилось встречаться с ним в обществе Симбирска.

Директор гимназии Иван Васильевич Вишневский относился ко мне, как к инородцу, очень сердечно, внимательно. В то время, благодаря Ильминскому, так относился к инородцам попечитель Казанского учебного округа Шестаков, что отражалось, конечно, и на Симбирске [25]. По городу о Вишневском ходили слухи, будто бы он берет взятки. Лично я о нем ничего, кроме хорошего, благодарного, сказать не могу. Один я из всего класса при выпуске из гимназии получил золотую медаль (остальные выдающиеся ученики были награждены серебряными медалями). Думается мне, что такую награду я получил не без влияния Вишневского. Впрочем, нужно сказать, что я работал добросовестно, и полагаю, что при назначении мне такой награды натяжки не было.

Для характеристики Вишневского приведу два следующих факта. Я уже сдал экзамены, знал о присуждении мне медали, но все еще состоял учеником гимназии. Ввиду близкого выпуска я позволил себе надеть не черные брюки, какие принято было носить в гимназии и какие носил я обыкновенно, а неформенные с разноцветными — синими, черными, голубыми, в виде лампас, полосками, и в таких брюках во время богослужения в гимназической церкви стал в ряды воспитанников сзади, на местах,

где стояли всегда ученики VII класса. В подобном же костюме явился в храм и мой товарищ. Вишневский обратил внимание на наши странные неуместные костюмы и приказал запереть нас в класс под арест сейчас же по окончании церковной службы. Пообедав, отдохнув дома, часа в четыре Вишневский явился со сторожем в класс, велел открыть двери и выпустил нас на свободу, сказав: «Помните! Не делайте более этого!» Признаться, эта история в то время меня огорчила.

О другом случае рассказал мне Иван Евменьевич Цветков, двумя годами ранее меня окончивший нашу гимназию, впоследствии миллионер, обладатель известной картинной галереи, завещанной им городу Москве. Кончив курс гимназии, Цветков пришел к Вишневскому за получением аттестата. Надо заметить, что Вишневский говорил с учениками то на «ты», то на «вы», гнусавил. Он, по обычаю, несколько гнусавя, обращается к Цветкову со словами: «Тебе надо было бы дать золотую медаль, но ты себя дерзко вел, а потому тебе дается серебряная». Оказалось, что золотую медаль присудили товарищу Цветкова, мордвину, т. е. инородцу. Рассерженный, обиженный Цветков в пылу негодования ответил: «Мне и совсем не надо медали!» Тогда Вишневский собрал педагогический совет и сообщил ему о заявлении Цветкова, отказывающегося от медали. Было постановлено отнять у юноши и серебряную медаль. Рассказывая об этом, Цветков заметил, что вечно благодарен Вишневскому за такой данный ему урок, заставивший его усерднее учиться затем в университете.

Очень хорошим преподавателем истории и географии был Иван Яковлевич Христофоров, окончивший семинарию и духовную академию. Он прекрасно, увлекательно, живо рассказывал нам исторические события, особенно из жизни египтян, финикиян и других народов древности, помимо курса читал нам по истории и географии много интересного, принося книги в класс. Христофоров как преподаватель и человек оставил о себе хорошую память. Впоследствии я близко знал его.

Учителем физики и математики был при мне Николай Ильич * Попов, хорошо преподававший эти предметы, человек гуманный, деликатный. Законоучителем у нас со-

---

* Должно быть: Нилович.

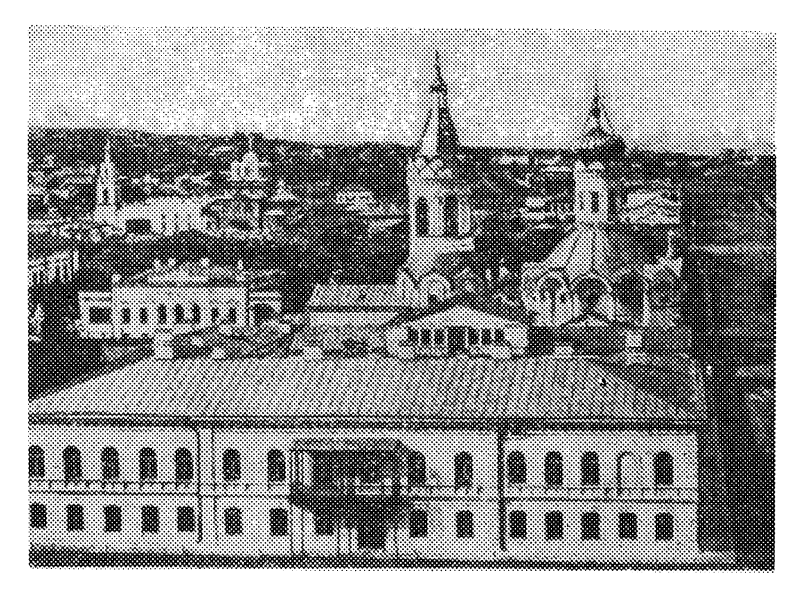
стоял священник Петр Иванович Юстинов, в духовно-нравственном отношении не имевший на воспитанников никакого влияния.

Инспектором был Владимир Александрович Ауновский, много сделавший для того, чтобы прекратить случаи безобразного поведения учеников в городе и гимназии, бывавшие раньше до него. При мне, благодаря его энергии и разумным мерам, ученики не пьянствовали, вели себя хорошо, нравственно. Сам я не пил тогда даже вино, подававшееся у Глазовых во время их праздничных обедов. С целью занять воспитанников разумно он устраивал литературно-музыкальные вечера, концерты и т. п. Попавшихся же в шалостях, вообще в дурном поведении, он зло высмеивал. Другие преподаватели не оставили о себе следа в моей памяти.

Отдельную страницу из эпохи нахождения моего в Симбирской гимназии составляет попытка моя осуществить на деле мои мечты о просвещении чувашей.

Летом 1868 года, обучаясь в VI классе гимназии, на каникулах я жил в родной деревне Кошках у Пахомовых, где ближе знакомился с товарищами, окончившими курс в Бурундукском удельном училище, Игнатием Ивановым и Алексеем Рекеевым. Мне чрезвычайно хотелось уяснить себе, что они вынесли из заведения вообще, в частности же и главным образом по русскому языку. Я убедился в том, что они неучи, ничего не понимающие. Тогда у меня явилось упорное, неотступное желание — во что бы то ни стало вытащить их в люди, т. е. дать им образование.

Надо заметить, что у меня в ту пору образование и воспитание были нераздельны с превратным представлением о барстве, чиновничестве. Мне казалось, что раз человек захотел учиться, выбраться на более широкую дорогу, то он вправе ожидать, чтобы ему были даны разные привилегии в сравнении с другими, не учившимися или недоучками, что он, желая учиться, как бы оказывает особое одолжение обществу и т. д. Я считал себя уже достаточно образованным, ученым, довольным судьбою, почему ставил себе как бы в долг взять на себя заботу о судьбе товарищей, если мне удастся заманить их за собою в Симбирск. В разговорах, уговорах и убеждениях на эту тему во время прогулок в окрестностях деревень Кошки и Старые Бурундуки прошло почти все лето. Я усиленно уговаривал товарищей приехать в Симбирск.



Город Симбирск (Ульяновск) в конце XIX в.

Мне все казалось тогда так легко. «Только, мол, приезжай, а уж там все тебе будет. Я тебя устрою». При этом, мечтая о том, чтобы дать образование темным детям и юношам деревни, я имел в виду и чувашей, и русских, преимущественно же чувашей, как погруженных во мрак особого невежества. Согласился на мои доводы и убеждения один лишь холостой Рекеев. Иванов же, женатый, имевший детей, от моих предложений отказался.

Для ясности последующего рассказа сделаю небольшое отступление. Когда в начале 1867 года я переехал из Алатыря в Симбирск для того, чтобы готовиться в гимназию, то жил у отставного гвардии полковника Самсона Дмитриевича Раевского, сначала на Лисиной улице, в доме ныне Пазухиной, а потом на Дворцовой улице, в доме Левашова, рядом с нынешним окружным судом. Теперь это дом Крупенникова, где помещается кинематограф «Экспресс». Все дома, эти и другие, в которых я жил в Симбирске, по странной случайности уцелели от страшного пожара 1864 года, уничтожившего большую часть города. В обоих домах я готовился вместе с племянником Раевского, по фамилии тоже Раевским. С полковником же Раевским, пораженным парали-

чом, хромавшим, я случайно познакомился в Симбирске в июле 1863 года. В то время между Троицкой церковью и зданием удельного училища по Большой, ныне Гончаровской, улице помещались номера для приезжающих. Когда я однажды проходил по бульвару мимо их подъезда, из них вышел старый, хромой господин и сел. Увидев меня, он обратился ко мне со словами: «Пойдемте ко мне, напишите мне письмо!» Я зашел с ним в номер и написал для него письмо. Он отнесся ко мне внимательно, дал, кажется, 20 копеек и на прощанье сказал мне: «Не зайдете ли вы опять ко мне?» В то время я был еще учеником землемерного училища, находился на работах вне Симбирска и в городе был лишь случайно. В этот приезд я у Раевского более не был. Но потом мы с ним где-то на улице встретились, и наше знакомство с ним возобновилось. Раевский и его сестра Клеопатра Дмитриевна Раевская знали лично поэта А. С. Пушкина. Сам Раевский был добр, имел большие связи, обладал несколькими имениями в Тамбовской, Симбирской и Волынской губерниях. Он служил когда-то в лейб-гвардии Семеновском полку, был флигель-адъютантом. Рассказывал мне о том, что пользовался благоволением императора Александра I. Зато его недолюбливал Николай I.

Когда в 1867 году весною полковник Раевский поехал в Петербург, я остался в его квартире (в доме Левашова) и усердно занимался, присматривая за вещами Раевского. В квартире оставалась его прислуга — повар, лакей. Меня приказано было в отсутствие хозяина кормить, поить и т. д. на счет Раевского. Раевский зато давал мне из Петербурга разные поручения. В отсутствие Раевского я выдержал экзамен и поступил в гимназию в начале августа 1867 года. Тут вернулся из Петербурга Раевский. Помню, что он, как больной, сам читать не мог, и я в свободное от занятий время читал ему вслух разные книги, в том числе «Преступление и наказание» Достоевского (для меня этот роман был новинкой).

Учился я в гимназии очень усердно, прилежно, не позволяя себе никаких удовольствий. Да и средств на это у меня не было. Весною 1868 года Раевский опять уехал в Петербург. К этому времени я перешел уже в VI класс гимназии удовлетворительно. С товарищами по учебному заведению я не сходился, за редкими исключениями, а в успехах сравнялся со средними учениками. На летние каникулы я поехал к Пахомовым в деревню Кошки, как

к себе домой, так как смотрел на них, как на родных. Тут-то и шли у меня беседы об образовании с Игнатием Ивановым и Рекеевым.

Когда чуваш Рекеев пришел ко мне пешком в Симбирск, я его принял к себе в квартиру Раевского, отсутствовавшего, которая была поместительна, состояла из нескольких больших комнат, Рекеев пришел без денег, с убогим багажом, состоявшим из одежды, на нем бывшей, и небольшого запаса белья. Я на принятие Рекеева, насколько помню, предварительного разрешения у Раевского не спрашивал. Припоминаю, что Рекеев явился ко мне в Симбирск 28 октября 1868 года. В первое время Рекеев все ронял посуду и разбивал ее по непривычке с ней обращаться. И Рекеев поступил на содержание Раевского, т. е. пил и ел вместе со мною. Раевский же так и не вернулся в Симбирск, скончавшись скоропостижно в Петербурге в ноябре 1868 года. А я остался с Рекеевым на его, чужой мне, квартире. Так продолжалось недолго с Рекеевым. Я его устроил на мои средства на квартиру к учителю уездного училища Петухову, который поместил его в подвальном этаже на своей кухне.

Тут в жизни моей произошла перемена. Несколько раньше описанного или в эти дни симбирский домовладелец, купец Василий Степанович Левашов, человек богатый, у которого два сына (шалуны, ленившиеся), младше меня по возрасту, учились со мной одновременно в гимназии, предложил мне с ними заниматься. Я согласился. У Левашова были два трехэтажных каменных дома, стоявшие рядом, и еще что-то. Нижние этажи домов были заняты лавками, магазинами. Кроме того, еще два дома деревянных, довольно больших, на Сенной улице. В одном из каменных домов жил Левашов с семьей, в другом — Раевский. В настоящее время эти дома соединены проездными воротами. Я продолжал жить в квартире Раевского. Левашов за репетиторство платил мне 15 рублей в месяц. Наследники Раевского, в том числе и сестра его Клеопатра Дмитриевна, просили меня жить в их квартире, присматривать за вещами. По-прежнему я получал бесплатно стол, что не составляло для владельцев имущества особых затруднений и не вызывало с их стороны больших расходов, потому что почти все продукты имелись в квартире в достаточных запасах, привозимые из деревни. Скоро в квартиру приехал один из наследников, племянник Раевского, Алексеев. Потом приехал

другой племянник покойного, Кашкаров — в ноябре 1868 года — и тоже остановился в квартире. Так как они друг друга не любили, то Алексеев скоро уехал, а Кашкаров остался. Меня вместе с имуществом покойного Раевского перевезли затем на новую квартиру в угольный дом Андреева на Дворцовой улице, где я продолжал за содержание меня стеречь вещи. (Ныне этого дома нет: часть его разломана, часть пошла под коммерческое училище.)

Мне удалось подготовить Рекеева и поместить его в I класс уездного училища. Его экзаменовали снисходительно. К этому времени вместе со мной в квартире наследников Раевского жили мои товарищи по гимназии по шестому классу — Соколов и Панаев, оба русские. Мы все довольствовались уже сами, на свой счет. Все спали вместе в одной комнате. На случай же приезда Кашкарова (он отсутствовал) были особые комнаты, и оставалась его прислуга. Рекеев жил с нами на всем готовом, т. е. на моем содержании. Много я возился с ним для того, чтобы приучить его как следует, осторожно, обращаться с лампами, посудой и другими принадлежностями барской обстановки. Прислугой в квартире жила старушка. Она же была и кухарка, стряпавшая нам обед.

Тут по моему вызову явился в Симбирск к рождеству 1868 года из деревни Чукал Буинского уезда Симбирской губернии русский Исаев, которого я знал, живя в деревне и будучи в Бурундукском училище. Кашкаров разрешил мне поместить и его на квартире. Он прибыл тоже без средств и без запаса необходимых вещей. За ним, тоже по моему настоянию и убеждениям, опять-таки без всяких средств, приехал Егор Андреевич Улюкин [26], чуваш из деревни Бичурга-Баишево, который попал на мое содержание. Таким образом, в квартире Кашкарова нас жило в одной комнате уже шесть человек: я, Исаев, Рекеев, Улюкин, Панаев и Соколов.

У меня была небольшая сумма денег, привезенная из Алатыря. Я продолжал получать плату за уроки у Левашова. Мне удалось еще получить занятия с детьми происходившего из крестьян Горбунова, мордвина, служившего в губернской земской управе. Я получал за них рублей 15—20 в месяц. В то же время я исполнял поручения наследников Раевского — его сестры, Кашкарова, Алексеева, получая тоже вознаграждение. Таким образом у меня скоплялись деньги, на которые я содержал Рекеева, Улюкина и Исаева.

Приехал (или пришел) ко мне в Симбирск еще один мой знакомый по чувашской деревне Бездны, однофамилец (но, конечно, не родственник) хозяина квартиры Кашкарова, тоже бедняк. Само собой разумеется, что и он попал на мое иждивение.

Кашкаров стал жить с нами. Всех, вызванных мною, одного за другим, с помощью Папаева и Соколова, их готовивших, занимаясь с ними сам, я помещал в симбирское уездное училище. Все мы теперь жили в двух, довольно просторных комнатах квартиры Кашкарова. Мои заботы о вызванных из деревни юношах вызывали сочувствие со стороны меня окружающих. Так, например, Горбунов оказывал моим чувашам помощь и деньгами, и покупал им книги, пособия. Товарищи мои Соколов и Папаев тоже им помогали — по части уроков, но деньгами помочь не могли, сами в них нуждались.

Так как к лету 1869 года наследники Раевского — Кашкаров, Алексеев и другие — кончили между собой раздел наследства и мирно разъехались из Симбирска, оставив квартиру и развезя вещи, то и я покинул квартиру Кашкарова, проведя часть лета у купца Левашова, в саду которого жил в беседке, то в деревне Кошках — дома у Пахомовых (иногда и в Бурундуках, у Мушкеевых). Мои чуваши тоже разъехались по домам на каникулы. По возвращении в Симбирск из Кошек я нанял себе квартиру рядом с нынешним окружным судом, на дворе дома Мясоедовых, по Гончаровской улице (в те дни называвшейся Большой).

Хочется мне сказать несколько слов о русской семье купца Левашова Василия Степановича, оказавшей мне много внимания в моей юности. Глава семьи Левашов, имевший в Симбирске несколько домов и лавки с красным товаром, был человек без образования (умел только кое-как читать и писать), но умница, с большим тактом и выдержкой, в высшей степени хладнокровный. Наружно он имел русский тип, был представителен, с большой бородою. Речь его носила в себе едва заметный оттенок иронии. Когда я с ним познакомился, то он был вдовцом. При моем отъезде в Казанский университет Левашов вторично женился, неудачно, на немолодой особе. От нее он имел двух дочерей. От первого же брака у него были четыре сына: старший — Федор, женатый, болезненный, второй — Дмитрий, холостой, симпатичный, скончавшийся от тифа через год после моего отъезда. Дмитрию старик

думал передать после себя торговое дело. Два младших сына, которым я репетировал, были со мной одновременно в гимназии, но классами тремя ниже меня. Оба они окончили Казанский университет, но рано умерли. Умер и старший сын. Вся семья распалась. Часть состояния перешла к родственникам, в том числе к купцу Петру Андреевичу Пастухову, отцу нынешнего, популярного в Симбирске, купца Николая Петровича Пастухова. Покойный Левашов любил слушать чтение серьезных книг и здраво, толково понимал их. Помню, что будучи в гимназии, я сам очень увлекался сочинениями в переводах английского историка Маколея (его «Историей Англии», критическими этюдами и другими произведениями). Все это я читал вслух Левашову, когда приходил домой из гимназии, а Левашов возвращался из своей лавки. Также читал ему критические статьи Введенского о другом английском писателе — Джонсоне. Рассуждения Левашова на темы из прочитанных сочинений обличали в нем недюжинный природный здравый ум. Я всегда считал, что такие самородки из простонародия, каким был В. С. Левашов, могли бы быть и министрами по разным отраслям народно-государственного хозяйства. Левашов происходил из симбирских мещан. К науке он питал искреннее расположение, почему и постарался дать хорошее образование своим детям — четырем сыновьям, которых всех я хорошо знал как неудачников, не унаследовавших от отца тех положительных черт характера, которые украшали последнего. Когда я вспоминаю о Левашове, то мне он рисуется спокойным, рассудительным, добрым, отзывчивым к чужой нужде, благородным человеком, которому я многим обязан в прошлом.

К этому времени из числа вызванных мною из деревни чувашей Улюкин сбежал обратно в родную деревню, тоскуя по ней и не будучи в состоянии привыкнуть к жизни в большом городе. Как я ни боролся с этим настроением Улюкина, мне ничего не удалось добиться. Все ему в Симбирске не нравилось. Напрасно я водил его в городские сады, по окрестностям. Приведешь его в лес, а он говорит: «Ну какой это лес?! То ли дело у нас леса!» (Улюкин жил на краю огромного сурского леса, тянувшегося в ширину верст на шестьдесят, длиною верст в 300). Поведешь его в сад, а он жалуется, что здесь все «стриженое» (говоря о подрезанных акациях). И опять — сравнения с растительностью на его родине. Истосковав-

шись, он так и уехал от меня. Это был сердечный, впечатлительный человек. Потом он жалел, что бросил уездное училище и уехал из Симбирска. Мне удалось было еще раз вытянуть его в Симбирск из деревни: он приехал ненадолго и сбежал окончательно к своим лесам, в деревню. Чуваши в отличие от татар, бреющих головы, носят длинные волосы, стараясь на них не походить по внешности. И вот для того, чтобы Егор Улюкин не сбежал на родину, ему остригли совершенно коротко волосы на голове, думая, что в таком виде он постыдится показаться в деревне. Однако и эта мера не помогла: юноша ушел из Симбирска с остриженной головою.

С отъездом Улюкина на моих руках остались только Рекеев, Исаев и Кашкаров. Мы все и устроились на новой квартире.

К августу 1869 года я уже приобрел в городе репутацию хорошего репетитора. В этом месяце Василий Васильевич Черников, игравший в городе некоторую роль как секретарь сельскохозяйственного общества, заведовавший сельскохозяйственной фермой, и, как мне помнится, редактор неофициальной части «Симбирских губернских ведомостей» (после Арнольдова), обратился к директору нашей гимназии Ивану Васильевичу Вишневскому с просьбой рекомендовать ему репетитора для его дочерей, учившихся в женской гимназии. Тот указал на меня. Я явился к Черникову. Он предложил мне жить у него на квартире, в одном помещении с его сыном, на всем готовом, с платой за уроки его дочерям по 25 рублей в месяц. Условия были выгодные. Посоветовавшись с моими приятелями Панаевым и Соколовым, я решил было принять место. Но тут вмешался купец Левашов, обидевшийся на меня за то, что я согласился жить в чужой семье, тогда как он мог бы устроить меня у себя, как репетитора, на тех же условиях. Но я ответил ему на его предложение отказом, так как был связан словом, данным Черникову. Впрочем, мой переезд к Черникову не состоялся. Жена Черникова, урожденная Булдакова, дочь бывшего симбирского губернатора, особа важная, спесивая, не пожелала брать меня, простого чуваша, к себе в дом. Мне отказали в месте. Я доложил об этом директору Вишневскому, сообщив ему о предложении Левашова. Тот посоветовал принять предложение Левашова. Я переехал к Левашовым. А мои сожители Соколов, Панаев, Рекеев, Кашкаров, Исаев остались на квартире, на-

нятой мною в доме Мясоедовых, и стали жить без меня, причем я по-прежнему содержал тех, кто вызван был мною из деревни. Надо заметить, что я, несмотря на скудные мои средства, обставил и квартиру, и их вполне прилично. Для меня это не было особенно заметно, тягостно, так как я имел уже довольно хороший заработок благодаря репетиторству. По-прежнему я, Соколов, Панаев помогали моим товарищам по деревне в их занятиях. Вообще все делалось мною для них с увлечением, любовно, от сердца: мне было приятно хлопотать о них, заботиться. Я забыл сказать, что мои товарищи по гимназии Панаев и Соколов, мне помогавшие в образовании их и воспитании, происходили: первый — из крестьян, второй — из мещан. Из этих юношей особенно талантливым, наблюдательным, с юмором был Панаев. Он знал хорошо языки, особенно немецкий. Кашкаров и Исаев переходили в уездном училище из класса в класс по порядку. Рекеева же мне удалось подготовить настолько, что он перешел из первого прямо в 3 класс. Я много с ним возился, когда жил у Левашова в саду и в доме Мясоедова. Рекеев окончил уездное училище и поступил на особые педагогические курсы при уездном же училище.

Судьба крестьянских мальчиков, сманенных мною из деревни в Симбирск, была следующая:

1. Чуваш Алексей Васильевич Рекеев, окончив уездное училище, перешел на педагогические при училище курсы, окончив которые, выбыл в учителя — в село Средние Тимерсяны Симбирского уезда. Затем он вообще пошел по учебной части. Был определен в Казанскую учительскую семинарию учителем бывшего при семинарии чувашского начального училища. Потом он был посвящен — последовательно — в дьяконы и священники. Был долго, лет 30, священником в одном и том же селе Тетюшского уезда Казанской губернии — Байглычеве. С год тому назад он ушел на покой и недавно жил в городе Тетюшах. Рекеев как-то написал и прислал мне личные свои воспоминания об училище в селе Старые Бурундуки, листах на шести, где говорится и обо мне. В них я нашел некоторые неточности. Рукопись эта хранится у меня, не знаю где, в бумагах [27]. К слову сказать, священник Михаил Петрович Петров темою своего труда для получения звания кандидата выбрал мои документы [28]. В этом труде, темою которого он взял историю пер-

вого периода существования чувашской школы (до 1890 года), автор коснулся несколько и моего прошлого, именно пребывания моего в семье Мушкеевых. Я ему ничего не диктовал. Потом он прочел мне рукопись, в которой я указал две ошибки.

По расчету семья Рекеевых должна была дать новобранца. Приходилось идти старшему брату Василию. Ввиду семейного его положения должен был заменить его, по справедливости, брат Алексей. Последний явился к набору в город Буинск, был принят и отправлен на службу в город Тулу, в Бутырский пехотный полк [29]. Я хорошо знал командира этого полка полковника Ногаткина как родственника Глазовых. Мне удалось добиться того, что из Симбирской губернской земской управы было сделано особое представление попечителю Казанского учебного округа Шестакову, где управа просила вернуть Алексея Рекеева с военной службы, мотивируя это тем, что и без того два брата его уже служат, что он обещает быть хорошим учителем в чувашских школах, что потребность в таких учителях велика, что только полное освобождение от военной службы может дать возможность Рекееву принести своему народу надлежащую пользу и т. д. Он в июле или августе вернулся в Симбирск и продолжал учиться на педагогических курсах, которые и окончил успешно.

2. Исаев, русский, кончил курсы уездного училища и педагогические при нем курсы. Был учителем на родине.

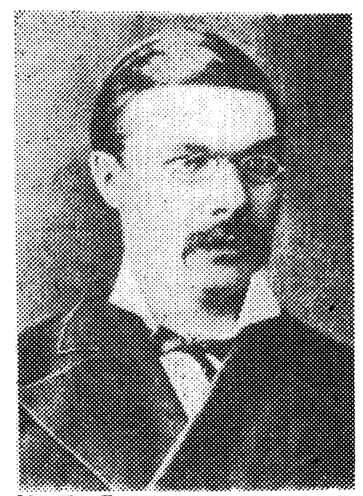
3. Кашкаров (чувашин) не успел окончить уездное училище, так как оно было закрыто в 1872 году. В то же время в селе Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии была открыта учительская семинария, куда он и поступил. Окончив семинарию, Кашкаров был в разных местах Симбирской губернии учителем.

Во всяком случае, то общежитие, которое я устроил по личной моей инициативе, на мои отчасти средства, явилось зерном, из которого потом выросла нынешняя Симбирская чувашская школа.

По отъезде моем из Симбирска в Казанский университет маленькое общежитие-школка, заведенное мною, продолжало существовать с моей помощью, при поддержке добрых людей.

О том, как постепенно, год за годом создавалась мною чувашская школа (ныне семинария) [30], говорится в печатной брошюре «Материалы к истории Симбирской чу-

вашской школы, мужского и женского при ней приходских двухклассных училищ с трехлетними педагогическими курсами» (1915 год).


И. Я. Яковлев — студент университета. 1871 г.

Замечу здесь, что местность, где ныне раскинуты здания школы, представляла из себя пустырь, на котором кое-где виднелись отдельные строения. Построек города, ныне находящихся между зданиями школы и новым городским кладбищем, вначале не существовало. Земля была завалена навозом, заросла кустами, сорными травами, так что все это мне с учениками школы приходилось очищать.

При создании школы и ее зданий мне много помогали тогдашние благоприятные условия симбирской жизни, главным же образом баснословная дешевизна припасов и строительных материалов. В то время 1000 штук прекрасного кирпича стоила всего семь с половиной рублей, тогда как теперь она обходится в тысячу рублей *. Мастеровые рабочие руки тоже были дешевы.

Когда попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков в бытность мою в университете в октябре 1870 года посетил общежитие [31], то в нем было четыре мальчика: один русский — Исаев и три чуваша — Кашкаров, Рекеев, Аксинский. Все они учились в симбирском уездном училище, но жили все вместе. К этому времени в общежитии был установлен известный порядок. Сначала старшим был Рекеев, а потом, с его уходом, Исаев. Заведен был общий стол. Состав живущих менялся по мере того, как общежитие существовало, все увеличиваясь.

Для общежития мне удавалось добывать необходи-

* По курсу рубля 1918 года.



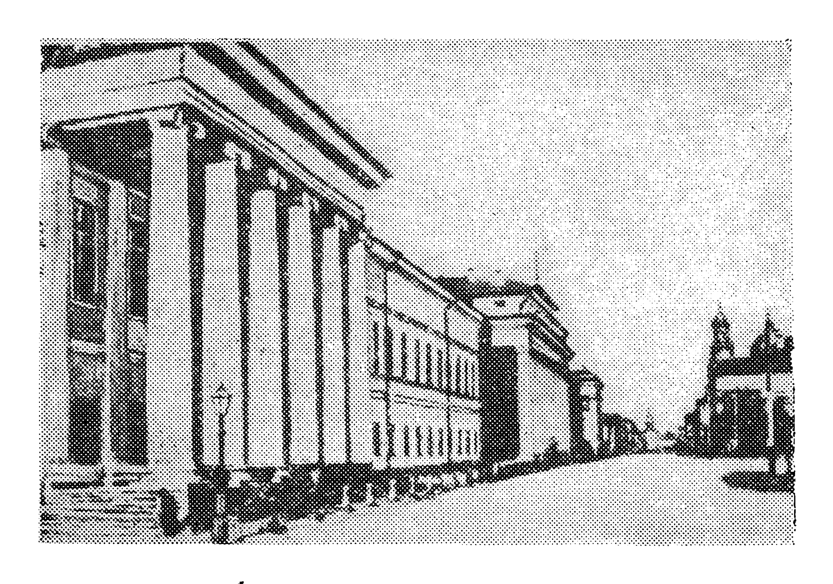
А. В. Рекеев. 1874 г.

мые средства. Перед отъездом моим в университет мною собрано было по подписке 300 или 400 рублей [32], переданные мною директору Симбирской гимназии Вишневскому, так как общежитие было принято под попечение гимназии, и Вишневский в качестве директора последней принимал в его жизни и судьбе большое участие. Контролировал общежитие и Иван Яковлевич Христофоров. Вишневский и обратил внимание попечителя Шестакова на общежитие-школу, заинтересовав его и устроив посещение ее попечителем. Вернувшись из Симбирска в Казань, Шестаков пригласил меня к себе и долго беседовал об этом частном, не установленном законом, учебном заведении, спрашивая меня о том, что еще для него нужно.

Лично я, живя в Казани, содержа себя и учась, должен был расходовать имевшиеся у меня средства на себя, почему мало мог помогать материально моему детищу.

Но пожертвования на общежитие-школку, по мере пробуждения к ней интереса и со стороны начальства, и со стороны общества, начали понемногу поступать. Стали выдаваться пособия от Министерства народного просвещения, от Буинского уездного земства (жившие в общежитии все были из Буинского уезда). Представители симбирского общества — Лазаревы, Языковы, Назарьев и другие, устроив ряд любительских спектаклей, часть доходов отделили на общежитие, что составило сумму в тысячу с лишком рублей, которую я положил в банк взаимного кредита на мое имя. Это было в первый год пребывания моего в университете. Сумму эту я, по мере надобности, расходовал на общежитие. Были пожертвования рисунками, книгами, письменными принадлежностями и т. п.

Коснувшись курса, пройденного мною в гимназии,



Казанский университет

могу сказать, что у меня не существовало каких-либо особо любимых предметов. Русская литература, хотя интересовала меня, но не увлекала. Любимых писателей у меня не было.

В 1870 году я, Соколов и Панаев окончили Симбирскую гимназию. Все трое поехали в Казанский университет, где и поступили — я и Соколов на математический, а Панаев — на филологический факультеты. Сам не отдаю себе хорошо отчета, почему я избрал сначала факультет математический. Думаю, что тут сыграл роль случай, тем более что особенным знанием по части математики я в гимназии не отличался. Быть может, на меня имело влияние и то обстоятельство, что читавшие курс математики в гимназии и университете были хорошие. Так, в мое время читали лекции на математическом факультете такие светила, как профессора Имшенецкий, Котельников, Янишевский, которых я слушал.

Одновременно с посещением лекций на математическом факультете я слушал лекции по римскому праву Кремлева, по политической экономии — Миклашевско-

го *, по энциклопедии права — Станиславского. В течение двух месяцев, кроме того, я слушал лекции по анатомии у знаменитого ученого Лесгафта. Через год после поступления в университет я перешел на историко-филологический факультет.

В 1871 или 1872 году, т. е. когда я был студентом Казанского университета, в Казанском окружном суде разбиралось интересное дело об убийстве чуваша его женой и сыном, тоже чувашами. Свидетели по делу были чуваши. Понадобился переводчик, хорошо знающий чувашский язык, и меня пригласили в суд — в качестве такового. Прокурором Казанского окружного суда в то время был известный впоследствии А. Ф. Кони. Он же и обвинял на суде. Я с ним тут впервые познакомился. Дело, разбиравшееся в суде, оставило во мне тяжелое впечатление. Очень важную роль при выяснении обстановки убийства играло устройство чувашской избы, где произошло убийство. И прокурор Кони, и защита, и судьи, долго возились с этим вопросом и, по незнанию чувашского быта, так и оставили его открытым. Я мог бы все разъяснить, но не мог этого сделать, так как переводчик не должен быть в то же время и свидетелем.

Позднее, в 1912 году, в Симбирске во время «Гончаровских дней», связанных с памятью писателя Ивана Александровича Гончарова, я возобновил мое знакомство с А. Ф. Кони, бывшим уже знаменитостью, сенатором, членом Государственного совета. Меня свел с ним губернский предводитель дворянства Поливанов. Я был в торжественном публичном заседании Симбирской губернской ученой архивной комиссии [33] (в зале дворянского собрания), где Кони произнес речь, а также встретился с ним в Киндяковке у Перси-Френч, где обедал с ним и провел вечер, и у купца Н. Я. Шатрова, давшего в своем доме парадный обед в честь симбирского гостя. Кони на всех собраниях представлял из себя усталого, не производившего особого впечатления старика. После обеда у Шатрова я долго с ним беседовал. Он, между прочим, рассказывал мне о тюремном филантропе докторе Гаазе, о котором я ничего не знал, т. к. книги Кони, посвященной Гаазу, до того не читал.

Ко времени пребывания моего в Казанском универ-

* Здесь неточность. Политическую экономию в Казанском университете преподавал в это время профессор Ю. А. Микшевич.

ситете относится и первая моя (платоническая, отвлеченная) любовь. Будучи еще гимназистом, я знал по Симбирску учившуюся в местной женской гимназии Екатерину Васильевну Григорьеву. Потом, когда я жил в Казани в качестве студента, она училась там на высших женских курсах. И я возобновил с нею знакомство, влюбившись в нее. Мое увлечение было настолько серьезно, что я, не шутя, хотел жениться на Григорьевой и даже сделал ей предложение. Но она отказала мне под тем предлогом, что желала продолжать свое образование. Между нами произошел разрыв, и я у нее после этого не бывал. Она же посещала меня по делу в чувашской школе один раз.

Будучи в университете, я жил в Казани на разных квартирах. Сначала в 1871 году я поселился в Собачьем переулке, в доме Дьяковой, откуда через месяц переехал к какому-то немцу на Засыпкиной улице, затем я уезжал на рождество в Кошки и Бурундуки. Вернувшись оттуда, остановился у сына священника Ивана Евменьевича Цветкова, моего товарища по гимназии, бывшего, как и я, в Казанском университете, на Вознесенской улице (имени хозяина дома не помню, но помню, что квартира была скверная). Затем с молодым Цветковым мы стали кочевать по Казани, переменив 5—7 квартир и все неудачно. Я уехал в Симбирск в конце апреля 1871 года. При возвращении моем благодаря хлопотам Екатерины Степановны Ильминской мне была подыскана квартира у знакомого Ильминских протоиерея Иорданского, жившего в собственном доме по улице Поповой горе, у Казанского монастырского собора. В этом доме прожил я учебный год 1871/72, живя вместе с детьми Иорданского, двумя студентами. Три же остальные года университетского курса я прожил в доме Некраша, в переулке между улицами Грузинской и Лядской.

Во время пребывания моего в Симбирской гимназии я познакомился с семьей Глазовых и только у них бывал, избегая общества. Трое Глазовых учились в гимназии. С двумя из них, младшими, я вместе учился, когда перешел в 6 класс. Семья Глазовых была добрая, просвещенная, радушная, хлебосольная, истинно русская, православная. Прежде богатые помещики, Глазовы разорились на воспитание, образование детей да на приемы, т. е. радушие, хлебосольство, особенно по отношению к молодежи. При мне были проданы три самарские имения. Осталась лишь

часть симбирских. Старик Ардалион Иванович Глазов был отставной гвардии полковник, в возрасте около 70 лет. Хотя квартира Глазовых была небольшая, но в нее собиралось лучшее тогдашнее симбирское общество. У них я встречался с Языковыми, Поливановыми, Карповыми и другими представителями высшего симбирского общества. Бывал в их доме и брат знаменитого писателя Гончарова. (Самого Гончарова я не знал.) Николай Александрович Гончаров, которого я встречал у Глазовых, был учителем русского языка младших классов в Симбирской гимназии. Я его хорошо потом знал. Это был образованный человек, прекрасно знавший языки английский, французский, немецкий, объяснявшийся на них свободно в обществе, бывавшем у Глазовых. С одним из сыновей Глазовых я, будучи еще гимназистом, бывал у этого Гончарова. Интересный собеседник, веселого характера, ровный, он ничего из себя особенного не представлял.

По праздникам я всегда обедал у Глазовых. Сам Глазов был вдовец. При нем жила симпатичная старушка, сестра его Анна Ивановна, вдова, глуховатая, по фамилии Политковская, со своей воспитанницей, дворянкой Катенькой. У Глазова тоже жила своя воспитанница. Детей у Глазовых было пятеро — четыре сына и дочь Александра Ардалионовна. В то время как я бывал в доме, она была девица, но потом вышла замуж за Громеку. Она получила блестящее, даже научное образование и воспитание, в совершенстве владела языками французским, немецким, английским, много путешествовала за границей. Она представляла из себя как бы центр всей семьи. Трудно себе представить, насколько она производила сильное впечатление и наружностью, и умением держать себя, и дарованиями. Мне всегда казалось, что человеку нельзя разбрасываться, размениваться на мелочи, что необходимо сосредоточиться на чем-либо одном. Вспоминая теперь о Глазовой, я представляю себе, что, желая быть всем приятной, полезной, она, по моему мнению, именно разбрасывала, растрачивала напрасно свои способности.

В дом Глазовых с воспитательно-образовательной целью приглашались в качестве товарищей к сыновьям Глазова лучшие воспитанники местной гимназии, духовной семинарии, с участием их устраивались домашние спектакли, музыкальные вечера, чтения классических произведений. И тут дочь Глазова Александра Ардалио-

новна являлась как бы центром. Лично я мало участвовал в спектаклях, в других увеселениях, устраивавшихся в доме Глазовых. Зато мне, вероятно, приходилось делиться с Александрой Ардалионовной моими не ясными тогда еще мечтаниями о просвещении родного мне чувашского племени, встречая, надо думать, ее сочувствие. Содействие, оказанное по отношению к задуманному мною школьному предприятию, выражалось ею в материальной поддержке (подписка, часть сборов с любительских спектаклей и т. п.). Следует отметить, что Александра Ардалионовна сама играла хорошо на любительской сцене. Жили тогда Глазовы на Стрелецкой улице, недалеко от дома Шатрова. На вечерах у Глазовых бывали и барышни лучшего симбирского общества. Я у Глазовых бывал в течение двух последних годов моего пребывания в гимназии. Мои сношения с семьей Глазовых сыграли в жизни моей большую роль: будучи от природы застенчивым, не имея понятия о культурном обществе, я у Глазовых учился держать себя в таком обществе, привыкая к обычаям и нравам истинно русского, порядочного дома.

Заговорив о Вишневском, Глазовых, И. Е. Цветкове, хочу сообщить кое-что о Цветковых вообще, как симбирянах, которых я знал. Их было два брата — Александр и Иван Евменьевичи, учившиеся со мною одновременно в Симбирской гимназии: с Александром я был в одних и тех же классах, окончил с ним гимназию. Иван же Евменьевич окончил гимназию года на два ранее нас. Отец их, настоятельствовавший в одном из сел Алатырского уезда Симбирской губернии, был человек бедный, многосемейный (кроме этих сыновей, у него были еще два сына, один малоспособный, служивший писцом в городской управе, которого братья Иван и Александр за его житейские неудачи презирали, почти не признавая братом, и четвертый сын, довольно способный, окончивший курс университета по медицинскому факультету). Мать и отца Цветковых я несколько раз встречал у Александра Цветкова, с которым одновременно поступил в Казанский университет и с которым месяца два-три жил на одной квартире в Казани. С Иваном и Александром Цветковыми в Симбирске я часто встречался у Глазовых, которые их, как и других способных учеников, пригревали. По окончании Симбирской гимназии Иван Евменьевич Цветков поступил в Казанский университет, перейдя

затем в университет Московский, который и окончил по математическому факультету. Я, будучи в Казани, поддерживал с ним близкие отношения.

У обоих братьев была несимпатичная черта характера — удивительная, какая-то особенная гордость, доходившая до самомнения, до презрения к остальному человечеству. Особенно в этом отношении отличался Иван Евменьевич. Снисходительные улыбочки свысока у него случались. Но надо было видеть его манеру говорить, держать себя, постоянно бросать по адресу тех, кого касалась речь, эпитеты «дурак», «идиот» и т. п., чтобы понять, насколько это было и отвратительно, и смешно. В оправдание ему можно только сказать, что его недостатки были у него как бы природными. Он сознавал их, что и видно из рассказанной выше истории с директором Вишневским из-за медали. Ивану Евменьевичу удивительно повезло в жизни. Прежде чем бедняку, сыну сельского священника, сделаться миллионером, меценатом, обладателем редкой картинной галереи, ему пришлось пройти довольно длинный путь, полный разного рода превратностей. Тем не менее ему везло на встречи с богатыми, влиятельными русскими купцами и знаменитостями Москвы. По окончании Московского университета он попадает к богачу Губонину в качестве воспитателя его сына. (Цветков, путешествуя по Волге, заезжал с мальчиком ко мне в Симбирск.) К Губонину Цветков попал по рекомендации другого русского денежного туза купца Кокорева. Кокореву уже его рекомендовал полутоварищ Цветкова по Симбирской гимназии, разбогатевший Ногаткин, сын смотрителя Ардатовского уездного училища. Начав службу в Московском земельном банке с оценщика, Иван Евменьевич, как человек с высшим образованием, умный, честный, с большою сметливостью, дошел постепенно до поста директора, пользовался доверием богатых купцов, которые делали его своим душеприказчиком. Состояние его росло. А с ним росла и непомерная гордость.

Когда брат Ивана Евменьевича Петр умер, то после него остались вдова и дети. Цветков принял их к себе, как оставшихся без куска хлеба. Дети вели себя неудовлетворительно, дерзили богатому дяде. В конце концов он выгнал их на улицу вместе с их матерью, лишив своих милостей. Озлобление его к этой семье было непомерно. Обо всем этом мне рассказывали жившая в Москве

А. А. Громеко, урожденная Глазова, и ее братья. Бывая у Цветкова в его московском особняке, недалеко от храма Христа-спасителя, наполненном картинами русской школы и разными другими редкостями, я воспользовался случаем, когда Иван Евменьевич стал жаловаться на своих племянников, чтобы сказать в пользу последних слово, выговаривая миллионеру за его бессердечие. Но он был неумолим. Александра Ардалионовна Громеко, овдовев после [смерти] мужа, профессора математики Казанского университета, осталась без особенных средств и жила то в Москве, то за границей на пенсию в 2500 рублей (и частью на деньги, вырученные от продажи ее имения), воспитывая своих детей — дочь и сына — за границей, приезжая в Россию через пять лет для того, чтобы не потерять права на эту пенсию. Сын Громеко, по окончании Женевского лицея, окончил Московский университет. Имея слабое здоровье, он принужден был недавно еще зарабатывать себе кусок хлеба, преподавая в гимназии французский язык. Дочь вышла замуж за одного профессора. Вся эта семья нуждалась. Тем не менее Иван Евменьевич Цветков, не забывший тех приемов, которые делались ему в Симбирске, в семье Глазовых, принимал их (сын Глазова Дмитрий, служивший директором народных училищ в Нижнем Новгороде, приезжал в Москву, даже останавливался у Цветкова), угощал обедами и завтраками, но материальной помощи и не думал предлагать.

О своей картинной галерее Цветков был необыкновенно высокого мнения. Я не раз видел все его картины, составлявшие как бы украшение его особняка. Вообще равнодушный к живописи, мало в ней понимающий толка, я и тут, вероятно, не проявлял должного восторга, так как Цветков перестал хвастаться передо мною своими картинами. Помню, одну из них, внутри залы, над входными дверями,— работу художника Репина, изображающую убийц императора Александра II — Желябова, Перовскую и других, на сходке обсуждающих план цареубийства. Цветков, показывая мне эту картину, рассказывал, что император Николай II, заинтересовавшийся этой картиной, будучи в Москве, нарочно посетил особняк его, Цветкова, чем последний, видимо, хвастался и гордился передо мной. Сын мой Алексей, лет 15 живущий в Москве на одной и той же квартире, недалеко от храма Христа-спасителя и дома Цветкова, посещавший

последнего, не мог выносить того высокомерного тона, того самолюбования, с каким Иван Евменьевич показывал ему свою картинную галерею, точно чудо, равного которому нет в мире, ожидая восторгов и поклонения. (Надо заметить, что Цветков говорил удивительно красиво, умно, точно отчеканивая каждое слово.)

С тех пор, как Цветков в семидесятых годах был в Симбирске у меня с сыном Губонина, он более не посещал нашего города, хотя и не забывал его, пожертвовав даже капитал в сто тысяч рублей Симбирской гимназии, в которой воспитывался,— по завещанию. В общем же у него не было ясного представления о современном Симбирске. Ему все казалось, что это глухой, отсталый, провинциальный угол, где о культуре, искусстве и т. п. не имеют никакого понятия, куда жертвовать что-либо по этой части поэтому не стоит.

Такой взгляд высказал он мне, когда я под влиянием В. Н. Поливанова, пользуясь знакомством с Цветковым, сделал попытку склонить его пожертвовать картинную галерею городу Симбирску. Все же мне удалось выпросить у него старинные гравюры, множество ящиков с которыми стояло у него в комнатах. Он даже готов был отдать в Симбирск дубликаты своих картин и соглашался прислать их ко мне впредь до окончательной отстройки Гончаровского дома [34]. Но я отклонил этот проект, не зная, куда дену в чувашской школе картины, как сохраню их. Впрочем, Цветков мне говорил, что так как у него уже сделано завещание, по которому он свой дом-дворец со всем, в нем находящимся, жертвует городу Москве, то он не может выделить и пожертвовать Симбирску всю картинную галерею. Тем не менее В. Н. Поливанов сделал попытку поколебать Ивана Евменьевича в его решении в пользу симбирского Гончаровского дома. Зная нрав Цветкова, я предупредил его о том, что к нему собирается Поливанов. Поливанову же я говорил о том, что он, посетив московского самодура-мецената, может нарваться на не очень-то любезный прием. На это Владимир Николаевич ответил в том духе, что в сущности любезность купца-миллионера его мало трогает, что ему на это «наплевать», лишь бы добиться своего. Однако Симбирск, кроме вышеупомянутых 100 тысяч рублей, не получил от Цветкова ничего. В свое время духовное завещание Ивана Евменьевича наделало довольно много шума. Жене он оставил сравнительно ничтожный капитал.

Родным племянникам, вообще родным он не оставил ничего.

Брат его Александр Евменьевич отличался тем, что всю жизнь ухаживал за чужими женами, пока не женился в Москве на молодой женщине, которая его, полуразбитого параличом, бросила. Детей у него от этого брака не было. Он был доктор и, быть может, не очень нуждался.

Сестра Ивана Евменьевича после замужества тоже была разбита параличом.

Изредка я переписывался с И. Е. Цветковым, но по случайным вопросам, не имеющим значения. Письма его, надо думать, лежат в моем личном архиве.

К особым событиям из симбирской жизни за время моего пребывания в Симбирске в связи с гимназией надо отнести и посещение города в 1871 году в мае или июне — хорошо не помню — государем императором Александром II... С государем были великие князья, свита. Он был все время не в духе. Хорошо помню его бледное, осунувшееся, с мрачным выражением лицо, высокий рост. Государь прежде всего проехал в новый собор, потом посетил помещение дворянского собрания, острог, удельный приют за Свиягою (кажется), архиерея, губернатора. Я видел его в соборе и в нашей гимназии, куда я прошел в качестве бывшего ее воспитанника. Государь прошел в зал, был в церкви, обошел классы. Из церкви вышел в коридор. Я стоял тут в особой небольшой группе бывших учеников гимназии, уже студентов. Хотя мы, как студенты, не носили особой формы, но так как гимназисты к тому времени уж носили форменное платье, то легко было догадаться, кто мы такие. Я был близорук на левый глаз, почему носил светлые очки. Благодаря им или по какой-либо другой причине государь, проходя, недовольно оглядел нашу группу, особенно косо, строго на меня посмотрел. Одет был государь в сюртук, по городу разъезжал с губернатором Еремеевым. По дороге к приюту удельного ведомства при переезде через Свиягу по мосту коляску государя остановили, бросившись на колени, крестьяне села Кременки Симбирского уезда, находящегося верстах в 20 от Симбирска, с нелепой, по мнению государя, просьбою. (В сущности же просьба о садах, отведенных в негодных местах, была основательна.) Государь рассердился на них, закричал. Им сказана была крестьянам знаменитая фраза: «Та рука,

которая подписала вам освобождение, подпишет и новое закрепощение». (Не помню хорошо, но что-то в этом роде.)

В общем, государь оставил во мне неприятное впечатление.

Симбирская гимназия дала мне многое. Кроме массы сведений по разным отраслям знаний, мною в ней полученных, научив меня сознательно читать на русском языке, она привела меня к сознанию, что чуваши должны утвердиться в православии путем школы, что я сам должен стоять вместе с чувашским народом в одном лагере. Для лучшего усвоения себе русского языка, будучи в гимназии, я много читал газет и книг, хотя многого и не усваивал. С восторгом я прочел роман «Война и мир» Толстого. Читал Белинского. К слову сказать, критические статьи Белинского нам, ученикам, почему-то запрещалось читать. Это не мешало мне читать не только Белинского, но Писарева и Добролюбова, сочинения которых можно было достать в Карамзинской библиотеке. Пушкин мне нравился только по отношению к его прозе. Стихи же его я не одобрял, быть может, потому, что не вполне усваивал себе прелести поэзии, которая не производила не меня впечатления. Прочел я и «Фрегат Паллада» Гончарова, много других образцовых произведений. Вспоминая теперь мои тогдашние впечатления, представляю себе, что отрицательное отношение мое ко многим произведениям было навеяно теми критическими статьями, которые я читал. Поэтому лермонтовский «Демон» казался мне набором слов, а «Мцыри» мне нравилось, так как там было описание борьбы несчастного существа с окружающим.

Пока я, находясь в Казанском университете, жил в Казани, оставленная мною в Симбирске чувашская школа (в виде общежития) переменила несколько квартир. Осенью 1870 года, когда я отправился в университет, она помещалась на Мартыновой улице, в доме, кажется, Михайлова, в двух комнатах, в которых жило 5—6 мальчиков [35].

К новому году прибавилось в общежитии еще человека три: я их привез из Бурундукской волости, когда я спешил из Казани хлопотать о возвращении Рекеева, взятого в солдаты, и по дороге заехал в родные места — Кошки и Бурундуки.

Две комнаты составляли часть квартиры, хозяйка ко-

торой взялась за плату кормить мальчиков, мыть их белье и т. п. Убирали комнаты и около себя сами мальчики. Тут общежитие оставалось до весны.

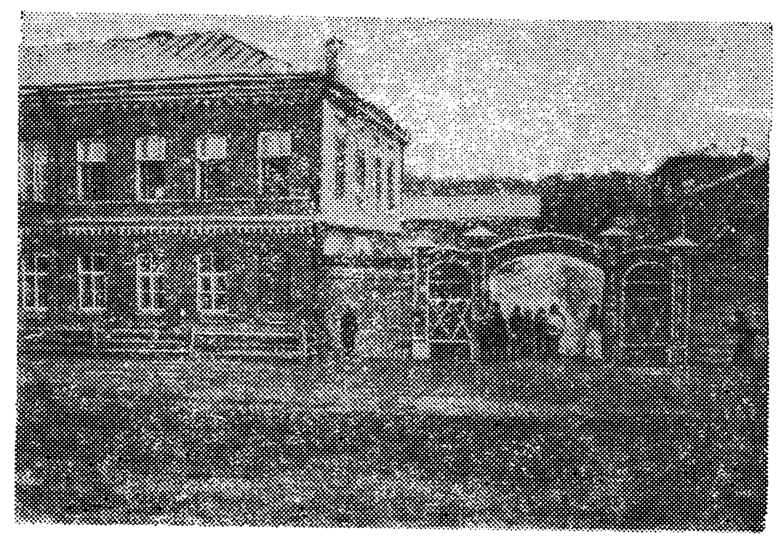
Значительную часть лета 1871 года я провел то в Симбирске, то в Кошках. Наблюдавший за общежитием от гимназии Христофоров в это время уехал с семьей в Казань. Я присматривал (будучи в Симбирске) за общежитием, занимаясь более всего переводом на чувашский язык, вырабатывая по законам фонетики чувашский букварь. На это лето не уехавшие на каникулы ученики общежития переехали в квартиру отсутствовавшего Христофорова (у Ильинской церкви, в доме Данилова), бросив прежнюю. Приехали новые мальчики.

К осени, в августе того же 1871 года, общежитие перебралось в другой дом Данилова, на базар, по Дворцовой улице. Здесь ученики прожили два учебных года. Квартира была отдельная. Держали свою кухарку. Жили в двух этажах. Внутренний режим был все тот же. Тут в общежитии собралось уже около 12 мальчиков, более чувашей, чем русских.

В те времена зимою бывала в Симбирске так называемая сборная ярмарка (на первой и второй неделях великого поста). На время ее существования низ квартиры сдавался внаем приезжим купцам, а вырученные от этого деньги шли на увеличение средств по содержанию учеников: большая часть выручки шла на плату за квартиру.

В 1873 году общежитие перешло в каменный двухэтажный дом купца Попкарова (по Соборной улице). Тут в общежитие был назначен особый учитель (репетитор). В этом доме ученики прожили один учебный год (1873/74). С осени же 1874 года они перешли в дом Горбунова, полукаменный, полудеревянный (на Кирпичной улице), заняв второй этаж и мезонин и прожив тут учебные годы 1874, 1875 и 1876. Помещение было тесное, не соответствовавшее числу воспитанников. Быть может, по этой причине в начале 1876 года закрался в общежитие тиф в тяжелой форме. Все переболели, кроме учителя Филимонова, бывшего в общежитии и ухаживавшего за больными. (Меня во время этой эпидемии в Симбирске не было: я разъезжал по школам Симбирской, Казанской губерний, а затем писал в Казани отчет по этой ревизии.) К счастью, никто не умер.

Ввиду эпидемии тифа в общежитии вмешавшееся в положение последнего начальство (губернская врачебная



Первое здание Симбирской чувашской школы, приобретенное в 1876 г.

управа) заставило бросить зараженную квартиру и переехать на другую, которую в марте 1876 года общежитие заняло в доме Загряжского (ныне разрушенном и входящем в состав богадельни имени Кирпичникова, на площади).

В этом доме общежитие находилось часть 1876 и 1877 учебного годов до осени (августа) 1877 года.

Наконец, в 1876 году был куплен мною каменный дом у р. Свияги, в котором жили солдаты, с деревянным при нем флигелем. Дом этот пришлось переделывать. (При нем существовал еще один деревянный флигель, теперь разобранный.) В этот свой, постоянный дом чувашская школа перебралась в августе 1877 года. Дальнейшая история помещений, занимаемых и в настоящее время школою, состоит в постройке новых каменных корпусов, дворовых построек и т. п. (Все это описано в отчетах по чувашской школе и в особой печатной брошюре.) [36]

Для обрисовки положения воспитанников чувашской школы расскажу про такой случай. Бывало, татарин (да и русский), проезжая по городу, норовит ударить чуваша кнутом, оскорбить, осмеять его. Недаром я в то время выражался, что «только ленивый чуваша не обижает». Чувашская школа ранее помещалась на площади в здании,

ныне сломанном, на месте которого теперь стоит каменная богадельня в память Кирпичникова. Ученики школы, как певшие хорошо, ходили петь сначала в Никольскую (дворцовую, недалеко от губернаторского дома) церковь, потом во Всехсвятскую, где кладбище. При них всегда бывал один из учителей. И вот когда мальчики чинно, в порядке, возвращались из Никольской церкви в школу и проходили базаром по Дворцовой улице мимо лавки одного купца (находившейся рядом с лавкой Серебряковых), приказчик лавки, сметавший с тротуара грязь на улицу после прошедшего дождя метлою, мазнул ею нарочно одного из певчих-чувашей по лицу, да так, что до крови исцарапал ему лицо. Прихожу с жалобой к купцу, у лавки которого это случилось. Он зовет виноватого приказчика. «Мишка,— кричит он,— ты чего это наделал!» А тот отвечает: «Да ведь это чувашенин!..»

V

В первый раз я посетил Н. И. Ильминского между 3 и 5 сентября 1870 года — хорошо не помню числа. Ильминский слышал уже обо мне, принял меня радушно, хотя несколько сдержанно. У него была привычка — по мере развития знакомства становиться все откровеннее, все сердечнее. В свою очередь и я.

Убедившись в моих сомнениях по вопросу о способах приобщения инородцев вообще, а в частности чувашей, к русской культуре, будучи совершенно противоположных взглядов на это, чем Баратынский, Ильминский, найдя, что я могу быть полезен делу, решил переубедить, переупрямить меня. Я по его приглашению стал часто ходить к нему запросто, и в течение первых четырех месяцев нашего знакомства был я у него на собеседованиях с глазу на глаз по крайней мере 30 раз, причем я приходил с раннего вечера, уходя иногда тогда, когда уже светало и звонили к обедне в церкви Богоявления, возле которой я тогда поселился. Наши ночные собеседования продолжались в октябре, ноябре и декабре, когда за мной приехали из Кошек от Пахомовых и увезли на рождество.

В конце концов Ильминский убедил меня в том, что в основу образования родных мне чувашей должен быть положен не русский, а родной их язык, что это правило должно применяться вообще ко всем инородцам.

Ильминский свел меня с Василием Алексеевичем Белилиным, русским из мещан города Казани, тогда, при поступлении моем на 1 курс университета, бывшим уже на втором курсе. Он занимался с Ильминским восточными языками, будучи в этой области знаний очень даровитым, особенно по части усвоения звуковых законов языков. По поручению Ильминского я и Белилин на каникулах в 1871 и 1872 годах делали совместные экскурсии в деревню Кошки и другие чувашские селения, причем я мог убедиться в том, насколько он быстро усваивал чувашский язык, которого до того совершенно не знал. Хорошо не помню, может быть, мы с ним работали не два, а три лета. Белилин был человек расчетливый, серьезный, правдивый, честный, готовый всегда помочь нуждающимся.

До ссоры моей с Белилиным [37] последний уже отстал и от Ильминского, от его направления и идей.

На мои поездки с Белилиным во время каникул по чувашским деревням нас направил Ильминский. Эти путешествия мы совершали не на казенный, а на свой счет. При собирании записи чувашских сказок, песен, поговорок и т. п. помогали нам Рекеев и другие. Часть собранного материала впоследствии была отдана в Казани в распоряжение Н. И. Ашмарина, занимавшегося чувашским языком. Часть осталась до сих пор у меня в бумагах. Записи делались нами по-чувашски при помощи русских букв с особенностями. Коснувшись этих моих студенческих экскурсий, упомяну о следующем. В ту пору я был резок на язык, говорил энергично, любя, не стесняясь, высказывать в глаза мои суждения, не стесняясь тем, что нравится ли это другим или нет. Хотя знакомство с Н. И. Ильминским и положило на мои политические взгляды консервативный отпечаток, но иногда я не прочь был и полиберальничать. Во время моих упоминаемых поездок в Старых Бурундуках у священника Баратынского я познакомился с его хорошим знакомым, доктором, помещиком Аргамаковым, жившим в имении своем, верстах в 8 от Старых Бурундуков, человеком, отличавшимся обскурантизмом взглядов, поклонником М. Н. Каткова и т. п. Аргамаков интересовался мною, как студентом, заводил разговоры со мной на политические, общежитейские темы, причем я иногда слишком горячо, резко, либерально высказывался, что и дало повод Аргамакову выразить Баратынскому такое обо мне суждение: «Отогрели вы себе змею на груди...» (Об этом

Баратынский позднее в шутку сам мне рассказывал.)

Благодаря Ильминскому я был введен в хорошее, просвещенное общество Казани.

Опера производила на меня сильное впечатление, когда я учился на первом и втором курсах. Потом это впечатление ослабело. Вообще в молодости я был чуток к музыке, но тонко ее не понимал. Артисты, выступавшие отдельно в концертах (я слышал, например, знаменитого скрипача Контского), не интересовали, не трогали меня. Производила на меня очень сильное впечатление опера, т. е. пение с оркестром. Бывая впоследствии в опере Петербурга и Москвы, я уже не испытывал того, что выносил в первое время из Казанской оперы.

Причиной охлаждения моего к театру, опере было то, что меня уже всецело охватило стремление послужить на благо чувашскому народу.

Отсутствие досугов мешало мне заводить в Казани обширные знакомства. Кроме Ильминского, я бывал еще в доме его приятеля, профессора Гордея Семеновича Саблукова, читавшего в Казанской духовной академии лекции по еврейскому, арабскому, сирийскому языкам. Саблуков был по возрасту старше Н. И. Ильминского. Введенный к нему Ильминским, я часто бывал у него, и он помогал мне при переводах. Саблуков прекрасно схватывал смысл, дух данного текста. Я пользовался для моих переводов его прекрасною библиотекою. Это был симпатичный, доступный старик. Когда я с ним познакомился, Саблуков был в отставке. Первые два года, когда я у него бывал, он с сыном своим, студентом, жил у зятя Ивана Яковлевича Порфирьева.

В Симбирск я приезжал раза два в год. Тогда железной дороги еще не было. Приходилось для этого совершать длинное путешествие отчасти на пароходе, отчасти на лошадях. По дороге я обыкновенно заезжал в Кошки, в Старые Бурундуки к Баратынскому и к Мушкеевым.

Особых событий за время моей университетской жизни в Казани со мной не было. Иногда и в Казани у меня повторялись сильные головные боли, которыми я страдал еще будучи гимназистом после того, как в начале мая 1869 года неосторожно выкупался в реке при холодной погоде.

В 1875 году, в июне, я хорошо окончил университет по историко-филологическому факультету. Но по-

дать сочинение для получения звания кандидата я опоздал, почему звания этого не получил.

Н. И. Ильминский ежегодно приезжал в Симбирск для осмотра чувашской школы и оставался здесь подолгу, во все вникая, давая указания, принимая от меня проекты новых предположений и т. п. Он любил Симбирскую чувашскую школу.

С самых первых дней нашего с ним знакомства Ильминский взял меня как бы под своё покровительство и защиту. Когда началась моя молодая переводческая деятельность, начались и нападки на нее, не всегда справедливые, а зачастую и пристрастные. Николай Иванович горячо принимал к сердцу в интересах общеинородческого дела эту сторону моей деятельности. Свидетельством тому может служить книга под заглавием «Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии» (Казань, 1890 год), в которой помещены заметки Николая Ивановича, вызванные нападками на мои переводы священника села Кошек Чебоксарского уезда Смелова [38].

Кстати, скажу еще несколько слов об Ильминском по поводу одной вылазки против меня, сделанной в печати в связи с 40-летним юбилеем Симбирской чувашской школы. Пытались поймать меня на том, что я будто бы в одном из моих сообщений нарочно замалчивал материальную помощь, которую оказывал через меня школе Николай Иванович, тогда как в другом моем сообщении упоминал об этой помощи.

Дело вот в чем. Под председательством Ильминского в Казани существовала Переводческая комиссия (по переводу книг на инородческие языки), члены которой, в том числе я и Н. И. Ильминский, получали за свои труды по 300 рублей в год. (Ранее такая же комиссия была при братстве св. Гурия, причем сотрудники ее работали бесплатно.) Года два-три он передавал мне лично, при моих посещениях Казани, эти 300 рублей, которые ему следовали как трудящемуся в Переводческой комиссии, не связывая меня никакими обязательствами в отношении этих денег, т. е. предоставляя мне употреблять их по моему усмотрению. В течение скольких лет я получал эти деньги от Николая Ивановича, теперь точно не помню. Быть может, некоторое время я их употреблял и на женское училище, бывшее при Симбирской чувашской школе.

В доме у Ильминских как бы существовал обычай,

которого придерживались и муж, и жена,— никогда ни о ком не говорить дурного, а напротив, стараться найти в каждом человеке и при случае подчеркнуть что-либо хорошее, симпатичное. Повлияло ли на ее личность и строй ума долгое мирное счастливое содружество с Николаем Ивановичем, но у Екатерины Степановны многие черты ее характера удивительно напоминали, в меньших размерах, характер ее мужа.

В домашней жизни Н. И. Ильминский был необыкновенно прост, старался, чтобы ему не прислуживали другие, почему иногда сам себе чистил платье, сапоги. На пароходах по Волге он ездил в третьем классе, терпя всякого рода неудобства, и спал там среди серого, бедного народа, радуясь общению с ним. Однажды, проезжая с ним и с женой его (тогда больной и ехавшей лечиться в Самару и помещенной на пароходе со всеми удобствами в каюте), я был вынужден тоже ехать в третьем классе, чтобы не разлучаться с Николаем Ивановичем. Простотой отличался и кабинет его, на стенах которого не было картин, а на письменном столе безделушек. Висели портреты близких Николаю Ивановичу лиц — по жизни его и деятельности. Я как-то подарил ему дорогую чернильницу. Около года она стояла у него без употребления. Наконец, он стал ею пользоваться. Может быть, потому, что не хотел обидеть меня. Жена Ильминского любила хорошую обстановку, и в большой квартире, занимавшейся Ильминскими, приемные комнаты были обставлены сравнительно парадно. Дома, вне официальных приемов, Ильминский надевал на себя вместо халата старое, потасканное пальто, а на ногах носил туфли.

Живя у него во время моих приездов в Казань, я бывал свидетелем того, как складывался у Николая Ивановича будничный его день. Ильминский обыкновенно вставал в 5—6 часов утра, т. е. тогда, когда начиналась жизнь в инородческой учительской семинарии. Сейчас же начиналась у него и работа (у него была удивительная работоспособность). Подавался чай. Если кто приходил по делу в такую раннюю пору, он и его угощал чаем. Вообще день у него не был распределен регулярно. Главную работу его составляло исправление переводов. Он сам все сличал, вникая в текст и делая справки в специальной библиотеке, у него имевшейся под рукою. В последние годы, когда здоровье стало изменять Нико-

лаю Ивановичу, он сам уже не писал, а, ходя быстро по кабинету, диктовал первому подвернувшемуся посетителю. Диктовал он и мне. Обед подавался в два часа. Если кто-либо в это время находился у Николая Ивановича, то и его приглашали к обеду. Мужской прислуги не держал. В доме были кухарка и горничная. Только лежа уже на смертном одре, Николай Иванович вынужден был взять в квартиру сторожа, помогавшего при уходе за ним. После обеда Ильминский засыпал на полтора-два часа. Встав, опять принимался за работу. Память у него до конца жизни была изумительная. Несмотря на то, что перед смертью, страдая от рака желудка, он в течение сорока дней ничего не мог есть и пить, кроме незначительного количества льда (его от всякой пищи тошнило), он сохранил такую духовную бодрость и ясность ума, что за несколько минут перед кончиною диктовал еще прощальные письма Победоносцеву, Делянову, подписывая их слабой рукою.

Н. И. Ильминский с большим сочувствием относился к литературно-педагогической деятельности графа Л. Н. Толстого в раннем ее периоде. Этому много содействовал племянник его (по старшей сестре, на него похожей лицом) Александр Павлович Сердобольский, который не только знал Толстого, но когда тот, сидя в имении, увлекался должностью мирового посредника, то был им вызван, работал под руководством графа на благо крестьян, жил где-то недалеко от Ясной Поляны в деревне и часто виделся, беседовал с Толстым.

Для того чтобы объяснить, почему Н. И. Ильминский приютил у себя семью Бобровникова, надо иметь в виду, что он был очень дружен с отцом моей жены Алексеем Александровичем Бобровниковым, с которым он вместе воспитывался и окончил курс Казанской духовной академии. Оба они были затем оставлены при академии бакалаврами и, будучи тогда холостыми, жили вместе на одной и той же квартире. Бобровников женился. Это осложнило его жизнь и вызвало необходимость приискания средств. Пришлось принять приглашение губернатора Тургайской области Василия Васильевича Григорьева и отправиться к нему на службу.

Скоро и у Н. И. Ильминского начались в жизни осложнения. По возвращении в Казань из ученой командировки на Дальний Восток он стал на лекциях в духовной академии высказывать студентам идеи, которые в выс-

ших духовных и административных сферах вызвали подозрение, начались преследования, неприятности. Все это заставило Ильминского, уже женатого, около 1857 или 1858 года выйти из академии и перевестись в Оренбург, где жил А. А. Бобровников, на скромную должность переводчика с русского языка на татарский правительственных распоряжений. При этом Бобровников сердечно принял, пригрел его. Когда Ильминский был избран профессором Казанского университета, то, расставшись с Бобровниковым, переехал в Казань. Тот же в скором времени умер в Оренбурге, оставив семью, состоявшую из двух дочерей и двух сыновей, без всяких средств и без пенсии, которую не выслужил. Тут-то Н. И. Ильминский со свойственным ему благородством и добротою решился прийти на помощь к бедствовавшей семье своего друга, в 1865 году выписав ее к себе всю в Казань. Друг Николая Ивановича, профессор Казанской духовной академии Порфирьев взял к себе старшую дочь Бобровникова Клавдию. Вдову Бобровникова, Наталью Моисеевну, сыновей его Николая и Александра, а также Екатерину Алексеевну Ильминский взял к себе на все свое содержание, поместив мальчиков в Казанскую гимназию.



Н. И. Ильминский. 1886 г.

Касаясь воспитания и образования инородцев, он делал разницу в развитии между детьми русскими и инородческими, находя, что дети инородцев, благодаря историческим, бытовым условиям инородческих племен, населяющих Россию (которые он называл «пасынками истории»), должны развиваться позднее, чем дети коренного русского населения, требуя, чтобы и это обстоятельство принималось во внимание в инородческих школах, в том числе и чувашских. Он не одобрял системы воспитания в Германии, Англии и других наиболее

культурных странах, где ребенка начинают ломать, учить, подготовлять в известном направлении чуть не с шести лет, т. е. с тех пор, как он начинает сознательно относиться к окружающему и проявлять свои индивидуальные особенности.

Сообщу еще кое-что об Ильминском. Он любил молодежь, называя ее часто в шутку «головастиками», т. е. людьми, желающими жить своей головою, не имея еще ни жизненного опыта, ни достаточных знаний. У него не было манеры кому-либо навязывать свое личное мнение. Он не любил давать и советы, если их у него не спрашивали. Видя или слыша что-нибудь, ему лично не симпатичное, он иногда говорил твердо, категорически: «Этого не делайте!»

Он всегда употреблял в беседах сопоставления, сравнения, примеры, почти всегда меткие, бьющие в цель. Покойный хорошо понимал чувашский язык (имеющий сходство с татарским, отлично ему знакомым).

Никогда не было у меня (да и не могло быть) каких-либо неудовольствий Ильминским: я был его учеником и старался во всем подражать ему.

У него замечалась еще одна черта — доступность. На квартире у Ильминского постоянно жили татары, черемисы, чуваши и другие инородцы, простолюдины, которых он вызывал к себе по поводу переводов, содержа их хорошо на свой счет, беседуя с ними, в то же время и учась у них. (Он всю жизнь учился.) Эти люди, приезжавшие из деревень, заносили в дом Ильминского, где царствовала образцовая чистота,— грязь, вонь и вшей, что огорчало жену его Екатерину Степановну. Но он был настойчив в этом направлении, притом убежденно.

Был ли Ильминский демократ, не знаю. Он при мне по этой части никогда прямо не высказывался.

Николай Иванович особенно часто вспоминается мне теперь, когда жажда увеличенных окладов, наживы обуяла почти весь учительско-педагогический состав Симбирской чувашской школы. Он всегда говорил мне: «Не делайте из школы материальной приманки! Школа должна быть трудовая. Она должна дать чувашам русскую культуру, которую им следует воспринять путем труда, скромности».

Следуя его советам, и я по его примеру в первое время существования Симбирской чувашской школы старался привлечь в состав ее преподавателей, воспитателей

только тех, кто шел работать в школу не из-за денег и других материальных выгод, а, так сказать, по убеждению, для того, главным образом, чтобы принести пользу чувашскому, а значит, и русскому народам. Первоначально вознаграждение педагогического персонала в чувашской школе было ничтожно — всего 2 рубля за данный урок. Находились личности, которые шли на такие условия. Но как только я замечал, что они не соответствуют своему назначению или начинают искать материальных выгод, сейчас же удалял их, заменяя другими, желательными.

Н. И. Ильминский восставал против перехода воспитанников Симбирской чувашской школы в духовные семинарии. Он был вообще враг духовных семинарий его времени, говоря, что из них, как и из духовных академий, выходят иногда не деятели с желательным в духе его, Ильминского, для инородцев национальным направлением, а зачастую люди с нежелательными взглядами. Помню, как недоволен был он, когда я стал пропускать в Симбирскую духовную семинарию учеников школы [39]. Но потом сдался на мои доводы, махнув, так сказать, рукой на это не симпатичное ему явление.

После смерти Н. И. Ильминского во главе Казанской инородческой учительской семинарии встал близкий ему человек Николай Алексеевич Бобровников, не отличавшийся вообще умением находить, угадывать, выбирать людей, что так было присуще Ильминскому по его натуре. Так как трудно изучить до тонкости будущие задатки юноши, то я, отправляя в первое время юношество из Симбирской чувашской школы в упоминаемую семинарию, сам нередко впадал при этом в ошибки и пропускал туда юношей, впоследствии оказывавшихся недостойными.

Н. И. Ильминский стоял всегда за то, чтобы устраивать школы в самых глухих местах. Как на такой глухой угол я ему указывал на родную мне деревню Кошки-Новотимбаево. Во время моего детства в деревне Кошках было около 100 дворов (а теперь их там вдвое больше). Деревня стоит на реке Кильне, впадающей с правой стороны в реку Свиягу. Помню мельницу верстах в 4-х от Кошек, ниже на речке Кильне, и запруду, благодаря которой вода поднималась, что способствовало существованию рыбы — щук, гольцов и др. Но в Кошках рыбной ловлей не занимались. Я часто потом приезжал в род-

ные Кошки. Теперь там нет ни мельницы, ни запруды, ни речки. В Кошках большей частью нет и того леса, в котором я в детстве любил так гулять. Когда я вырос, то меня неудержимо тянуло, влекло на родину в деревню Кошки. И покидал я их каждый раз со слезами на глазах. Потом, когда я был уже гимназистом, студентом, это стремление ослабело. Дома, в котором я родился, давно не существует в Кошках. Ильминскому, которому удалось познакомиться с языком чувашей этой деревни, нравился тамошний выговор. И он, считавший, что в основу для всех чувашей, говорящих с разными местными особенностями и оттенками, должен быть положен один какой-либо чувашский говор, остановился как на самом подходящем для такой цели говоре крестьян-чувашей деревни Кошки. Я так часто толковал с ним о месте моей родины, что Николай Иванович в шутку употреблял даже такие выражения: «Ну! Едете в чувашские Афины?», «Что нового в ваших чувашских Афинах?» Этим шутливым сравнением захудалой деревни с древними греческими Афинами он хотел подчеркнуть, что из Кошек разливается и будет разливаться свет просвещения по всему чувашскому народу. К сожалению, действительность не оправдала название «чувашские Афины», данное Кошкам. Обстоятельства как нарочно складывались так, что лучших учителей мне приходилось посылать не в Кошки (когда там были учреждены школы), а в другие места. Едва заводился в Кошках хороший учитель, как его сейчас же переводили в другую школу. Но интересы кошкинских крестьян я всегда имел в виду.

Могу сказать, что не будь моей встречи с Н. И. Ильминским, я пошел бы, может быть, обыкновенной, чиновничье-педагогической дорогою и не делал бы ничего для чувашей.

Преемники Ильминского Николай Алексеевич Бобровников и сменивший Бобровникова Алексей Андреевич Воскресенский, в качестве директоров Казанской учительской семинарии, не оказались на высоте своего назначения и плохо поддерживали начинания и заветы своего знаменитого предшественника.

На могиле Ильминского поставлен хороший, красивый памятник, ничего оригинального, однако, из себя не представляющий. Надпись же на памятнике «Николай Иванович Ильминский — просветитель инородцев» крайне неудачна. Над такими могилами, как могила Иль-

минского, надо просто писать: «Николай Иванович Ильминский» или придумать что-либо более умное, оригинальное. Будучи не так давно в Казани, посетив вдову Николая Ивановича, я высказал ей откровенно эту мысль. Она мне сказала, что надпись придумал известный сотрудник ее мужа священник Василий Тимофеевич Тимофеев.

Влияние на меня Ильминского было так велико, что когда через год или два после знакомства с ним я приехал в Симбирск и посетил гостеприимный дом Глазовых, то Александра Ардалионовна Глазова (впоследствии Громеко по мужу) заметила это во мне, главным образом в том отношении, что по примеру Николая Ивановича я стал удерживаться от резких, осуждающих других отзывов. (Ранее это за мной по молодости моих лет водилось.)

У Ильминского, как и у всякого человека, были свои недостатки, но все это было ничто в сравнении с его другими, высокими нравственными, духовными, умственными качествами.

У Ильминского детей не было. Зато он приютил у себя, пригрел чужих детей, отечески заботясь об их нуждах и воспитании.

Ильминский бывал упрям в известных случаях. Помню такой инцидент. Я состоял на службе и был женат, когда попечитель Казанского округа Петр Дмитриевич Шестаков пригласил меня и Ильминского к себе на собственную дачу (верстах в 15 от Казани) на Петров день, в который праздновал свои именины. К этому дню у него собиралось на даче много гостей, иногда 60—70—все, кто приезжал его поздравить, бывшие с докладами и т. п. Мы приехали с Ильминским на извозчике, не договорившись с ним о цене и за обратный путь. После обеда, когда мы вышли, извозчик заломил с нас ни с чем несообразную цену. Ильминский, рассердившись, сдержал себя и предложил мне дойти до Казани пешком, что мы и выполнили.

Если в последние годы жизни Ильминского открыто начался поход против его системы просвещения инородцев, то едва он умер, как враги его начали уничтожать все то, что им было так убежденно создано в этой сфере. Особенно потрудились в этом нежелательном, вредном направлении попечители Казанского учебного округа Деревицкий и Кульчицкий.

Преследования его [Ильминского] отразились и на мне, близко к нему стоявшем. Это, между прочим,

выразилось в том, что после его смерти, с целью ограничить мою деятельность по просвещению инородцев, упразднили особую должность инспектора чувашских школ, которую я занимал.

Так как у Ильминского было много врагов его системы, которые от времени до времени делали против него и его деятельности вылазки, то Николай Иванович боялся, что с его смертью может погибнуть все, им созданное. Эта мысль в последние годы не давала ему покоя и увеличивала его физические страдания.

После его смерти, когда жена Ильминского оказалась в большой нужде, я, стараясь, как и другие, помочь ей денежно, передал ей 300 рублей, сказав, что я возвращаю долг мой Николаю Ивановичу (она знала, что он мне когда-то дал 300 рублей, но не знала — на какую надобность).

VI

Враги Н. И. Ильминского и мои, а также дела просвещения инородцев [40], которому мы с ним служили, желая подорвать наше положение и доверие к нам высшего начальства, одним из орудий против нас часто выдвигали обвинение в «сепаратизме». Обвинение это было особенно опасно в эпоху сильного влияния Каткова, после подавления польского восстания, когда всем мерещились восстания и вообще стремление к «сепаратизму». Н. И. Ильминский страшно боялся Каткова и травли с его стороны, всячески избегал попасть ему в своей деятельности на глаза, и ему удалось спастись от газетной травли.

Обвинение же в сепаратизме время от времени поднималось гораздо позднее по отношению ко мне.

Врагом моим в Симбирске на почве моих чувашских преобразований [41] был и архиепископ Никандр, впоследствии архиепископ литовский и виленский. Архиепископ Никандр был в Симбирске с 1895 по 1904 год. Одним из тех, кого архиепископ Никандр делал орудиями своих нападений, преследований инородцев, в том числе и чувашей, был И. Н. Яштайкин, чуваш, воспитывавшийся в церковноприходской школе Курмышского уезда Симбирской губернии, откуда по распоряжению Никандра был переведен в Симбирскую духовную семинарию. Ко мне и в мою Симбирскую чувашскую школу этот Яштайкин

никогда не являлся, и я его лично тогда не знал. Никандр всегда делал такие назначения, мне враждебные; в секрете, зазывая к себе подобную, враждебную духу Ильминского, инородческому делу молодежь, роняя тем свое архиерейское достоинство.

Однажды на трех листах Никандр написал на меня донос с обвинением в сепаратизме К. П. Победоносцеву.

Архиепископ Никандр время от времени обнаруживал недружелюбное свое отношение и ко мне, и к моей просветительско-инородческой деятельности.

Не помню, в каком году в «Миссионерском обозрении» появилась статья, против меня направленная, в которой доказывалась неуместность вмешательства в религиозный вопрос такого светского лица, как я, и т. д. — в том же духе. Статья была или не подписана, или автор замаскировался псевдонимом, буквами. Но скоро стало известным, что написал ее не кто иной, как Никандр. Так как статья была несправедливая, задевавшая и дорогое мне чувашское дело, и мою службу, то я написал на нее возражение и послал его в «Московские ведомости». Тогда Каткова уже не было в живых, а редактором состоял Грингмут. В редакции же работал мой хороший знакомый Николай Чеславович Зайончковский, которому редакция дала на просмотр мою статью. Зайончковский вернул мне ее с заявлением, что возражать на вылазку «Миссионерского обозрения» не стоит. Будучи у попечителя Казанского учебного округа Алексеенко, я дал ему прочесть мое возражение. Он, возвращая рукопись, тоже высказался в том же духе, что возражать не стоит. Так возражения моего и не появилось [42].

К слову могу заметить, что в среде симбирского духовенства было у меня всегда много противников, обвинявших меня, между прочим, и в сепаратизме. Особенно усердствовал соборный протоиерей Павел Прокофьевич Никольский, насмешливо ко мне относившийся.

Другое недоразумение на почве того же обвинения в сепаратизме вышло у меня с министром народного просвещения Кассо.

В 1912 году, будучи в Петербурге, я по делам службы явился в Министерство народного просвещения. Вижусь с вице-директором Воронцовским, а также с его помощником. Из допросов и некоторых вопросов я догадываюсь, что в министерстве имеется на меня донос, опять о сепаратизме, т. е. в том духе, что я — вредный, опасный

человек. В Казани был тогда попечителем учебного округа Кульчицкий — личность, близкая к министру. У меня явилась догадка, что донос исходит от него.

Поехал я в Министерство народного просвещения, где и прождал в министерстве до свидания с Кассо с 11 до 7 часов вечера, так как он приехал в министерство только к 6 часам и начал прием с других лиц. Мне советовали обратить внимание на то, где усадит меня в своем кабинете Кассо: если напротив себя, то это предвещало отрицательный, сухой прием; если на углу, у письменного стола, то прием милостливый. Кассо, после моего представления, усадил меня на углу. Вот часть моей с ним беседы. К.: «Вы хотите всю Симбирскую губернию отделить, захватить себе?» (Шутливым тоном.) Я: «Симбирская губерния очень велика, ваше высокопревосходительство. А чувашей в ней мало: всего в двух-трех уездах: уезды Курмышский, Буинский, отчасти Симбирский. В губернии же всего восемь уездов. Остальными можно подавиться. Тут мечтать нельзя...» К. (переходя в серьезный тон): «Имеют ли обвинения вас в сепаратизме коекакие основания?» Я: «Никаких совершенно! Надо быть сумасшедшим, отчасти непонимающим... Всему виной взаимное непонимание, ненависть ко мне, возникшая вследствие личных отношений». Кассо задал мне еще несколько мелких вопросов, из которых я окончательно убедился в том, что на меня действительно сделан был донос. Затем Кассо мне говорит: «Напишите мне, адресуя на мою квартиру, все, как было, лично в мои руки. Если застанете дома, то еще поговорим. Не застанете — оставьте пакет. Успеете ли переписать, пока находитесь в Петербурге?» Я ответил утвердительно. Не застав министра дома, оставил у него мое объяснение в форме письма...[43]

Через год или два (в 1914 году) Кассо был в Симбирске проездом из Самары. В это время губернатором был А. С. Ключарев, с которым ранее у меня были натянутые отношения из-за некоторых чувашей, замешанных в революционном брожении 1905 года, которых я защищал и дела которых возникли гораздо позднее[44].

В 1912 году из Министерства народного просвещения был сделан насчет меня запрос Ключареву, из которого явствовало, что к деятельности моей в Петербурге относятся подозрительно.

26 апреля Кассо осматривал чувашскую школу, знако-

мился с постановкой школьного дела, обходил помещения. В присутствии попечителя Казанского округа Кульчицкого и губернатора Ключарева он дважды благодарил меня за школу, прося до конца моей жизни продолжать работу по школе. Но, к слову сказать, через месяц приехал в Симбирск попечитель Кульчицкий и после объяснений со мною сказал мне: «Вас в две недели следовало бы выгнать со службы!»

Сплетни и пересуды о моем якобы сепаратизме постоянно ходили среди помещиков и помещиц Симбирской губернии. На меня даже из этой среды поступали доносы к Победоносцеву [45].

Когда я был моложе, то мне случалось иногда проявлять некоторую находчивость. Помню, что я был на обеде в деревне Винтеровке (Симбирской губернии Буинского уезда) у помещиков Винтер. Родственник их Владимир Васильевич Берви мне заявляет: «Вы стремитесь к сепаратизму?» На это я, при общем хохоте обедавших с нами, говорю: «Если мне удастся основать отдельное государство, то приглашу вас на пост первого министра».

В 1893 году на должность помощника попечителя Казанского учебного округа был назначен Спешков, временно замещавший попечителя округа. Прихожу однажды к архиепископу Варсонофию. Он показывает мне бумагу, в которой этот Спешков спрашивает его о моей политической благонадежности, просит сообщить мою характеристику. Я застал Варсонофия в смущении и негодовании от такого странного поручения учебного начальства. «Зачем он меня спрашивает? — возмущался владыка.— Он ваш прямой начальник, а спрашивает меня! Что я ему за собиратель справок! Не жандармский же я полковник!» и т. д. «Сообщите, что знаете!» — говорю я. «Ничего, кроме хорошего, не сообщу»,—волновался владыка. Что он ответил Спешкову — не знаю. Приехав затем в Казань, я спросил последнего, что значит подобный способ собирания обо мне сведений. Он ничего мне не ответил, но, видимо, был недоволен.

Так как переводы на чувашский язык играли большую роль в моей жизни, то на них мне хочется остановиться несколько дольше. Мысль о необходимости таких переводов для христианско-культурного просвещения чувашского народа приходила мне в голову еще тогда, когда я был в Симбирской гимназии. Я пробовал даже

делать такие переводы, но из моих опытов ничего не выходило, тогда как кое-что удавалось при переводах с немецкого на русский, с русского на латинский. Тут-то я мог убедиться в том, как труден перевод на чувашский язык, т. е. на язык народа, стоящего на низкой ступени культуры, у которого не существует многих понятий, представлений, выражений и т. п.

Чести личной, самостоятельной инициативы в деле чувашских переводов я себе приписать не могу [46]. И тут толчок дал мне Н. И. Ильминский, раскрывший мне отношения между чувашским, русским и европейскими языками, научивший меня улавливать, усваивать себе особенности, дух инородческих и иных языков, их фонетику.

У Ильминского для таких, как я, неопытных слушателей, были особые, так сказать, наглядные приемы обучения.

Помню, что и относительно переводов он привел мне однажды такое сравнение, которое объясняло мне сущность того, что требуется от переводов с одного языка на другой.

Для примера он брал часы, говоря: «Какая цель часов? — Определять точно краткий период времени. Как же это достигалось и достигается в настоящее время? А вот люди изобретали разного рода и вида часы — водяные, песочные, карманные, стенные, солнечные, со шпеньком (висевшие на стене и лежавшие горизонтально). Сколько часов ни было, все они помогали людям в достижении их цели: знать краткое время. Но между часами оказывались более точные и менее точные. Таким образом, можно было делать выбор, преследуя все одну и ту же цель. Люди и останавливались то на солнечных часах, то на пружинных, то на часах с маятником, как на более точных. И все же время показывалось приблизительно в разных государствах, даже в разных местностях одного и того же государства, разно.

Те же явления мы видим и в отношении переводов. Мысль родилась в человеческой голове. Она может быть выражена на разных языках, при условии, если сама мысль всем понятна, если при этом схвачены ее оттенки, ее художественность — по отношению к каждому из языков. Каждый язык может выразить какое-либо понятие, свойственное всем народам человечества. Татары, русские, чуваши, живя в одних и тех же этнографических, природных, государственных условиях многие

десятки лет, бок о бок, имеют много общего в понятиях, взглядах, представлениях и т. п. Им легко и понимать друг друга. В речах у всех народов есть подлежащее, сказуемое, дополнения, определения. Но манера выражаться, выражать ту или другую мысль может быть у них разная. Вот почему нельзя, не надо при переводах руководствоваться буквальным переложением текста с одного языка на другой, из слова в слово. Надо схватить мысль и, выражая ее, принимать в расчет особенности, дух данного языка».

Помню еще следующие советы, мнения Николая Ивановича: «Не будьте самоуверенны! Учитесь и учитесь! Не стыдитесь учиться у какого-либо старика-рассказчика из народа! Вслушивайтесь! Улавливайте тон, оттенки, выговоры, произношения! Надо развить свой слух. Переводчик должен прежде всего сам понимать то, что переводит. Надо верить в то, что если какая-либо мысль запала в голову русского, француза, немца, то она должна находиться и в голове какого-либо дикого негра. Нужно только уметь схватить ее, выразить на его, негрском, языке, сообразуясь со степенью его развития, понимания.

Чувашский и татарский языки произошли от одного и того же корня. И все-таки в чувашском языке есть свои особенности. Последние надо уметь переводчику себе усвоить. Задача хорошего перевода — дать логическое расположение между частями данного предложения и согласовать главное предложение с теми предложениями, которые его дополняют. Затем поймите значение слов так, как данный народ их понимает. Если данное понятие по какой-либо причине непереводимо целиком, дословно на язык данного народа, то его можно заменить соответствующей комбинацией слов».

Так учил меня Н. И. Ильминский. Под влиянием его наставлений и указаний я в первый же год пребывания моего в Казанском университете делал опыты переводов с татарского языка на чувашский при помощи Рекеева и Игнатия Иванова, хорошо знавших татарский язык. Опыты удавались. Затем уже я приступил к опытам переводов с русского на чувашский язык по программе Ильминского. Тут удачи было менее. Переводы подвигались медленно. В 1871 году я начал перевод русского букваря на алтайский язык для алтайцев. Все это шло туго, с трудом. Но со временем, по ходу работы, механизм перево-

дов все более и более усваивался. Опять-таки мне помогали Рекеев, Игнатий Иванов, другие мальчики-чуваши.

Над переводами я работал в каникулярное время, приезжая в Кошки, Старые Бурундуки, в Симбирск. Иногда я обращался за советом к Н. И. Ильминскому, и он давал мне указания, как перевести более ясно, точно, определенно то или иное место, выражение.

При моих переводах на чувашский язык, например, евангелия, мне приходилось сличать тексты на языках русском и греческом, латинском, французском и немецком [47]. Иногда оказывалась необходимость пользоваться для сравнения и татарским переводом Н. И. Ильминского.

Личные мои познания в языках сводились к следующему: латинский язык я хорошо знал еще в гимназии, усовершенствовавшись в нем в университете. В гимназии при мне греческий язык не проходился. Он стал вводиться тогда, когда я кончил там курс. Но в университете я проходил и греческий язык. По-немецки я знал довольно хорошо, хотя и немного, не дойдя до совершенства. По-французски мог разбирать, но плохо.

Вот почему при сличении текстов на разных языках мне приходилось не довольствоваться одними моими лингвистическими познаниями, а обращаться в случаях надобности к помощи людей, более меня по этой части опытных.

Кстати привести здесь, что Н. И. Ильминский был большой поклонник древнерусского языка допетровской эпохи, находя его богатым по содержанию, самобытно-национальным, оригинальным. С петровскими реформами ворвалось в эту народную сокровищницу много иноземных слов, оборотов речи, исказивших ее первоначальную чистоту и оригинальность. Сближение с Францией, Германией и другими европейскими латинскими странами внесло сюда еще более иностранного влияния. Так что между простонародной речью, хранящей в себе все-таки кое-что из древнерусского наследства, и разговорно-литературным языком образованных кругов русского общества легла целая бездна: русский перестал подчас понимать русского же.

Все это я испытал на себе, когда, будучи в университете, особенно же по выходе из него, стал заниматься переводами на чувашский язык. Пребывание в гимназии, в

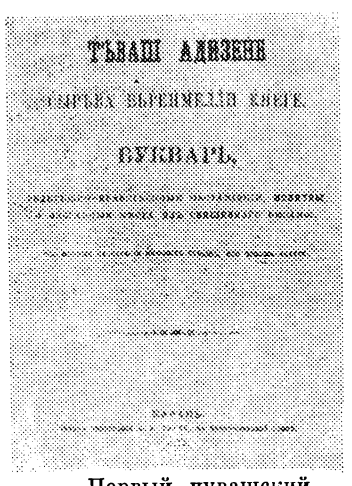
университете в связи с проводившимися там курсами настолько отучило меня от чувашской простонародной речи, которую я когда-то, в качестве природного чуваша, так хорошо знал, что мне для возвращения к чувашскому простонародному языку (а это было необходимо для переводов) приходилось делать над собой усилие, переучивать себя, проверять на каждом шагу, имея в виду главную цель таких переводов — понятность их, доступность для малообразованного чуваша-крестьянина. Только с большим трудом мне это, наконец, удалось. И то приходилось в некоторых случаях проверять себя сношениями с чувашами, менее образованными, ближе меня стоявшими к народу, а потому сохранившими родную речь в ее неприкосновенности. Но тут являлись новые затруднения в том, что у чувашей разных местностей под влиянием более сильной старой культуры — татарской, в зависимости от других местных условий, имелись различные наслоения. Приходилось избрать какое-либо одно чувашское наречие как наиболее хранящее в себе простонародную чувашскую чистоту и его сделать основным для переводов.

Могу сказать, что я много, убежденно положил трудов на переводы.

Все это не помешало моим недоброжелателям даже переводы ставить мне чуть не в преступление. Вот что относительно деятельности моей по переводу книг на чувашский язык и издания их я писал (в объяснении моем министру народного просвещения графу Игнатьеву 4 июня 1915 года № 1117 на ревизию действительного статского советника Богоявленского):

«Никакой комиссии (по переводу книг на чувашский язык и издания их) при школе нет [48]. Но я состою членом Переводческой комиссии православного миссионерского общества с 1878 года. Кроме того, перевод священных, богослужебных и других книг на чувашский язык был вменен мне в обязанность предписанием, данным мне при назначении на должность инспектора чувашских школ Казанского учебного округа 27 августа 1875 года. В какой мере переводы «отвлекают» меня от моих прямых обязанностей — судить об этом д. с. с.* Богоявленскому после беглого знакомства со школой едва ли уместно».

* Действительному статскому советнику.



Первый чувашский букварь

Первые издания чувашского «Букваря» и еще что-то (не упомню) печатались на мои средства. Издания эти окупились. Затем на следующие издания чувашских книг мне выдавались субсидии из Министерства народного просвещения. Я был тогда студентом Казанского университета, и попечитель уплачивал за мои издания, помимо меня, прямо в типографию. Так что кредит был на Казанский учебный округ. В 1875 или 1876 году мне было выдано пособие от Министерства народного просвещения на мои издания в размере 1000 рублей. С 1877 или 1878 года мои издания стали печататься на средства Всероссийского миссионерского общества. Так как цензура подобных изданий была возложена св. синодом на Казанское братство святителя Гурия, а с 1876 или 1877 года при братстве была учреждена Переводческая комиссия, то деньги эти отпускались в распоряжение совета братства. (На всех моих переводческих изданиях имеются отметки с указанием, на какие средства и что печаталось.)

В 1906 или 1907 году Н. А. Бобровников (бывший в то время уже попечителем Оренбургского учебного округа) вызвал меня в Уфу, где находился округ, для участия в съезде инородческих деятелей по вопросам об образовании инородцев (башкир, чувашей и др.) [49]. Этот человек способный, но без талантливости. Он путешествовал по Алжиру, Египту. Знал хорошо языки греческий, латинский, французский. Быстро все схватывал. Но обладал характером вызывающим, раздражительным. По инородческому же вопросу был неспециалист, хотя считал себя таковым.

Н. И. Ильминский много раз толкался всюду, чтобы обратить внимание на чувашей Самарской и Уфимской губерний, вообще живших на восток от Волги. Я в этом

направлении мало делал (Самарская губерния тогда мне подчинялась как инспектору чувашских школ Казанского учебного округа; Уфимская же была вне моего влияния). Ильминский имел сведения, что в Самарской и Уфимской губерниях чуваши подвергаются сильному религиозному давлению со стороны магометан. Православные чуваши-крестьяне деревни Старое Ганькино Бугурусланского уезда Самарской губернии в 1896 году через министра внутренних дел подали государю прошение, в котором заявляли, что они остались без веры. Село это было чувашское. Часть чувашей были православные (наружно), часть язычники. Так как быть язычниками им неудобно, то они просили государя разрешить им перейти в магометанство. О заявлении чувашей-христиан дано было знать и попечителю Казанского учебного округа. Сделан был запрос из Петербурга о том, приняты ли меры к утверждению упоминаемых чувашей в православии. Ко мне обратились с вопросом, не могу ли я открыть в Ганькине министерское училище с миссионерскими целями. Я согласился сделать попытку, поехал в Самару. А затем отправился в Ганькино. По приезде моем туда был собран сельский сход при старосте, земском начальнике, священнике. Я говорил с крестьянами по-чувашски. Они долго упорствовали. Надо было добиться, чтобы крестьяне сами от себя составили приговор о том, чтобы у них была открыта школа, причем оказали бы содействие, отведя под школу участок земли, помогли бы при постройке, дали бы подвоза материалов, дали бы денег, дров и т. п. Мужики, пользуясь случаем, решили воспользоваться моим приездом и подвинуть к желательному для них исходу процесс, который у них давно тянулся с казною. Они мне говорили: «Тебе хочется построить училище. Мы тебе построим и школу, и церковь. А ты займись нашим делом!.. Вам, начальству, нужды народа нипочем» и т. п. При этом мужики старались ввернуть что-либо неприятное по адресу начальства. Я обещал вмешаться в то дело, о котором хлопотали крестьяне, и сделать что могу, если они помогут мне устроить училище. Тогда был составлен желаемый мною приговор. Дело, о котором просили меня крестьяне, началось еще в 1842 или 1843 году по поводу свободной земли, занятой крестьянами Ганькина и отнятой у них затем казною вместе с весьма ценным дубовым лесом. Исполняя мое обещание, я захватил у крестьян кучу до-

кументов, относившихся к их процессу, нашел адвоката, который взялся в Симбирске вести дело. Дело налаживалось, когда адвокат, пропустив какой-то срок по обжалованию решения, умер. Одним словом, дело осложнилось для крестьян так, что ничего не оставалось, как обратиться к монаршей милости. Но поданные на высочайшее имя прошения крестьян оставались до тех пор без ответа. Надо было во что бы то ни стало поддержать мой авторитет в глазах крестьян. С этой целью я и решил обратиться за содействием к К. П. Победоносцеву во время вызова моего в Петербург. Надо заметить, что крестьяне проигрывали дело благодаря тому, что своевременно не была ими представлена (пропущен срок) купчая крепость на землю, у них отыскавшаяся, которую они мне и вручили. Следовало восстановить срок на ее представление. Я посетил статс-секретаря Государственного совета Дерюжинского, который научил меня подать по этому поводу новое прошение от имени крестьян на высочайшее имя. Опасность для меня являлась со стороны министра государственных имуществ Ермолова, который мог не согласиться, не пойти на уступки. Конечно, вмешательство К. П. Победоносцева могло сыграть во всех этих осложнениях решающую роль. Явившись к Победоносцеву, я доложил ему в общих чертах сущность дела, то участие, которое я в последнем принимаю, о необходимости в селе Ганькине поддержать крестьян и т. п. Победоносцев, по указанию моему, написал письмо Ермолову. Но прежде чем написать письмо, Победоносцев колебался. Я попробовал заговорить о том, что не может ли он (Победоносцев) лично доложить государю об интересах крестьян-чувашей. На это Константин Петрович встал с кресла, подошел к шкафу, открыл его и, указывая на клетки, имевшиеся в шкафу для бумаг, тыкая в них пальцем, объяснил, что каждый министр, так сказать, сидит в такой клетке и вылезать из нее не смеет... «Вы думаете, что я могу что-либо сделать! — говорил Победоносцев.— Каждый министр должен знать свою клетку. И я тоже сюда, в эту клетку суйся. А в другую не суйся!» Победоносцев направил меня к директору департамента юстиции Хвостову, который ответил Победоносцеву, что заявления крестьян имеют основания. Не буду описывать дальнейший ход дела. Ни Ермолов, ни управляющий государственными имуществами Самарской губернии не мешали разрешению его в пользу крестьян.

Но все же дело это не удалось мне довести до благополучного для крестьян решения, так как помешал этому министр финансов Витте, дав заключение, что не согласен идти навстречу крестьянам. Это дело мне лично стоило более тысячи рублей, истраченных мной для получения плана, документов и т. п.

При моем участии выстроены были школы в селах Верхние Тимерсяны и Богдашкино (Симбирской губернии и уезда), а также в селах Акса, Чекурское, Чукалах, Большие Арабузи, Рунга, Норваши, Тугаево, Альшеево, Бюрганы, Алманчиково, в Кайсарове, Алгашах и еще в одном селе, названия которого не помню (все — Буинского уезда Симбирской губернии) [50].

Ильминский поручил мне устроить министерскую школу в селе Сиктерма для инородцев.

В Спасском уезде Казанской губернии, в верстах двадцати от села Алексеевского, имеется огромное село Бездна, в 1861 году принадлежавшее графу Мусину-Пушкину. Там после эмансипации имело место восстание крестьян. Для усмирения этого восстания прислали отряд в составе одной-двух рот под начальством флигель-адъютанта графа А. С. Апраксина. Крестьяне решились оказать пассивное сопротивление. На приказание разойтись огромная их толпа не трогалась с места. Вперед вышел старик-крестьянин с библией в руках и на основании ее стал доказывать, что действия властей незаконны. Когда долгие увещевания на бунтовщиков не подействовали, то по толпе велено было открыть огонь. В результате расстреляли, без суда, около семидесяти крестьян. Восстание было подавлено [51]. (По этому делу пострадал казанский профессор Щапов, служивший панихиду по убитым крестьянам и произнесший речь. Текст речи был передан мне, который я подарил сыну моему Алексею.) [52]

Подобное же восстание крестьян возникло в 1861 году в селе Алексеевском. Сюда был командирован с войсками для усмирения тот же граф Апраксин. Уже готовились начать расстрел возмущавшихся, когда к Апраксину явился священник А. В. Бузановский с вопросами: «В чем вина крестьян? Что от них требуется? За что в них хотят стрелять?» и т. д. Пользуясь своей популярностью и умением говорить с крестьянами, Бузановский предложил князю свои услуги в смысле переговоров с бун-

товщиками и их успокоения. Начальство на это согласилось. Бузановскому удалось урезонить крестьян, убедить их в необходимости повиновения властям. Все обошлось без кровопролития.

Шли ли навстречу моим преобразовательным начинаниям симбирское дворянство, земство, купечество, гражданские власти?

На это отвечу, что симбирское высшее дворянство, всегда считавшее себя чем-то особенным, родовитым, знатным, относилось ко мне, небольшому чиновнику, вышедшему из народа, свысока (что было мне подчас обидно), а моей чувашской школою совершенно не интересовалось, быть может, и потому, что было незнакомо с прошлым, жизнью, бытом и заброшенностью чувашского народа-племени. Первосортные, так сказать, симбирские дворяне считали себя носителями чего-то особенного, давали чувствовать недворянам, что они, дворяне, умны, ловки, являются слугами царскими и т. п. Симбирские же дворяне из тех, что были помельче, при случае или лягали меня, или глупо высмеивали. Одним словом, от дворянства я помощи никакой не видел.

Оказывали помощь чувашской школе некоторые симбирские купцы. Назову их: Александр Максимович Стрелков, Петр Андреевич Пастухов, Василий Матвеевич Булычев, Николай Яковлевич Шатров, Матвей Сахаров *. Одни из них шли мне на помощь сами, сочувствуя, веруя в меня как в деятеля; других мне приходилось расшевеливать, склонять к благотворительности. Так, например, Булычев помогал мне сам, а у Николая Яковлевича Шатрова можно было вырвать помощь, лишь заманив его в доброе дело перспективой чинов, наград и т. п. У него главным двигателем при благотворительности являлось честолюбие. У Булычева имелась лавка с железом, из которой он отпускал мне при постройках по чувашской школе в кредит железные материалы, получая за них плату впоследствии. Как стоявший во главе общества взаимного кредита, он привлекал собрания этого общества к пожертвованиям, причем и сам, конечно, жертвовал.

От земства я видел мало помощи и поддержки. Были

---

* Отец врача Ивана Матвеевича Сахарова, принесшего мне столько огорчений печатанием обо мне клеветнических статей. *(Прим. И. Я. Яковлева).*

там отдельные лица, мне сочувствовавшие, но это сочувствие создавалось мною, искусственно, часто с разного рода уловками, сноровками. Приходилось располагать земских деятелей. Вообще в Симбирске не было и нет знатоков чувашского дела. Успех в земских сферах зависел всегда от личных моих отношений и связей. Как только школа стала получать некоторую популярность, появились зависть и противодействие. А вырвать удавалось пустяки. Буинское земство оказывало мне иногда кое-какое содействие, так как я был хорош с Александром Андреевичем Головинским, игравшим роль в Буинске в качестве гласного в земстве. Отдельные же земские деятели, как например, недавно скончавшийся Михаил Федорович Бонч-Осмоловский, не скрывали к моим начинаниям отчасти враждебного, отчасти презрительного отношения. Для того, чтобы охарактеризовать отношения мои к земству, приведу следующий случай. В Симбирске (если не ошибаюсь, в годах с 1881 по 1882) председателем губернской земской управы был Николай Дмитриевич Пазухин, в чувашском вопросе мне сочувствовавший. Он когда-то служил на военной службе. Отличаясь тонким умом, большим образованием, он выказал себя как энергичный земский деятель. Но и его приходилось подготовлять, располагать, заинтересовать... И тут все зависело от моих личных связей и отношений.

В 1876—1877 годах были возбуждены мною перед симбирским губернским земством два ходатайства: 1) об ассигновании ежегодного пособия в 500 рублей на преподавание воспитанникам столярного ремесла и 2) об учреждении 15 стипендий в 90 рублей каждая; всего 1140 рублей на поддержание в школе мальчиков, по примеру Порецкой учительской семинарии (Алатырского уезда Симбирской губернии) [53]. В 1876 или 1877 году в губернском земском собрании постановлено было все это выдавать в мою школу, но ничего не выдавали. Все же тут был налицо некоторый успех, которому я обязан следующим образом. Надо было найти влиятельную поддержку в среде земских деятелей, т. е. протекцию, для того чтобы добиться результата не на бумаге, а на деле. В это время жил в Симбирске приехавший на губернское земское собрание в качестве гласного этого собрания профессор Московского университета Федор Михайлович Дмитриев, барин, имевший в Сызранском уезде Симбирской губернии имение, а потому считавшийся симбирянином. Я

был тогда еще холостым, жил в доме Данилова, а Дмитриев в номерах коммерческой гостиницы. Долго я ломал голову над вопросом, как подойти к Дмитриеву, которого я лично совсем не знал. К этому времени Дмитриев покинул Московский университет. Я же тогда уже два года как окончил университет Казанский. И вот на том лишь странном основании, что мы оба были в университетах, притом различных, на разном положении, я решил основать мое знакомство с профессором. Узнав предварительно, когда его можно застать дома, отправляюсь к Дмитриеву рано утром. Нахожу его пьющим кофе. Рекомендуюсь. После разговора на общие темы говорю: «Вы, Федор Михайлович, недавно были профессором. А я недавно был студентом. Позвольте же мне обратиться к вам за помощью по делу, как студенту к профессору!» «В чем же ваше дело?» — любезно спрашивает меня Дмитриев. Я рассказываю ему о бедном чувашском народе, об основанной мною в Симбирске, нуждающейся чувашской школе, о моем ходатайстве, которое я возбудил перед губернским земским собранием, которое вопрос этот будет рассматривать в предстоящую сессию, и т. д. «Будьте добры,— говорю,— помогите!» Профессор Дмитриев, видимо, заинтересовавшийся и мною, и школой, обещал оказать мне содействие. «Будет сделано так, как вы просите»,— говорит он. И, действительно, он поддержал мое ходатайство. Решено было все выдавать *, но решение это осталось лишь на бумаге. Через год или два настало новое губернское земское собрание, но Дмитриева в Симбирске не было. Приходилось у другого лица искать протекции. Я возобновил ходатайство и решил обратиться за содействием к А. А. Головинскому (бывшему тогда буинским гласным, а может быть, и буинским уездным предводителем дворянства). Опять все рассказываю ему с начала. Ставлю прямо вопрос: «Как получить мне деньги?» Головинский говорит: «Ваш враг — Алексей Ильич Пантусов. Его надо как-нибудь удалить». Пантусов был умный, деловой, влиятельный гласный (председатель симбирской губернской земской управы до Пазухина). «Если упадет этот топор,— говорит Головинский,— то все срубит». «Как же,— спрашиваю,— его подкупить?» «Заинтересую Пантусова»,— отвечает Головинский. К слову сказать, я был знаком с Пантусовым, знал,

* 1440 рублей.

что он чувашам не сочувствует. Потом Головинский мне рассказывал, что, подойдя к Пантусову и в общих чертах изложив ему суть дела, он сказал ему, что не просит его о содействии, а лишь о том, чтобы он молчал. Пантусов действительно промолчал; состоялось новое, благоприятное для школы, решение, и деньги стали выдаваться. Когда вопрос был разрешен в желаемом мне смысле, я подошел к Пантусову и поблагодарил его «за молчание». Вот как трудно было что-либо провести в симбирском земстве!..

Что касается до моих сношений с рядом симбирских губернаторов, то и тут отношение ко мне и к чувашскому делу было по большей части равнодушное, безразличное. Требовался нажим свыше, чтобы увидеть содействие, сочувствие.

Надо заметить, что по мере того, как я получал значение и популярность между чувашами, мне приходилось иногда, выйдя за рамки интересов только одной чувашской школы, вмешиваться в дела и интересы не только чувашского населения вообще, но и отдельных чувашей. Отсюда возникала необходимость искать закона, правды, поддержки у симбирских губернаторов.

Во время губернаторства Николая Павловича Долгово-Сабурова * получил большую популярность среди местных крестьян, русских и чувашей, своим взяточничеством один из волостных писарей Курмышского уезда Шмыров. Подобная деятельность его тянулась приблизительно с 1875 по 1890 год. Мне известны были случаи взяток его с чувашей. Я решил указать на них Долгово-Сабурову. Задевая Шмырова, я касался взяточничества Назарова, бывшего в городе Курмыше секретарем разных учреждений, имевшего вес и влияние, а потому прикрывавшего разные темные дела. Все волостные писари, сами бравшие взятки, были в руках его орудием и делились с ним полученным. Едва я кончил мое сообщение губернатору, как он стал возражать, говоря, что для подобных обвинений нужны неопровержимые документальные доказательства, что он хотя и благодарен мне за указание на злоупотребления, но что он бессилен, не может вмешаться в дело и т. п. Так из моего доклада результата не вышло.

---

* Был симбирским губернатором с 1879 по 1886 г. *(Прим. И. Я. Яковлева).*

В Симбирске был у меня добрый приятель, преподаватель симбирского кадетского корпуса Алексей Прокофьевич Покровский. В свою очередь, он был в близких отношениях только с симбирским губернатором Владимиром Николаевичем Акинфовым. Они знали друг друга с детства. У Покровского мне приходилось встречать Акинфова. Как-то я в разговоре сообщил губернатору о том, что чувашская школа плохо обставлена. Акинфов и говорит: «Я могу вам помочь». В те времена губернаторы представляли государю императору два всеподданнейших отчета, причем во втором обращали высочайшее внимание на более важное. «Дайте мне материалы о школе. А я включу школу в отчет»,— говорит Акинфов. Тогда шел вопрос об образовании чувашских женщин. При чувашской школе имелось уже отделение и для девочек, но оно не прививалось. Упомянул Акинфов в отчете и обо мне, о моей деятельности. (Государь против этого места отчета сделал отметку о наведении справок в Министерстве народного просвещения. Запрос по инстанциям дошел до меня.) Я дал справки. Но из всего этого тоже ничего не вышло. Попечителем Казанского учебного округа тогда был Василий Александрович Попов, который, догадавшись, что Акинфову напомнил о чувашской школе я, был, видимо, мною недоволен. Через год Акинфов вызывает меня и говорит, что опять хочет напомнить в высочайшем отчете о Симбирской чувашской школе. Чтобы не раздражать Попова, мы согласились сделать так: губернатор сделает мне запрос о школе и сообщенные мною сведения включит в отчет. Так мы и сделали. А я донес, на всякий случай, Попову о том, что по требованию губернатора дал о школе справки. Попечитель шлет мне запрос о том, на каком основании я помимо учебного округа дал сведения о школе. Между тем Акинфов включил справки обо мне и школе во всеподданнейший отчет. На этот раз никакой высочайшей отметки не последовало. Попов же все не верил моим объяснениям, что в истории с донесением о школе я ни при чем. На самом деле в интересах школы я тут схитрил [54].

Равнодушие административного, делового Симбирска и общества к чувашской школе сказалось довольно наглядно в 1908 году на сорокалетнем юбилее школы, который совпал с сорокалетием и моей деятельности по школе. Многим разосланы были приглашения, но некоторые

не явились. Не помню, был ли губернатор. Вообще на школу не принято было обращать внимание. Я ею мозолил всем глаза... Относительно же того, как смотрела на мои труды и чувашскую школу интеллигенция, видно из тех процессов, которые по личному моему почину или по распоряжению моего учебного начальства (т. е. Деревицкого и с. с.*Погодина) я должен был начинать в период времени с 1906 по 1908—1910 годы в защиту личной моей чести и репутации вверенного мне учебного заведения. Были недовольные и в стенах чувашской школы, и среди неблагонадежных, шатких, распущенных воспитанников, вышедших из школы и прошедших через духовную семинарию. Человек пять из этих чувашей стали печатать против меня клеветнические статьи в симбирской и казанских газетах. Между прочим, в газете «Симбирские вести» (№№ 168, 169 1906 года) была перепечатана из казанской газеты «Волжский вестник» статья «О двух генералах», в которой клеветнически высмеивалась деятельность моя и архиепископа Гурия. Так как издателями газеты были доктор Иван Матвеевич Сахаров и купец А. П. Балакирщиков, а редактором газеты «Симбирские вести» — Миллер, то я всех троих привлек за клевету к судебной ответственности [55].

Несмотря на трудность посадить на скамью подсудимых клеветников (благодаря несовершенствам существовавших тогда законов о клевете в печати), мне пришлось провести победоносно во всех судебных инстанциях, вплоть до сената, около десяти процессов, причем мои враги — редактор и издатели — были присуждены к разным наказаниям, даже к тюрьме на шесть месяцев. Процессы эти обращали на себя внимание в столичной печати, стоили мне больших затрат времени, энергии и денег (в общем обошлись мне в 2500 рублей). Трудность борьбы увеличивалась еще и оттого, что редакции скрывали авторов статеек-пасквилей, постоянно закрывались администрацией и сейчас же возрождались под другими кличками, а стоявшие во главе их ловко прятались или заявляли о том, что они главных ролей в газетах не играют...

Для характеристики отношений моего начальства Казанского учебного округа к этой травле могу привести

---

* Статского советника.

такой случай. Один из пасквилей, направленных против меня и порочивших меня как человека и должностного лица (название его теперь не помню), был напечатан отдельной брошюркой. Мало того, брошюрка оказалась помещенной в циркуляре по Казанскому учебному округу, в приложении, в числе образцовых произведений русской словесности, которые приобретены были в музей при округе [56]. И этого еще мало. Мне было сообщено учениками Симбирской чувашской школы о том, что эта мерзость распространяется по Буинскому уезду тамошним инспектором народных училищ Касаткиным.

Получилось, таким образом, довольно щекотливое положение для Казанского учебного округа: Погодин приказывает мне возбудить уголовное преследование против автора статьи-брошюры по обвинению его в клевете, как бы тем не доверяя клеветнику. И в то же самое время он же в официальном циркуляре по округу, во главе которого стоит, рекомендует упоминаемый пасквиль как образцовое произведение русской литературы, достойное быть распространяемо с педагогически-воспитательными целями.

В статье «О двух генералах», подписанной псевдонимом «Симбиряк», напечатанной первоначально в «Волжском вестнике» в 1906 году (№№ 181, 183) и перепечатанной затем в №№ 168 и 169 газеты «Симбирские вести» в том же году, издававшейся доктором Сахаровым под редакцией А. Б. Миллера, изображены были я и преосвященный симбирский Гурий, хотя и не названные настоящими именами, но под такими недвусмысленными намеками, что не оставалось сомнений, что речь идет именно о нас. В статье говорилось о том, что я присвоил средства, кем-то пожертвованные на Симбирскую чувашскую школу, присвоил себе участок земли, будто бы отведенной Симбирской городской думой под школу, что выстроенный на чужой земле дом и присвоенный на началах какой-то давности земельный участок были проданы мною за 26 тысяч рублей «ведомству христианского затемнения» [57], что деньги я скопил незаконно, путем сокращения содержания учеников и учениц с 50 рублей в год до 40 и 30 рублей, отчего ученики и ученицы голодали целых пять или шесть лет, спали на грязном полу, наживали всевозможные болезни, делались жертвами туберкулеза и сходили в могилу.

Подробно сообщалось о том, как я («Ванька Беше-

ный») «оборудовал новое мошенничество, по своей дерзости превосходящее самые сильные ожидания», а именно: при «благосклонном участии и отменном содействии дяди Гурьяна» (т. е. архиепископа Гурия) и его «божественной племянницы» продал «ведомству христианского затемнения» «построенный на чужой земле дом и присвоенный на началах какой-то гражданской давности» земельный участок за 26000 рублей, причем по случаю удавшегося мошенничества мною и Гурием было устроено такое торжество и было выпито так много «шампанского и других заграничных вин», что и я, и архиепископ Гурий «целых трое суток валялись в постели» и принимали посетителей чуть ли не в костюме Адама. Далее описывались последствия нашего пьянства и т. д. Чуваши были представлены под названием «чухонцев», чувашская школа названа «рассадником чувашских божков и богинь». Говорилось и о том, как я, служа «богу тьмы и невежества», добился того, что имел «чины, ордена, благодарности, парниковые арбузы, тонкие вина и заграничные воды»,— словом, все, что может доставить счастье людям «развращенного желудка и праздного ума и воображения...».

Первый раз дело * разбиралось в Симбирском окружном суде в ноябре 1907 года. По просьбе моего сына, в то время приват-доцента Московского университета Алексея, в качестве защитника моих интересов согласился выступить знаменитый «московский златоуст» Федор Никифорович Плевако. Но ему почему-то приехать в Симбирск не удалось. Вместо себя он выслал своего помощника Минятова. В качестве другого защитника моих интересов (частного обвинителя) выступил в Симбирском окружном суде мой сын Алексей, который там говорил речь, по словам слышавших ее, очень удачную. Сам я в суде не был, так как сын просил меня, чтобы я не стеснял его моим присутствием.

На суде и сын мой, и помощник присяжного поверенного Минятов заявили о прекращении уголовного преследования против Балакирщикова.

Симбирский окружной суд после разбора дела 23 ноября 1907 года признал виновными в клевете (1535 статья Уложения о наказаниях) Миллера как редактора и

* О клевете.

Сахарова как издателя и, смягчив им наказание ввиду наличности признанного судом «легкомыслия», присудил их к аресту при тюрьме — Миллера на один месяц, а Сахарова — на две недели. Но осужденные обжаловали этот приговор, и дело разбиралось в том же окружном суде вторично — 18 марта 1908 г. На этот раз в заседание явились оба обвиняемые, причем (как это занесено было в протокол) Миллер заявил, что, перепечатывая статью «О двух генералах» из «Волжского вестника», он будто бы не знал, что в ней говорится обо мне, Яковлеве, что когда он узнал об этом, то очень сожалел о случившемся, так как был обо мне совсем иного мнения. Это видно, по его словам, из того, что вскоре после первой статьи обо мне в газете «Симбирские вести» была помещена обо мне же другая статья, с совершенно другой моею характеристикой, которую он не напечатал бы в своей газете, если бы был дурного обо мне мнения. Сахаров же объяснил, что он не состоял редактором газеты «Симбирские вести», а лишь заведовал хозяйственной частью газеты по ее изданию, во время напечатания статьи «О двух генералах» находился не в Симбирске, а в Москве, о статье якобы ничего не знал, пока ее не показал ему сын мой (Алексей), что он, Сахаров, даже был огорчен случившимся, так как был обо мне иного мнения.

Разобрав еще раз дело, суд, поверив заявлениям Сахарова, его оправдал. Миллера же вторично признал виновным в клевете, присудив его к двум неделям ареста при тюрьме.

Затем дело было перенесено мною в Казанскую судебную палату с целью добиться осуждения доктора Сахарова. Но палата в 1910 году оправдала его. Мой поверенный (Миролюбов) подал в сенат кассационную жалобу на этот приговор, которую сенат оставил без последствий.

В июне 1908 года преподававший в Симбирской чувашской школе чистописание (ныне умерший) Федор Данилович Данилов, чуваш, подарил мне собственноручное письмо Гаврилы Федоровича Федорова *, написанное ему, как видно из имеющейся на нем даты, 14 апреля 1908 года, в котором Федоров, сознаваясь в том, что автором пасквиля «О двух генералах» был он, рассказывает

* Более известен под фамилией Алюнов.

в свое оправдание о том, при какой обстановке была наспех состряпана им статья. Он пишет: «За день до появления этого фельетона были внезапно арестованы все ответственные сотрудники «Волжского вестника», за исключением г-жи Знаменской и меня. Мы уже второй № составляли с ней вдвоем. Была суббота. Я работал с утра, как вол: делал вырезки, правил хронику, написал передовицу, принимал посетителей. Голова не мыслила, а горела. Около двух часов пополудни вошла в редакторскую комнату Знаменская и заявила: «А ведь у нас для праздничного номера фельетона, кажется, нет?» (Привожу ее слова, конечно, приблизительно.) И у меня с быстротой молнии создался план фельетона, которому суждено было получить и громкую, и печальную известность. Я ей сказал, что фельетон будет, и приблизительно часа в полтора написал то, что было помещено в воскресном номере. До сдачи в набор никто, кроме меня, не знал, о чем я написал, так как я пользовался полным доверием Знаменской. Последняя читала при сводке и осталась очень довольна. На другой день уже с утра стоял около «генералов» шум. Я перечел написанное «попечатному» со свежей головой и тут только понял, какую кашу я заварил. Оказалось, вместо фельетона получился у меня «непристойный пасквиль». (Так назвал его в письме Ал. Ив -ич. *) Публика была в восторге, в том числе и Знаменская, которую я в этот день случайно встретил в столовой. Но мне, ей-богу, было не до восторга. А закончил я свой фельетон в понедельник уже главным образом потому, что надо было начатое кончить. Я признаю, что в этом фельетоне вылилась та желчь, которая скопилась у меня за лето под влиянием слышанного о подвигах Яковлева до продажи дома с участком включительно. Но, находясь в нормальных условиях, я изложил бы свои мысли, вероятно, иначе. Факт, что я отказался перевести свой фельетон на чувашский язык и пустить в «Хыпаре»,** ручается за это в достаточной степени. Примите все это во внимание и судите, насколько я в этом случае виновен и насколько «грязна» эта «каша».

---

* Сын И. Я. Яковлева.

** «Хыпар» — по-чувашски значит «Весть» (газета, издававшаяся в Казани). *(Прим. И. Я. Яковлева).*

Далее в том же письме Федоров пишет: «Мое письмо в редакцию «Народных вестей» увидело свет только по недоразумению, а приложение к нему исключительно по недосмотру редакции и без моего на то согласия. Произошло это следующим образом. Когда я узнал о том, что на 18 марта назначены к вторичному разбирательству дела Як-ва с симбирскими редакторами, я, как автор двух инкриминируемых вещей и, следовательно, нравственно обязанный помочь людям, оказавшим мне доверие, сообщил то, что уже опубликовано. Но, сообщая разъяснения к фельетону и статье «Сплошная драма», я разрешил им напечатать только письмо, но ни в каком случае не приложение к нему — причем в том лишь случае, если они найдут это нужным и полезным. Из отчета о заседании суда я вижу, что такой надобности не было, так как и редактор, и издатель отрицали сознательное отношение к фельетону. Произошло, значит, явное недоразумение. А каким образом редакция могла опубликовать приложение — для меня неразрешимая загадка. Дело в том, что по установившемуся обычаю всякая ответственная вещь, представляемая для печатания, сопровождается указанием на источники и комментариями, причем эти источники и комментарии составляют безусловную редакционную тайну и ни в коем разе не могут быть опубликованы. Но в данном случае произошло нечто нелепое и, конечно, вся ответственность за это пала на меня. Понять смысл происшедшего может всякий, знающий толк в газетном деле. Но искать этого понимания в людях, задетых приложением, не приходится. По получении № с письмом и приложением я был поражен, как ударом молнии, и тотчас послал в редакцию резкое письмо с просьбой напечатать соответствующее заявление. Но до сих пор никакого заявления я не вижу. Я послал также и «Мой ответ И. Я. Яковлеву». Если и то и другое не будут напечатаны, то я, конечно, прерву всякие сношения с этой редакцией, способной на оплошность, граничащую с подлостью...».

Г. Ф. Федоров, чуваш, бывший воспитанник Симбирской чувашской школы, по окончании Симбирской духовной семинарии окончил курс Ярославского Демидовского лицея. Из Ярославля в 1905 году он переехал в Казань, куда из Симбирска переселилась Знаменская, участвовавшая в газетном против меня походе. Тут единомышленники спелись. В прошлом (1917) году Федоров

снова появился из Ярославля (где жил) в Казани. Он попал членом в Учредительное собрание от чувашей по Казанской губернии. Я его не так давно встретил в Казани и в разговоре упомянул о том, что у меня в руках имеется его секретное письмо к покойному Данилову, упоминаемое выше. Федоров возмущался таким поступком своего старого приятеля. По дошедшим до меня слухам, Федоров недавно записался в Народную армию[58], т. е. борется против большевиков за «Учредилку». Ему теперь, должно быть, лет 40. Какая постигла его судьба — не знаю. Вероятно, бежал, где-либо скитается. В общем, это дрянненький, хотя и способный человек.

Вот с какими писателями, врагами мне приходилось сталкиваться!..

VII

Вы спрашиваете о моих начальниках — попечителях Казанского учебного округа.

Василий Александрович Попов, у которого в доме я не бывал. Как я уже упоминал, он был недоволен мною за то, что я давал помимо Казанского учебного округа симбирскому губернатору Акинфову сведения о чувашской школе для высочайшего доклада. У Попова были и хорошие качества, как у педагога, и странности, как у человека. Бывая в чувашской школе, он удивительно находчиво задавал вопросы ученикам, так, что умел обнаружить их знания, их понимание пройденного курса. К странностям Попова относилась и его своеобразная денежная расчетливость. Это обнаруживалось во время моих поездок с ним по школам. Попов, не доверяя мне, ездил со мной по школам Симбирского, Буинского, Тетюшского уездов дня три-четыре. Ездил он главным образом по школам в русских селениях, попутно посещая школы в селениях, где преобладали чуваши. (Эта поездка имела место тогда, когда ферма чувашской школы арендовалась у Симбирского общества сельского хозяйства.) Признаться, поступки Попова и до сих пор, как и тогда, для меня непонятны. Например, просит заранее приискать ему квартиру в Симбирске. Имея в виду высокое служебное положение моего начальства, я занимаю для Попова номер в лучшей Троицкой гостинице, ценою в 10 рублей. «Дорого!» — говорит он, приехав, и отказывается.

Ферма школы была верстах в девяти за городом. Я нанимаю для Попова экипаж — туда и обратно. Он как бы не замечает этого — и плачу за экипаж я из моего кармана. Поехали до Тетюш на лошадях. Под коляску Попова впрягли тройку почтовых лошадей. А я заказывал себе пару. Сопровождали попечителя директор народных училищ Ишерский и инспектор народных училищ Симбирского уезда Анастасьев. Под моей парой — мой собственный дорожный экипаж, который я употреблял при объездах школ. Поездка происходила в августе или сентябре. Попов брал к себе в экипаж по очереди меня, Ишерского и Анастасьева — чаще меня, на что они обижались. Ему скучно было ехать одному, и по дороге он в беседах с нами знакомился. Я заранее устроил по пути удобные ночевки для Попова и его спутников в имениях помещиков Михаила Федоровича Белякова и Зимнинского. На третью ночь ночлег пришлось делать в Тетюшах, на заранее приготовленной квартире. При этом клопы ночью заели меня и мое начальство. Пришло время расчета за квартиру и лошадей. У Попова под экипажем три лошади, а у меня лошади, которые напрасно почти все время тащили пустой мой экипаж, так как я ехал с Поповым. Попов мудро решил этот вопрос: разделил за тройку лошадей его между нами пополам, а про мою пару и свой экипаж точно забыл, так что за все это я уплатил один.

Вообще он относился ко мне вежливо. А тем не менее и он искал во мне «сепаратиста». После объезда со мной русских и чувашских селений Попов написал в отчете, посланном в Министерство народного просвещения, что «русские и чуваши идут ухо в ухо», т. е. в образовательном отношении не отстают друг от друга. Главным образом были мы с ним в так называемых «отступнических» деревнях — в Тимерсянах (всех трех), в Алгашах (Старых и Средних), в Кайсарове. Потом, составляя отчет по этой командировке, Попов, делавший во время пути записи, умудрился перепутать названия местностей, сел и деревень.

Михаил Мартынович Алексеенко приезжал в Симбирск для ревизии чувашской школы, ревизовал ее (мужское и женское отделения) основательно, дельно. Ко мне относился хорошо. Это был дельный ученый, выдающийся администратор.

Сергей Федорович Спешков — тот самый, который в 1893 или 1894 году временно управлял Казанским учеб-

ным округом, секретно собирал у архиепископа симбирского Варсонофия сведения о моей политической благонадежности, а потом приславший в Симбирск Свешникова, искавшего следов насаждаемого мною в чувашской школе «сепаратизма». Спешков мне предлагал должность то директора учительской семинарии, то должность директора народных училищ. Но я отказывался, не желая рвать связь с чувашской школою.

Приехав в Казань, Спешков уже в 1893—1894 годах занялся травлей восточных инородцев, не зная совершенно ни быта их, ни их миросозерцания. Как многие чиновники, служившие на западной окраине (Спешков служил ранее в Рижском учебном округе), и Спешков всюду видел сепаратизм, стремление народностей, входящих в состав России, к самостоятельности и т. п. (На этом в те дни делали себе карьеру.) Проводить свои взгляды в жизнь Казанского учебного округа, населенного восточными инородцами, Спешков старался в те периоды службы, когда за отъездом попечителя оставался его заместителем. Спешков был враг системы Н. И. Ильминского и стоял за обрусение инородцев путем введения в школы русского языка, причем находил, что при такой системе не нужны учителя-инородцы, и требовал, чтобы русские учителя были знакомы с языком тех восточных народностей, с которыми соприкасались по работе в школах.

Так как я оставался и остаюсь верен системе Н. И. Ильминского, то, само собою разумеется, мне пришлось столкнуться на этой почве со Спешковым.

После моего объяснения со Спешковым по поводу его сношений насчет меня с архиепископом Варсонофием (на мой вопрос Спешков отмолчался) он приехал ревизовать чувашскую школу и, надо думать, с целью найти что-либо нелегальное у воспитанников школы в мое отсутствие лично произвел в вещах их обыск, при котором ничего обнаружено не было.

Затем Спешков временно покинул Казанский учебный округ и в 1902 году вернулся в Казань уже попечителем Казанского учебного округа.

Сейчас же поднят был им вопрос об упразднении занимаемой мною должности окружного инспектора чувашских школ Казанского учебного округа. Об этом я ничего не знал до того времени, когда упразднение должности состоялось, т. е. когда вопрос прошел по всем инстанциям

и мне о том лично, с злорадством, объявил Спешков — настолько все дело держалось от меня в секрете. Мне пришлось взять только что учрежденную тогда должность инспектора одной лишь Симбирской чувашской школы, что значительно уменьшило мое содержание. Кроме того, такая служебная перемена временно отразилась и на моей общей просветительно-инородческой деятельности. Тут был прислан для ревизии в чувашскую школу окружной инспектор Свешников, о ревизии которого и ее судьбе мною будет вам рассказано ниже в связи с ревизией, произведенной в чувашской школе профессором Будиловичем и Износковым. Свешникова я знал еще по Симбирску, был знаком с ним домами. Тем не менее, приехав на этот раз в качестве ревизора, посланного Казанским учебным округом (попечителем округа С. Ф. Спешковым), Свешников, к моему изумлению, принял относительно меня начальственный тон, обошелся со мною грубо, вызывающе, стал придираться к мелочам. Свешников усмотрел отсутствие с моей стороны воспитательного такта. В свою очередь, я заметил ему, что считаю посылку им воспитанника чувашской школы к нему в номер гостиницы за забытым портсигаром непедагогическим поступком. Приехав в школу, Свешников, прежде чем зайти ко мне, пошел в спальни к воспитанникам. Мало того, он собрал совет чувашской школы и пристал к наставникам школы с вопросом о том, какие за мною водятся злоупотребления и беззакония. Хотя наставники и не дали ему желательных против меня обвинений, Свешников в отчете своем нагромоздил против меня кучу всякого рода обвинений, в том числе и в денежном отношении. Казанский учебный округ, не спросив моих объяснений, отчет Свешникова представил в Министерство народного просвещения в виде какого-то неопровержимого, документально доказанного, обвинительного против меня, акта. Все же мне повезло в том отношении, что тогдашний министр народного просвещения генерал Глазов предъявил мне взведенные против меня обвинения — и я мог защищаться. На докладе о ревизии и моем ответе министр Глазов положил характерную резолюцию: «Вижу, что все это просто кляуза».

Ревизия Свешникова, несомненно, имела связь с поездкой по чувашским школам Софьи Васильевны Чичериной. (Родной брат Чичериной — Чичерин ныне состоит министром иностранных дел в составе советского прави-

тельства и принимает участие в Генуэзской конференции.) Про эту поездку как-то узнали в Казанском учебном округе и, с целью отыскать что-либо меня компрометирующее, послали в Симбирск Свешникова.

Тайный советник Деревицкий (имя-отчество его не помню) сначала относился ко мне будто бы хорошо. Потом под влиянием своего помощника Петра Дмитриевича Погодина (к слову сказать, стяжавшего себе в Казани славу распутством) тоже усмотрел в моей деятельности признаки «сепаратизма».

Деревицкий был неглупый человек. Он мне неоднократно предлагал директорство в Казанской учительской семинарии (должность инспектора чувашских школ была упразднена в 1902 году * по представлению попечителя Спешкова).

Кульчицкий Николай Константинович, по моему мнению, вообще учебного дела не знал, производить ревизии не умел. Когда-то он был профессором гистологии в Харькове. Он был в хороших отношениях еще по Харькову с министром народного просвещения Кассо.

Я рассказал выше о приезде в Симбирск Кассо, об обеде в честь его у губернатора Ключарева и неудовольствии, которое вызвало в Кульчицком внимание, мне оказанное министром. Дополню это подробностями, характеризующими Кульчицкого.

Проводив Кассо до Перми, Кульчицкий вернулся в Симбирск по дороге в Бугульму, где хотел быть. В Симбирске к его ожидавшемуся приезду я подготовил около десяти серьезных докладов. Пока я делал доклад Кульчицкому, Деревицкий и еще другой, Андронников, бывшие у Кульчицкого в комнате, удалились, и мы с ним остались глаз на глаз. Начался мой доклад. Он происходил в такой оригинальной обстановке. Я излагаю Кульчицкому сущность дела. А он ни с того ни с сего, не слушая доклада, почти обыкновенным тоном, не повышая голоса, говорит мне: «Выгнал бы я вас через две недели...» Я подаю ему второй доклад — то же невнимательное ко мне отношение, тот же тон и те же слова: «Выгнал бы я вас через две недели». Подаю третий доклад — то же самое. Тогда я говорю Кульчицкому: «Что же вы не делаете?! Делайте! Выгнать меня вещь немудреная... Выгнать

* Неточность. Указанная должность была упразднена в 1903 году.

какого-то инспектора чувашских школ нетрудно при вашем положении попечителя учебного округа. Вы — попечитель и не можете меня выгнать!» «У вас,— говорит он,— есть связи». (Вероятно, он знал про участие во мне Чичериной, Нарышкиной и других влиятельных лиц.) На том все и кончилось.

Но по службе у меня вышло с ним (и другими, служившими при нем в Казанском учебном округе) несколько столкновений, между прочим, на почве гонения на чувашский язык в Симбирской чувашской школе. Для характеристики этой стороны моей педагогической работы приведу следующий факт, ярко характеризующий отношение ко мне и к школе педагогического начальства.

О попечителе Кульчицком в общих чертах я упомянул выше. Две другие личности, участвовавшие в этой, довольно-таки грустной, истории — инспектор народных училищ Касаткин и председатель Буинского уездного училищного совета, уездный предводитель Теренин, сами по себе настолько ничтожны, что о них и говорить-то не следовало, если бы не имелось их подписи на документах. Тем не менее, Теренин как сын симбирского губернатора, имевшего связи, был камер-юнкером, а затем даже вице-губернатором, несмотря на то, что его можно было охарактеризовать двумя словами: «мерзавец, идиот».

Что касается до сделанного мне попечителем Кульчицким замечания за то, что я будто бы неправильно присвоил себе звание почетного блюстителя Кошкинского и Чекурского училищ, могу заметить, что такое замечание было неправильным, так как я тогда таким блюстителем состоял, на что до сих пор имею письменные доказательства. Но я ими в то время не пожелал воспользоваться, почему и не возражал, как не продолжал и борьбы за чувашский язык в чувашских школах, считал ее при существовавших тогда бюрократических порядках бесплодной...

Вспомнился мне приезд в Симбирск Кассо и Кульчицкого — полная противоположность в их наружности. Кассо был крупный, здоровый мужчина с большой головою и огромными ногами, ступавший ими, точно слон, а Кульчицкий — маленький, толстенький, пузатенький.

После Кульчицкого попечителями Казанского учебного округа были Базанов (с год), Ломиковский (профессор, доктор), производивший в 1916 году ревизию в Симбирской чувашской школе, и Любомудров (это был по-

следний попечитель в эпоху, наступившую после свержения монархии).

Кроме ревизий, производившихся всеми перечисленными попечителями Казанского учебного округа, чувашская школа ревизовалась еще особо командировавшимися от округа лицами.

Невольно вспоминаешь и эти приезды, связанные лично для меня с разными неприятностями и осложнениями.

Пока во главе округа стоял Деревицкий, помощником ему был назначен статский советник Погодин Петр Дмитриевич — человек, ничего из себя особенно не представлявший, развратный, фальшивый, мелкий, в инородческом вопросе мало смысливший, выдвинувшийся по службе лишь благодаря тому, что приходился родным племянником государственному контролеру Терентию Ивановичу Филиппову. Мать Погодина и жена Т. И. Филиппова были родные сестры. П. Д. Погодин был назначен на должность помощника попечителя Казанского учебного округа в 1909 году и сейчас же, по приезде, объявил, что он поклонник и ученик бывшего попечителя Спешкова. Этим заявлением определялось все официальное отношение Погодина к инородческому вопросу в общем, в частности же к моей чувашской школе. Приезжая в Симбирск, Погодин был со мною любезен, внимательно относился к моим заявлениям. Я не придавал веры его словам и поступкам. Знал его фальшивость. Но делать мне особых неприятностей он не мог. Так продолжалось все время, пока Погодин являлся в чувашскую школу в качестве ревизора (в 1910 и 1911 годах). Тут попечитель Деревицкий был отвлечен от управления округом поездками служебного характера, и в конце 1911 года, а также в 1912 году обязанности его стал исполнять Погодин. Последний, усмотрев в моих трудах сепаратизм, стал делать мне всевозможные препятствия в моих начинаниях, употребляя для этого старую бюрократическую систему игнорирования моих представлений по чувашской школе или задерживания ответов по ним в течение многих месяцев, что вредно отражалось на текущей жизни учебного заведения. Погодин не только лично мне назвал мою деятельность проникнутой духом сепаратизма, но в этом направлении восстановил против меня и нового попечителя округа д. с. с. Кульчицкого, что я и заметил при первом же представлении последнему в разговоре с ним.

Карьера Погодина по Казанскому учебному округу

окончилась скандалом на почве его развращенности. К слову сказать, Погодин, ревизуя дважды чувашскую школу, никогда никаких замечаний принципиального характера мне не делал.

Особый след в летописях чувашской школы оставил приезд сюда в сентябре 1913 года на ревизию, по приказанию т. с.* Кульчицкого, д. с. с. Богоявленского.

По поводу этого отчета на основании устного приказания министра народного просвещения графа Павла Николаевича Игнатьева я в июне 1915 года представил ему подробные объяснения. Но этого оказалось недостаточным. От меня дважды требовались министерством дополнительные объяснения.

По приезде в Симбирск Богоявленский начал с того, что явился ко мне в квартиру и, когда я вышел к нему в прихожую, грубо объявил мне, что он прислан на ревизию в чувашскую школу. Ввиду его тона мне ничего более не оставалось, как заметить ему: «Здесь я живу». «Мне нужно в классы»,— тем же тоном продолжал ревизор. Тогда я указал ему, где находятся классы, а затем и сам вышел в школу. Ко мне он более не заходил, и я его к себе не приглашал.

Трудно себе представить другое, подобное же скопление лжи и ненависти, как то, которое представляет из себя отчет Богоявленского. Богоявленский даже позволил себе бросить на меня необоснованную тень в отношении составлявшейся мною по школе денежной отчетности.

К числу неудачных нападений, сделанных на меня из Казанского учебного округа, принадлежит и ревизия 1916 года. На эту ревизию приезжали попечитель Ломиковский, окружной инспектор Казанского учебного округа Васильков, правитель** канцелярии попечителя Петров и столоначальник Никитин. Старичок Ломиковский держался в стороне, предоставив своим сотрудникам копаться в делах школы, на ферме. Он был профессор, доктор и более интересовался больными нижними чинами военного лазарета, по случаю войны устроенного в Симбирской чувашской школе, чем самой ревизией. Ломиковский до того увлекся ролью врача, что стал в лазарете прописывать больным рецепты, чем возмутил и обидел лазаретного врача (фамилии его не помню), говорившего, что ле-

---

* Тайного советника.

** Руководитель.

чить больных и переписывать лекарства его право, что ревизор более доктор, чем попечитель и т. п. Ревизия тянулась с неделю и ничего не нашла преступного в моей деятельности. Правитель канцелярии Петров имел бестактность мне в глаза хвастаться, что он — специалист по части ревизий, что двое уже слетели с мест благодаря его расследованиям. Это вызвало мое замечание: «Вы и меня хотите упечь?» Ревизоры останавливались в Троицкой гостинице, куда попечитель вызывал бывшего в чувашской школе учителем Андреева.

Андреев наплел ревизорам что-то о молоке коров фермы, которым будто бы я и учителя пользуемся незаконно. На другой день они и пристают ко мне с молоком. Мне легко было опровергнуть нелепое обвинение, тем более что я мог доказать, что на ферме две мои собственные коровы, но что, тем не менее, беря молоко вообще от коров фермы, я плачу за него. Потом думали меня поймать на тысяче рублей, якобы недостающих в числе казенных денег школы. Но с помощью Орлова мне удалось выяснить, что здесь недоразумение по вине Волжско-Камского банка. Вся ревизия прошла в виде таких же курьезных придирок, которые быстро мною и служившими в школе рассеивались.

В качестве курьеза из общественной жизни Симбирска, имевшего отношение к моей деятельности на благо чувашского народа, сообщу вам следующий факт.

В Симбирске с 1887 по 1893 годы был губернатором М. Н. Теренин. Жена его, Надежда Валериановна, его пережившая, отличалась чванством, самодурством, крепостническими наклонностями.

Имение Терениной Яшевка (Тетюшского уезда Казанской губернии) примыкало к имению мужа ее Кияти (Буинского уезда Симбирской губернии). После смерти мужа Теренина захватила около 15 десятин у чувашей — крестьян соседней деревни Тетюшского уезда Тончерино *, присоединив их к своему имению Яшевка. Так как чуваши, иногда самых отдаленных мест, привыкли обращаться ко мне за помощью в случаях, если их кто-либо обижал, то и теперь крестьяне этой деревни прислали ко мне уполномоченного ходока с планами и документами, рассмотрев которые, я как бывший мерщик пришел к

* Тоншерино (ныне: Топшерма).

заключению, что крестьяне правы, что Теренина их обижает. Тогда мною было написано Н. В. Терениной письмо, в котором я писал ей в вежливой форме о том, что мужики в данном случае правы, что судиться с ней я им не советую, рассчитывая на то, что она сама, убедясь в своей ошибке, не захочет обижать крестьян, удовлетворит их справедливое требование и т. д. (К письму я приложил и копию крестьянского плана.) Все это было послано Терениной в имение мужа, где она тогда жила.

Прошло довольно много времени. Наконец губернаторша приехала и остановилась в Симбирске у дочери своей, бывшей замужем за Николаем Федоровичем Беляковым. Теренина приглашает меня к себе туда. Являюсь. Вхожу. Застаю Теренину и другую ее дочь, девицу. Теренина сидит такая важная, надутая. Она не приглашает меня садиться, кивком головы отвечает на мой поклон и не подает мне руки. Так что я все время моего с ней объяснения простоял. Едва я вошел, как она начинает бранить меня за мое вмешательство в ее тяжбу с крестьянами, грозит, что напишет на меня В. К. Саблеру и другим лицам, которых знает, и т. п. Выслушав ее, я говорю: «Эко удивительно, что вы, имея связи, сумеете отомстить, повредить. Я не удивляюсь... Вредить ничего не стоит. Недаром в отместку ваш хлеб в имении сожгли крестьяне... Вы меня за этим только и призвали?..» — «Только за этим». Тогда я молча повернулся и ушел, с ней не прощаясь. Писала ли она на меня кому-либо жалобу и кому — мне неизвестно. Последствий же эта история для меня не имела. Удовлетворить крестьян Теренина отказалась. Кажется, что они начали против нее в суде дело. Но я уже более к нему крестьянами не привлекался и исхода его не знаю [59]. Думаю, что все это произошло в 1904 году или около этого года.

В основу жизни чувашской школы были заложены мною принципы Н. И. Ильминского, применявшиеся им в его Казанской крещенотатарской школе.

С самого начала существования Симбирской чувашской школы родители учащихся в последней, приезжавшие к детям, допускались останавливаться в школе с их лошадьми, телегами и привезенным багажом. Провиант для лошадей они должны были иметь при себе. Но зато сами допускались жить и ночевать в школе (в столовых, коридорах, кухнях, вообще в свободных помещениях). Мало того, таким гостям школы давались хлеб, квас, а

если оставалось что-либо горячее от обеда воспитанников, то и горячее. Им оказывалась при школе и медицинская помощь. Все это приезжие получали бесплатно в течение своего пребывания в Симбирске. Причем бывали случаи, что таким гостеприимством иногда и злоупотребляли, оставаясь в школе продолжительное время.

Кроме этой категории приезжих, жили в школе и те чуваши (а иногда и русские, например, жители сел Старые Бурундуки и Кошек-Новотимбаевских, а также соседних с ними сел и деревень), обращавшиеся лично ко мне за советами, указаниями, с просьбами и т. п. По примеру Ильминского я старался быть всегда отзывчивым на нужды подобных посетителей.

Останавливавшиеся в Симбирской чувашской школе (то же было заведено Ильминским в школе крещенотатарской) допускались присутствовать на уроках в тех классах, где были их дети, бывать в церкви чувашской школы, в ее мастерских, вообще присматриваться к строю, к быту и жизни заведения. Заведен был порядок, по которому приезжим читалось что-либо по-чувашски, соответствующее их возрасту, умственному, духовному развитию.

При этом соблюдалось правило: не касаться отнюдь с гостями вопросов религии и политики, а держаться строго лишь в сфере оказания им гостеприимства и услуг.

Трудно мне было бы перечислить все случаи личного ко мне обращения чувашей, зачастую мне совершенно не знакомых, за помощью и защитой. Иногда обращались ко мне не только отдельные лица, а целые деревни, группы лиц, сельские общества. Я вечно был занят ходатайствами у влиятельных лиц Симбирска, Казани или беготней по разным учреждениям.

При жизни Николая Ивановича, в каком году — не помню, я объезжал чувашские школы Цивильского уезда Казанской губернии. Еду через большое село Ковали. Встречаю окровавленных, избитых чувашей. На поле, в стороне от дороги, вижу несколько свежих, окровавленных трупов, валяющиеся колья. Оказалось, что между чувашами двух или трех соседних деревень шли старые споры из-за пользования землею. Губернское начальство для разрешения этого спора командировало на место землемера, который должен был установить границы. К месту этой работы собрались в огромном количестве крестьяне споривших между собою деревень. Между враж-

дующими произошло вооруженное побоище, причем оказалось несколько убитых, раненых, изувеченных. Попутно досталось и казенному землемеру. Казанский губернатор, усмотрев в этой истории признаки сопротивления распоряжениям начальства и бунта, взглянул на дело очень строго. Был сделан высочайший доклад, состоялось повеление о немедленном осуждении виновников побоища военным судом с применением законов военного времени. Суд и присудил 17 человек чувашей-крестьян к смертной казни, а многих других к иным тяжким наказаниям. Зная хорошо крестьянский быт, собрав на месте сведения о происшествии, я убедился в том, что в данном случае не было ничего противогосударственного, а лишь заурядное столкновение крестьян на почве земельных недоразумений. По приезде в Казань я сообщил обо всем виденном и слышанном Н. И. Ильминскому, который принял в судьбе инородцев-чувашей горячее участие. Смертная казнь 17 крестьянам была заменена каким-то другим наказанием.

Этот и многие, подобные ему, случаи, конечно, поднимали в инородческом населении значение имени Ильминского.

Я уже упоминал о том, что по горькому опыту (пребывание в Бурундукском и Симбирском землемерном училищах) пришел к тому же взгляду, которого придерживался мой незабвенный учитель Н. И. Ильминский насчет вреда, который приносят отсутствие должного надзора за воспитанниками и отдача младших из них в бесконтрольное подчинение взрослым товарищам. Всегда и во всех учебных заведениях подобная система вызывала нежелательные явления, так как в детской, неуравновешенной натуре наряду с хорошими нравственными задатками скрываются подчас и дурные инстинкты, развивающиеся затем при благоприятных для них условиях. В этом отношении мне нравились порядки в кадетских корпусах, где назначались особые воспитатели, в обязанность которых входило не только наблюдать за кадетами днем, но и ночевать с ними в их дортуарах.

Придерживаясь подобных взглядов, и я в Симбирской чувашской школе пытался ввести нечто подобное, а именно, чтобы воспитатели ночевали в спальнях учеников. Но это не привилось, хотя некоторые учителя и делали это одно время бесплатно. Потом введена была и плата. Трудность введения таких порядков коренится не в одном не-

понимании воспитателей, но и в том, что штат служащих в Симбирской чувашской школе был невелик. Для ночных дежурств необходимы особые лица, которые могли бы бодрствовать в дортуарах, так как нельзя же этого требовать от людей, весь день проведших в преподавании и надзоре за воспитанниками. Впрочем, как мне известно, и в кадетских корпусах вышеупомянутые меры прививались туго.



Венгерский ученый
Б. Мункачи

Симбирскую чувашскую школу посещали и лица, известные в ученом мире.

Так, в 1885 году школу посетил некто Мункачи, выдававший себя за венгерца, впоследствии член Будапештской академии наук. Он явился ко мне с запиской от Н. И. Ильминского, как изучающий чувашский язык. Порусски он говорил порядочно, но подготовка в чувашском языке была небольшая, а письменности чувашской он совсем не знал. Месяца три подряд Мункачи очень усердно приходил в чувашскую школу, беря уроки у меня и у учителей по чувашскому языку. Жил он где-то в Симбирске на частной квартире. Уроки ему давались бесплатно. По словам его, он не преследовал каких-либо политических целей, а просто хотел с научной целью изучить чувашский язык как лингвист. В то время я был женат; жил не в нынешней квартире, а в чувашской же школе, но внизу, в другом здании. Помню, как, явившись ко мне в первый раз, Мункачи обратился ко мне с приготовленной заранее заученной фразою: «Вас, чувашей, венгерский народ в вашей скромности приветствует...» Надо заметить, что прежде чем приехать в Симбирск, этот Мункачи побывал у вогулов, вотяков. В чувашском языке он сделал за время пребывания в Симбирске большие успехи.

После смерти Н. И. Ильминского около 1900 года приехал в чувашскую школу другой венгерец, Мессарош, до

того совершивший ряд поездок по чувашским деревням. Он знал хорошо чувашский язык, но как ученый был куда слабее Мункачи. Он рассказывал мне о том, что при объезде чувашских деревень имел разные неприятности, столкновения с местными властями. Заходил он и ко мне. Пробыл он в Симбирске с неделю.

В чувашской школе, в моей нынешней квартире, гостил профессор Петербургского университета Сергей Федорович Платонов (директор Высших женских курсов). Он приезжал к моему сыну, ныне профессору Московского университета, Алексею, два раза, незадолго до теперешней войны. Я дарил ему книги на чувашском языке. Он говорил, что передаст их своему товарищу, очень интересующемуся чувашским народом.

Приезжал в Симбирск и бывал в чувашской школе и у меня на квартире известный славист, профессор Антон Семенович Будилович.

Состоялось высочайшее повеление министру народного просвещения генералу Глазову — произвести официальное расследование [60]. Для расследования и был командирован профессор Будилович, а вместе с Будиловичем — состоявший при Победоносцеве Износков. Предварительно Будилович вызвал меня в Казань. Я пробыл с ним около двух суток, беседуя дни и ночи о деятельности Николая Ивановича Ильминского, о школе. Интересовался Будилович и лично мною, и моей деятельностью. У него было горячее желание восстановить репутацию Ильминского. Потом он приехал в Симбирск с Износковым, кажется, зимою. Износков был чудный человек, друг и приятель Ильминского, украшение русского общества, напоминавший в мягких тонах самого Ильминского по характеру, по любви к инородцам. Будилович хорошо был знаком вообще с вопросом об инородцах, объехав с целью изучения инородческого вопроса Сибирь, Поволжье, Оренбург.

Износков хорошо знал Ульянова-отца: когда Ульянов был директором народных училищ Симбирской губернии, Износков был на такой же должности в губернии Казанской. И Будилович, и Износков во время своей ревизии часто посещали Симбирскую чувашскую школу, изучали постановку в ней обучения, воспитания и т. п. Будилович представил потом свой отчет Глазову.

История, поднятая с отчетом Свешникова, неожиданно сыграла в инородческом вопросе роль, которой не

ожидали Спешков и Свешников. Совещание, трудившееся под председательством Будиловича, выработало много докладов по инородческому вопросу. Подтверждались правила 1870 года о том, что инородцы Восточной России должны первоначально обучаться в школах на их родном языке.

Сведения о командировке Будиловича можно почерпнуть из книги «Отчет о командировочной поездке тайного советника А. С. Будиловича в Казанский, Оренбургский и Западно-Сибирский учебные округа в октябре, ноябре и декабре 1904 года». Издание 1905 г.

С. В. Чичерина приезжала в Симбирск. Это была умная, образованная русская женщина, необычайно деятельная. Все, что видела и слышала во время поездок по губерниям, она записывала. Предложила мне объехать с нею Буинский, Симбирский уезды, часть Тетюшского (Казанской губ.). Это было в августе 1904 года. Я поехал с нею, ни во что не вмешиваясь, а дав ей полную свободу действий и опросов.

Вернувшись в Петербург, Чичерина издала толстую книгу под заглавием «У приволжских инородцев. Путевые заметки» (изд. 1905 г.).

Поездка Чичериной по инородческим селениям окончилась для нее романом с Бобровниковым, с которым она впервые тогда познакомилась в Казани. Бобровникову было в то время более 50 лет, а Чичериной немного меньше. Он был женат на очень милой, образованной женщине (вторым браком), имел довольно приятную наружность, прекрасно, увлекательно, с большим остроумием говорил, вообще пользовался успехом в обществе. Неудивительно, что при личном знакомстве Николай Алексеевич Бобровников произвел сильное впечатление на старую, засидевшуюся в девушках Чичерину, которую давно уже тяготило положение лектрисы * у тетки ее Нарышкиной, тем более, что сама она имела независимое положение, связи, средства. Тетка же эгоистично удерживала ее при себе. Между Чичериной и Бобровниковым завязалась оживленная переписка, скоро принявшая любовный характер. Когда письма Чичериной попали в руки Бобровниковой, то последняя стала ревновать мужа, бросила его и потребовала развода. Бобровников дал раз-

---

* Чтицы.

вод. Брак их был расторгнут, и Бобровников женился (третьим браком) на Чичериной. Чичерина умерла в феврале 1919 года в Казани, где жила с мужем. От Бобровникова у нее родился ребенок, умерший младенцем. По-видимому, она была счастлива в замужестве.

Кроме упоминаемой выше книги, Чичерина издала другую книгу [61].

Возвращаясь к моей поездке с Чичериной, описанной ею в книге «У приволжских инородцев. Путевые заметки» [62], могу сообщить следующие подробности.

В книге упомянуто «село К.». Это — моя родина, деревня Кошки. Я и Чичерина посетили оставшихся в живых членов семьи Пахомовых. Та «слепая старушка», о которой говорит Чичерина, была вторая жена Андрея Пахомова. К слову сказать, она ослепла, как и многие чувашские женщины того времени, благодаря постоянному едкому дыму, наполнявшему тогдашние чувашские избы от лучины, которыми освещались помещения, и от особого устройства чувашских печей. Помню хорошо в детстве эти печи. Из экономии в кирпичах, которые трудно было достать крестьянину захолустной деревни, а также из желания, чтобы зимою печь возможно больше удерживала в себе тепло, труб не делалось, почему весь дым от горевших в печи дров выходил в избу и выпускался наружу через открытые на двор двери. Дым и выедал глаза женщинам, как членам семьи, более всего возившимся у печи и остававшимся дома. Позднее начальство обратило внимание на вред для здоровья этой стороны чувашского быта. Поэтому стали заставлять крестьян устраивать дымоотводные трубы, давали даже для этого кирпичи и т. п. Но долго эти меры не прививались, встречая отпор в закоренелых привычках чувашей. Доходило до курьезов. В Кошках, например, чуваши-крестьяне, под давлением начальства, стали выводить было наружу дымовые трубы. Но при топке печей задвигали заслонки, почему дым шел не в трубу, а по-прежнему в помещение. Зато увеличивалось тепло.

У Чичериной описывается наша с ней поездка в село Б. Тетюшского уезда Казанской губернии и ее знакомство с «заслуженным священником Р.». Тут говорится о Рекееве, моем первом ученике, уроженце моего села Кошки. Он жил тогда в чувашском селе Байглычево Тетюшского уезда Казанской губернии, на границе с Буинским уездом Симбирской губернии.

Село «Б.», о котором упоминает Чичерина в связи с именем священника Баратынского, есть то самое село Старые Бурундуки, в училище которого я получил начальное образование. Оно состоит из двух концов — русского (Старые Бурундуки) и чувашского (Саракамыш). Мы с Чичериной приехали в него поздно вечером, остановившись на ночлег в русском конце. Тут Чичерина имела беседу с волостным старшиной Сусаниным, о котором упоминается в ее книге. Ко времени нашего приезда от семьи Мушкеевых, меня когда-то приютившей и опекавшей, в живых не было почти никого. Глава семьи Гаврила Мушкеев лет за 10 до того умер. Жена его тоже. Я не заходил к наследникам Мушкеевых. Переночевав в селе, мы на следующий день поехали дальше.

В 1891 году во время объезда мною чувашских школ, ночуя иногда в курных избах, волостных правлениях, я заразился тифом; будучи болен в такой степени, что, дотащившись кое-как до Старых Бурундуков и остановившись у Баратынского, едва не умер. По крайней мере, приглашенный ко мне врач Щеглов, мой товарищ по Симбирской гимназии, предсказывал, что я не выздоровлю. У Баратынского я прохворал более двух недель. Во всю мою жизнь я только один раз так тяжко и серьезно болел.

У сына моего Алексея бывал в чувашской школе просто как его знакомый, не интересовавшийся школою, профессор Михаил Михайлович Богословский (читавший русскую историю в Московском университете).

Бывал у меня в квартире моей при чувашской школе и профессор словесности Александр Семенович Архангельский. Я знал Архангельского давно, еще в Симбирской гимназии, где он преподавал русский язык, даже жил с ним и с учителем Теселкиным, как холостой, в Симбирске на одной квартире. Архангельского я встречал у Ильминского. Сравнительно недавно Архангельский был у меня и, между прочим, рассказывал о том, как, будучи уже профессором, он посетил в Москве графа Л. Н. Толстого. Толстой дал ему много книг своих и брошюр. Архангельский и говорит ему: «Как это я все понесу!... Надо бы извозчика...» «Сейчас будет извозчик»,— ответил Толстой и ушел. Архангельский думал, что Лев Николаевич послал кого-либо из служащих за извозчиком. Но оказалось, что Толстой, надев полушубок, пошел в город сам и привел извозчика. Мало того, он

помог Архангельскому все взятое им донести до извозчика и усадил его в сани. Слушая этот рассказ, я понял, что великий писатель хотел дать урок профессору по поводу неуместного его вопроса об извозчике.

Начав говорить о Толстом, я невольно перешел в воспоминаниях к его отношениям к сыну моему Алексею, который, будучи еще студентом Московского университета, был вместе с одним из своих товарищей у графа. Толстой свел разговор с посетителями на политические темы, бранил царя, русское правительство, говорил, что «такому правительству нельзя подавать руки» и т. п. Сын, между прочим, заговорил с Толстым обо мне, о моей деятельности, о переводах на чувашский язык книг с популярными сведениями по гигиене и другим вопросам, о которых чуваши и понятия ранее не имели [63].

К числу интересных лиц, посещавших меня в Симбирской чувашской школе, следует причислить и Николая Ивановича Ашмарина. Он родился в чисто русской семье. Отец его родился и жил среди чувашей, язык которых хорошо знал и Н. И. Ашмарин, вообще отличавшийся способностью по части изучения языков, знал монгольский язык. Он окончил с золотой медалью Нижегородскую гимназию и Лазаревский институт восточных языков. Им изданы были три выпуска (по буквам алфавита) задуманного им, крайне интересного в научном отношении, словаря чувашского языка (чувашско-латинского с русскими пояснениями). При этом он задался целью ознакомить культурно-европейские народы с чувашской народностью. Но затем энергия его ослабла, потерялась. И работу свою он прекратил — навсегда или временно — неизвестно [64]. Ашмарин — преподаватель Казанской учительской семинарии. Лет пять тому назад он приезжал ко мне в Симбирск, раза два-три. В Симбирске прожил в последний свой приезд более месяца. Проверял со мной дальнейшую рукопись словаря. Кроме словаря Ашмариным были выпущены две книги: 1) о фонетике чувашского языка, 2) о синтаксисе чувашского языка [65]. Он умел хорошо читать старые надгробные надписи на русском языке, на древневосточных языках в селении Болгарах Тетюшского уезда * и в других местностях Поволжья, причем находил тут связь с чувашским языком и разницу с татарским. Отсюда явилось предположение,

---

* Должно быть: Спасского уезда.

что чувашский народ болгарского происхождения. Я стал обращать внимание профессора Платонова на Ашмарина, желая поднять его энергию. Нужда заставляла его искать заработка, а это отражалось на его научной деятельности. Мною указывалось профессору Платонову на замечательные филологические дарования Ашмарина, подчеркивалось то, что он гибнет напрасно для науки. Я просил провести его через Петербургский университет (филологический факультет) в Академию наук. Платонов заинтересовался им, взялся помогать ему, однако условием поставил, чтобы тот не домогался достичь чего-либо через немца Радлова. Как уверял меня потом Ашмарин, по какому-то недоразумению он именно начал прокладывать себе дорогу через Радлова [66]. Это было неприятно прежде всего мне, так как профессор Платонов мог заподозрить меня в том, что я вопреки его указанию направил Ашмарина по нежелательному для него, Платонова, пути. По существующим правилам, надо держать на магистра экзамен сначала устно, а потом представить письменную работу на тему в пределах знания ищущего магистерской степени. Платонов даже составил для Ашмарина программу его работы чисто формального свойства. Но он на магистра так и не держал. Весной этого года, будучи в Казани, я высказал Ашмарину мое сожаление по поводу его научной бездеятельности. В эту войну он работал в Казанском цензурном комитете, взяв на себя обязанность следить за татарскими газетами. Но этот труд для ученого можно считать бесполезным.

Много раз бывал в чувашской школе и жил у меня в Симбирске директор Петербургской певческой капеллы Степан Васильевич Смоленский, с которым я учился одновременно в Казанском университете, но на разных факультетах (он был на юридическом факультете), встречаясь постоянно в доме Ильминских в Казани. Смоленский оказал немало услуг Симбирской чувашской школе. При его содействии, под его руководством священник Петров перекладывал чувашские тексты на церковные ноты. В том же направлении, независимо от Петрова, работал в Казани под руководством Смоленского ученик его, музыкант, певец Николай Александров, бывший в то же время учеником Рекеева в Казанском чувашском училище, находившемся при Казанской учительской инородческой семинарии. Существуют переложения одних и тех же церковных песнопений по-чувашски на ноты и

Петрова, и Александрова. Петров своих трудов не печатал. Александров же печатал с помощью Смоленского. Во время своих приездов в Симбирск Смоленский очень интересовался чувашской школой, помогал в работах Петрову.

Смоленский приходился племянником Н. И. Ильминскому (по жене его). Будучи в Казанском университете, он пользовался дружеским расположением Николая Ивановича и был его убежденным сотрудником в деле просвещения инородцев восточной России. Соединила их еще более, сблизила и общая любовь к музыке и пению. Смоленский с ранних лет проявил свои музыкальные дарования, а Ильминский был любитель музыки и пения, тонко их понимавший, ставивший их одним из средств образования юношества. Едва открылась в Казани учительская инородческая семинария, Смоленский был приглашен туда учителем пения. В это время Смоленский, окончивший с успехом курсы Казанского университета, уже служил в Казанской судебной палате секретарем. Приходилось выбирать между двумя карьерами — юридической и артистической. Но он решил отдаться делу просвещения инородцев и работать вместе с Ильминским. Затем он был сделан директором Петербургской придворной капеллы, где я у него и бывал. Знал я хорошо по Казани отца и мать Смоленского, стариков, похороненных в Казани (около них погребен и сам Смоленский, скончавшийся в Васильсурске. Тело его оттуда было перевезено в Казань по его желанию).

Ранее я бывал в этой же капелле (слушая пение ее замечательного хора на репетиции) у Милия Алексеевича Балакирева, известного музыканта-композитора, заведовавшего до Смоленского капеллой, и на его квартире(он жил не в здании капеллы, а на особой, небольшой квартире, имевшей вид холостой). Это имело место в 1884 году.

Раза два посещал меня в моей квартире при чувашской школе живший в Симбирске, здесь умерший и погребенный писатель Гавриил Никитич Потанин (которого, к слову сказать, не надо смешивать с другим Потаниным, жившим в Сибири, путешественником-писателем, имевшим чуть ли не одно имя и отчество с симбирским Потаниным). Как я познакомился с Потаниным — не могу сказать. Но кого только я не знал в Симбирске за 50 лет моего здесь пребывания?

Дм[итрий] Ник[олаевич] Садовников. Я его знал, хотя он у меня в доме не бывал, встречал его в юности в Симбирске, у Глазовых и Дм[итрия] Алек[сандровича] Лазарева. Садовников учился ранее меня в Симбирской гимназии и вышел оттуда, из 4-го или 5-го класса, до моего поступления. Затем он попал в Рижский политехникум (окончил ли он его — не знаю). В обществе считали Садовникова талантливым журналистом, этнографом, знатоком литературы. Он был автор некоторых известных и до сих пор поволжских песен [67]. Как человек же это был пьяница, кутила, скандалист, гремевший когда-то своими скандальными похождениями. Знал я и отца его, поляка по происхождению, бывшего до меня преподавателем французского языка в Симбирской гимназии. Это был красивый, изящный, вполне приличный господин—противоположность в этом отношении своему сыну-писателю. Последний, когда я состоял уже инспектором Симбирской чувашской школы, обратился ко мне с прошением принять его, в качестве преподавателя естественной истории и сельского хозяйства, в чувашскую школу. Я, конечно, отказал Садовникову — не помню под каким предлогом. Однажды мне пришлось ехать вместе с ним на пароходе от Казани до Симбирска. При этом он мне рассказывал о том, как собирает песни (только русские), народные предания и т. п., расхаживая и разъезжая по Приволжью.

Протоиерей соборный Павел Николаевич Охотин. Знал я его, будучи гимназистом, когда он был уже глубоким старцем, встречая у купца Левашова, у которого жил и с семьей которого был близок, на обедах, устраиваемых, например, Левашовым на Новый год. Впоследствии, когда я обосновался в чувашской школе, мы были с ним знакомы и посещали друг друга. Незадолго до смерти Охотина я посетил его в его собственном доме (находившемся на Московской улице, рядом с нынешним домом Сачковых), по поручению священника Баратынского. Помню, что разговор у нас шел на тему об отпавших от православия чувашах. Но подробностей этой беседы память моя не сохранила. Протоиерей Охотин слыл за выдающегося проповедника, имевшего большое влияние на местных владык и консисторские дела. С годами у него выработался свой особый метод проведения у архиереев дел в желательном ему направлении. Так, зная, что преосвященный Евгений не любит его и ему не доверяет, кладя резолюции как раз обратные видам и желаниям его,

Охотина, последний и доклады свои рассчитывал на подобное к себе отношение владыки, выдвигая второстепенное и оставляя в тени как раз то, что было ему нужно. Простоватый, неделовой Евгений и попадался часто на такую удочку. Охотин, как женатый на племяннице преосвященного Симбирского Феодосия, особенно пользовался влиянием в духовных делах при последнем. Это был видный, представительный, крепкий старик. Баратынский, хорошо и давно его знавший, отзывался мне о нем, как о взяточнике. Я не симпатизировал Охотину, зная, какое участие он принимал в несправедливом деле насильственного крещения в православие удельных крестьян, чувашей-язычников, в 1856—1857 годах, когда он помогал управляющему тогда Симбирским удельным округом Сергею Петровичу Глинке. Среди детских воспоминаний мне смутно припоминается, как несчастные чуваши-язычники по деревням прятались в подполья от духовенства, от удельного ведомства и от усердствовавшей под влиянием их сельской полиции. Мера эта не повела ни к чему: насильственно обращенные в православие вскоре после того стали массами отпадать.

Петр Андреевич Пастухов, купец, отец Николая Петровича Пастухова, и ныне здравствующего. Я его тоже хорошо знал, он приходился родственником купцу Левашову, с детьми которого в юности я был близок. (Богатые симбирские купцы — упоминаемый Пастухов-отец, Кирпичников и Левашов — были женаты на родных сестрах — Кутениных, купеческих дочерях. Четвертая сестра была замужем за купцом Ананьевым.) Знакомство мое со стариком Пастуховым завязалось с тех пор, как я жил у купца Левашова, будучи гимназистом; встречал Пастухова еще мальчишкой, бедным, заискивающим у богатого родственника. Основной страстью у этого человека было стремление к наживе. С годами ему удалось накопить огромное состояние. Однажды я и П. А. Пастухов вместе поехали в гости к Шатрову, в имение последнего, на лошадях. В то время я был уже действительным статским советником. В разговоре Пастухов в шутку и говорит мне: «Вы, Иван Яковлевич, генерала по службе получили, а я генерал по торговле...» Когда я встал во главе чувашской школы, то Пастухов бывал у меня часто. Иногда мне в трудные минуты жизни приходилось даже занимать деньги у Пастухова. Он одолжал мне охотно, а я их ему всегда возвращал аккуратно.

Федор Васильевич Виноградов, городской учитель, а затем инспектор в Курмыше. Он писал о чувашах, но не знал чувашского языка и ничего особенного не написал. Когда им в Симбирскую ученую архивную комиссию была представлена рукопись на эту тему, то комиссия препроводила ее ко мне с просьбой дать о ней отзыв [68]. Я вернул рукопись с некоторыми поправками, после чего ее напечатали, но где, не помню. Во время нынешней войны Виноградов жил в Симбирске. Им издан был в двух томиках сборник стихотворений русских поэтов для чтения на литературных вечерах, с недурным подбором чужих произведений. Виноградов пытался пролезть в Государственную думу, что ему, однако, не удалось. В общем, это личность, хотя и честная, но ничем не замечательная.

Назарьевы, Валериан и Виктор Никанорович, симбирские дворяне. Дед их или отец был где-то губернатором *. Я знал хорошо их обоих. Из них Валериан принадлежал к числу видных литературных талантов (как писавший рассказы, бытовые этюды, корреспонденции в «Вестник Европы» и т. д.). В семидесятых годах, когда я был студентом, Назарьев напечатал, кажется, в «Вестнике Европы» статью, в которой лестно отзывался о моей деятельности по просвещению чуваш. Статья эта где-то у меня имеется. О нем у меня сохранились воспоминания как об энергичном, выдающемся земском, общественном, народном деятеле. Валериан Назарьев владел имением (селом) Никулино Симбирского уезда, находившимся верстах в 40 от Симбирска. Будучи уже инспектором чувашских школ, холостым, я ездил к нему погостить в это имение. В имении имелась сельская земская школа его имени, устроенная им и другими помещиками. Из этой школы двое мальчиков поступили ко мне в Симбирскую школу. Чувашские поселения находились верстах в 15—20 от имения Назарьева. Назарьев одно время занимал должность мирового судьи. Он был дважды женат. Первый раз — на дочери мелкого русского чиновника, малообразованной, образованием которой он занялся, просветив ее, подняв до себя, заплатив при этом обильную дань чувству любви. Этой особы я лично не знал. Но хорошо знаю судьбу дальнейших отношений к ней Назарь-

---

* Здесь допущена неточность. Ни дед, ни отец В. Н. Назарьева не были губернаторами. Дед писателя был предводителем дворянства Карсунского уезда Симбирской губернии.

ева. Случилось так, что в семидесятых годах он имел у себя выигрышный билет, на который он выиграл 75 тысяч [рублей]. Назарьев дал доверенность жене на получение этих денег. Она поехала, получила и бросила мужа, уехав с деньгами и связавшись с кем-то, то есть по-своему использовала оказанные ей благодеяния. У Назарьева была влюбчивая натура, жаждавшая подвигов. Надо было заполнить образовавшуюся с разрывом с любимой женщиной пустоту. Для этого, чтобы забыться, Назарьев поехал путешествовать за границу, живя там подолгу. В одно из таких путешествий, в Пирмонте, около Касселя, он встретился с образованной немкой, женился на ней, привез в Россию, поселил в своем имении. Немка оказалась прекрасной хозяйкой, завела образцовое хозяйство, особенно по части коров, молока и т. п. А сам Назарьев, обладавший довольно большими средствами, слыл за хорошего, расчетливого, даже до скупости, хозяина. На этой почве он и сошелся со второй своей женой. У Назарьева был брат Виктор, человек с юмористической наклонностью. Он в беседах со мною часто высмеивал увлечения брата своего Валериана этими двумя женщинами, опытами, контролем немки над удоем коров и т. п. Валериан Назарьев, потеряв первую жену, ударился в народное дело, занявшись образованием крестьян, постройкой школ и т. п. Мною он особенно заинтересовался как народно-чувашским деятелем, вышедшим из простого народа. Знаю, что Назарьев печатал статьи о тех переселенцах, которые уходили из Симбирской губернии и возвращались в нее. Он был одновременно с Львом Толстым в Казанском университете. (Назарьев окончил университет, а Толстой его покинул до окончания.) Припоминается мне такой случай. Назарьев напечатал где-то статью о Толстом, причем кое-что в ней переврал и был в этом печатно изобличен. Валериан Назарьев умер в 1902 году. Я с ним постоянно сталкивался в Симбирске, в уездном учительском совете, в котором мы с ним участвовали: я — по назначению, как представитель ведомства Министерства народного просвещения, а он — в качестве уполномоченного от земства. Назарьев, прежде так усердно ратовавший за интересы крестьян, потом, с годами, разочаровался в последних и отстал от дела народного образования. Разочарование это я наблюдал в Назарьеве при совместной работе с ним в вышеупомянутом совете. Мы с ним на этой почве разошлись. Помню из моих прежних с ним отно-

шений такой случай. По слухам, Назарьев составил завещание, в котором все оставлял на дело народного образования. А когда женился вторично, на немке, то это завещание уничтожил. Из особенностей его характера можно отметить, что, владея хорошо пером, он в обществе не умел связать вместе двух слов, почему обыкновенно сидел молча. Брат его Виктор, о котором я упоминал выше, так же, как и Валериан, имел довольно хорошее состояние. Он, как и Валериан, жил то в своем имении, то в Симбирске, увлекался театром. Виктор Назарьев, Лазарев, Языковы дали в Симбирске ряд благотворительных спектаклей, часть дохода с которых была уделена и на мою Симбирскую чувашскую школу. Статьи Валериана Назарьева отличались живостью, ясностью изложения.

Андрей Иванович Анастасьев. Был инспектором народных училищ Симбирской губернии. По окончании Симбирской духовной семинарии он поступил в Казанский университет, который окончил после меня. Ничем особенным по народному образованию он не выделялся, хотя и издавал учебники для молодых учителей (примерные уроки), вышедшие в нескольких изданиях. С каждым новым изданием книга эта увеличивалась в объеме, так сказать, разбухала. Кроме того, Анастасьев издавал сборники правил, инструкций для учащихся. Потом он был директором учительского института в Казани, а позднее — директором народных училищ Вятской губернии. Я знал его близко, и частным образом, и сталкивался с ним по службе. Женат он был не на русской, кажется, на грузинке. Жил он то в Симбирске, то в Казани, то в Вятке. В характере Анастасьева многое было мне антипатично, главным же образом фантазерство, завистливое отношение к заслугам других, склонность к спиртным напиткам. Вообще я с ним близко не сходился, мы при сношениях только терпели друг друга. В купленном у кн. Ухтомского имении он без всякой нужды, из тщеславия и рисовки, устроил маленькую домовую собственную церковь. Надо заметить, что писал он по-русски особенным, искусственным витиеватым слогом, довольно неудачно подделывался под славянский язык.

Алексей Петрович Кирпичников, симбирский купец, неправильно, преступно, безнравственно наживший себе огромное состояние на разорении богатых помещиков, как, например, кн. Трубецкого, кн. Долгорукова и др. Вообще этот симбирянин пользовался далеко не завидной

репутацией, был крайне скуп, расчетлив. Я его не раз встречал у купца Левашова, на сестре жены которого он был женат. Увеличивая свое состояние, Кирпичников попал в симбирские городские головы.

Николай Александрович Мандрыкин, симбирянин. Я знал его хорошо. Это был горький пьяница, мелкий полицейский чиновник, бездарный, наглый, в разговорах рассыпавший грошовые остроты. У его отца был свой дом на Покровской улице. Мандрыкин перед смертью опустился до того, что не раз в пьяном виде подходил ко мне на улице, выпрашивал на водку двугривенный. О литературных произведениях его я не слыхал. Да и вряд ли они у него и могли быть... В общем это был дрянной, никуда не годный, пропавший человек. Знал я и отца его, мелкого симбирского полицейского чиновника. Н. А. Мандрыкина я знал уже пожилым человеком. Знаю, что он не кончил местную гимназию. Мне передавали, что когда он был в гимназии, то пошло вышучивал брата писателя Гончарова — Николая Александровича, как своего учителя. В гимназии я его уже не застал: он вышел оттуда года за два до меня.

Каэтан Зефирович Пузинский, известный в Симбирске артист на женские роли. И его я знал хорошо. Отец его был удельным ветеринарным врачом. А он служил в какой-то Симбирской палате. Таким образом, он получал содержание и по службе, и по своему театральному ремеслу. Это был талантливый артист, умевший отлично одеваться по-женски, говорить женским голосом, усваивать женские манеры. Чаще всего он подвизался в любительских спектаклях. Но иногда входил и в состав приезжавших в Симбирск театральных драматических групп. Он брался играть и драматические, и комические роли. Более удачными у него выходили роли комические. Я знал его уже пожилым. Он был холост, пользовался особой дружбой полицмейстера Писриева, не так давно умершего в Симбирске, жил даже у него на квартире в последние годы и у него же скончался. Тот его и похоронил. Я был на погребении.

В моих воспоминаниях я мало говорил о тех симбирских женщинах, с которыми встречался. Более всего я останавливался на личностях Глазовой (в замужестве Громеко) и К. Д. Раевской. Обе они были аристократки не только по имени, происхождению, но и по воспитанию, по натурам, особенно Раевская. Суждения обеих

об окружающем, о лицах и событиях отличались иногда большой наблюдательностью и меткостью. Вспоминается мне взгляд Раевской на наше православное духовенство. По ее мнению, духовенство это, в силу создавшихся для него в течение всего времени его существования особых условий, поставлено в особо выгодную обстановку. С одной стороны, оно соприкасается с высшим дворянским служилым сословием, изучает его привычки, слабости и по-своему все это эксплуатирует. С другой же стороны, оно соприкасается в такой же степени и с низшими классами населения, хорошо изучает недостатки этой темной среды и опять-таки пользуется ими в своих личных целях. Раевская, по ее словам, знала поэта А. С. Пушкина.

К числу случайных моих знакомств, не относящихся к Симбирску и чувашской школе, принадлежит случайная встреча моя в 1877 году с известным писателем Мельниковым-Печерским. В этом году происходил в Казани Всероссийский археологический съезд, устроенный московским императорским археологическим обществом, под председательством графа Уварова. В ту пору я был молод, всем интересовался, особенно тем, что происходило в Поволжье. Вот почему я поехал сам и на этот съезд в Казань, без приглашения. Там я и познакомился с Мельниковым-Печерским, который держал себя в стороне и в трудах съезда, по-видимому, активного участия не принимал. Съезд устроил поездку в знаменитое село Болгары (Казанской губернии Спасского уезда), в которой и я участвовал. Поездка на трех пароходах, туда и обратно, была сделана в один день. Поздно вечером мы вернулись в Казань. В одной и той же каюте были помещены я, Мельников-Печерский, известный профессор-историк Иловайский и еще какой-то англичанин, говоривший только по-английски и нуждающийся в переводчике. Конечно, приходилось говорить и с Мельниковым-Печерским, и с Иловайским. Но подробностей моя память не сохранила. Помню, что Иловайский говорил, что хорошо, если Босния и Герцеговина попадут в руки австрийцев... Вот какие русские политики разрешали восточный вопрос! А между тем они давали тон общественному мнению.

На этом съезде, а также во время поездки в Болгары дворяне-помещики свысока относились к попечителю Казанского учебного округа П. Д. Шестакову, как к челове-

ку не их круга. Несмотря на то, что Шестаков во всех отношениях был достойной, выдающейся личностью. Как человек умный, наблюдательный, державший себя с тактом, Шестаков это понял и сам стал держаться в стороне от местного именитого дворянства. Так же высокомерно это дворянство относилось к Мельникову-Печерскому и Иловайскому, которые тоже держали себя в стороне. Около Шестакова на съезде группировались местные научно-педагогические силы. Н. И. Ильминский в Болгары не ездил, но в занятиях съезда принимал личное участие, читая, например, реферат о надгробных надписях, найденных в лесу около Тархан (Симбирской губернии), в которых он, Николай Иванович, несмотря на арабские буквы, усматривал, притом доказательно, следы языка чувашского.

Вспоминается мне несколько встреч из поездки моей в Петербург в 1884 году, когда я был вызван туда министром Деляновым, который, заинтересовавшись моею деятельностью благодаря сообщениям обо мне ему попечителя Казанского учебного округа Масленникова, не только продержал меня в столице два месяца, приглашая к себе на обеды и завтраки для того, чтобы ближе со мною познакомиться, но даже просил меня войти с ним в частную, откровенную переписку по учебно-педагогическому вопросу и о себе лично, от чего я уклонился, заявив о том откровенно министру, так как всегда в жизни старался избегать такой скользкой почвы, какой всегда считал интимности с высшим начальством. Прежде, чем я выехал в Петербург, Масленников вызвал меня в Казань, где учил, как я должен себя вести у Делянова, что говорить и т. д.

Приехав в Петербург, я остановился в гостинице «Биржевой», у Апраксина двора. Мне были даны командировочные деньги из Министерства народного просвещения в размере 400 рублей. Чин у меня был тогда маленький (отчего и денег на поездку я получил так мало). С чином моим выходили недоразумения: меня нельзя было повысить, так как я не был утвержден в должности инспектора чувашских школ, а на этой должности меня не утверждали потому, что я состоял в незначительном чине, не по классу должности. Получился, таким образом, заколдованный для меня круг, который все-таки был в пользу мою разорван чиновниками, открывшими и тут какую-то лазейку, в обход законов и циркуляров.

В гостинице Баранова со мною случилось следующее происшествие. Ложась спать, я вывесил в коридоре для чистки мое платье, причем забыл в нем упоминаемые выше деньги. Когда мне слуга подал поутру платье, то денег в брюках не оказалось. (А я помнил, что положил с вечера деньги в брюки.) Вызываю слугу, производу ему допрос. Оказалось, что деньги целы: найдя их в брюках, слуга, для большей их сохранности, переложил их в мой сюртук. Такая честность поразила меня. Я дал слуге на чай три рубля, а о поступке его ходил сообщить хозяину гостиницы Баранову. Более трех рублей сам слуга от меня не принял. Оказалось, что барановская гостиница, которую мне рекомендовал Износков, вообще славилась честностью своей прислуги и что ранее бывали эпизоды вроде того, какой случился со мною.

VIII

Первая моя квартира, которую я занимал в Симбирске в зданиях чувашской школы, была внизу, ближе к реке Свияге, в деревянном одноэтажном флигеле, мною же после покупки его отремонтированном заново. Затем, когда в 1885 году я на мои средства построил трехэтажный дом (нижние два этажа каменные, верхний деревянный), то переехал с семьей в верхний этаж этого дома, где жил до сих пор много лет и сейчас живу. Дом этот в 1897 или 1898 году я продал для нужд чувашской школы (для помещения женского при школе училища) миссионерскому обществу. При этом в актах о купле-продаже мною было выговорено, что я имею право жить с семьей в занимаемой мною квартире до тех пор, пока буду управлять женским училищем.

Мои дети, ныне живущие, родились в городе Симбирске. Сын Николай и дочь Лидия родились в той, вышеупомянутой мною, квартире (одноэтажном флигеле), которую я занимал первоначально. А сын Алексей родился в доме на Московской улице, где я прожил два года, до переезда моего в здание Симбирской чувашской школы.

Сын мой, Алексей, в настоящее время ординарный профессор Московского университета по кафедре русской истории, родился 18 декабря 1878 года, дочь Лидия — 26 декабря 1879 года и сын Николай—12 февраля 1883 года.

Сын Николай, женившийся два года тому назад, детей не имеет. У Алексея дети: Наталья (12 лет), Ольга

(10 лет) и Иван (6 лет). У дочери Лидии Ивановны (замужем за Алексеем Дмитриевичем Некрасовым, читающим лекции в Петровско-Разумовской академии в Москве и преподающим на Московских сельскохозяйственных женских, так называемых Голицынских курсах), дети: Катя (13 лет), Алексей (9 лет), Анюта (5 лет) и Митя (4 года).

Сын мой Алексей в детстве и юности был мечтательным, иногда слишком рассеянным, в обыденной жизни веселым, жизнерадостным мальчиком, но аккуратным, прилежным, так что его не только не приходилось подгонять, но зачастую даже удерживать от излишнего рвения. В то же время в нем я подмечал неспособность наблюдать явления природы, а руки его были настолько неловки, что попытки его обучиться какому-либо мастерству являлись бесплодными. Не было в нем и творчества. Это замечалось в его ученических сочинениях, написанных, однако, хорошо в отношении изложения.

До сих пор, как и во дни моей молодости, я стою за классическое образование для тех, кто решил посвятить себя науке, вообще широкой общественной деятельности. В молодости до того, как сам я стал отцом, я с увлечением прочел книгу английского писателя Юманца (конечно, в переводе), в которой приводятся мысли Джона Стюарта Милля и других знаменитых писателей в пользу классического образования. Соглашаясь со взглядами этих авторитетов, личные мои наблюдения тоже укрепили во мне симпатии к такого рода образованию. Неудивительно, что я, делая наблюдения над моим первенцем Алексеем, изучив его наклонности и характер, решил дать ему блестящее по мере возможности классическое образование. Когда сын мой в первый период его обучения в Симбирской гимназии стал изучать латинский язык, я обратился к Н. И. Ильминскому с просьбой дать мне указания относительно классической образовательной системы. До того я изучал с помощью разных книг, как поставлено дело классического образования за границей в иезуитских школах, в учебных заведениях немецких, французских, у католиков, употреблявших латинский язык. Николай Иванович указал мне на то, что у немцев и французов (преимущественно у последних) существуют книги, посвященные истории, на латинском языке, близком к языку французскому, т. е. где тексты латинский и родного языка приноровлены друг к другу так,

что учащийся, начиная с самых обыденных фраз на обоих языках, так сказать, ухом привыкает схватывать слова и обыденные фразы несложных предложений языка латинского. Первоначально латинский язык сыну преподавал я сам. Частью преподавали ему и его учителя Симбирской гимназии. При таком руководительстве мой Алексей прочел в подлиннике Корнелия Непота, «Гражданскую войну», «Галльскую войну» Юлия Цезаря и другие древние классические произведения на латинском языке. (Надо заметить, что он поступил прямо в третий класс гимназии.) Когда Алексей находился в 5 или 6 классе гимназии, мне в 1893 или 1894 году довелось быть в Петербурге. Я пошел к Федору Дмитриевичу Батюшкову, профессору Петербургского университета по филологии. Цель моего визита была, чтобы узнать от специалиста-ученого, что он мне посоветует по части основательного изучения сыном моим латинского и греческого языков. Батюшкова я знал еще по Казани, равно как и старшего брата его, Николая. Когда я проходил курс в Казанском университете, то Федор Дмитриевич был воспитанником Казанской гимназии. Николай года два был в университете, в бытность мою там же, только на разных курсах и факультетах. Ф. Д. Батюшков дал мне записку к известному Ф. Ф. Зелинскому, тоже профессору Петербургского университета и филологического института. Раза два я посетил Зелинского, беседуя с ним на интересующие меня темы. При этом я просил его рекомендовать мне специалиста-студента, который мог бы заняться с сыном моим классическими языками по методе, рекомендованной мне Н. И. Ильминским. Я ждал от профессора ответов на вопросы: «Что читать юноше? Как читать? Какие нужны книги, пособия?» и т. п. Зелинский, отнесясь ко мне крайне внимательно, рекомендовал мне студента Петербургского университета Маллицкого, которого я и привез с собою на лето в Симбирск. Сын мой, усвоивший уже себе отчасти манеру изучения языка при чтении по слуху, нашел в Маллицком человека, обучавшего в том же духе, очень для него полезного. Юноша работал под руководством своего учителя месяца четыре с увлечением, причем прочел с ним в подлиннике много серьезных латинских книг. Параллельно с основательным изучением древних языков сын мой хорошо изучил языки новейшие — французский, немецкий, английский (последний по собственной его инициативе). В Симбир-

ской духовной семинарии был преподавателем Николай Иванович Саганов, читавший там лекции по философии, логике, педагогике. Мне захотелось, чтоб именно этот Саганов, пользовавшийся хорошей репутацией, занимался с Алексеем по латыни. Но он, дав сыну урока два, почему-то отказался от дальнейшего преподавания. (Быть может, потому, что Алексей оказался настолько уже подготовленным, что его учителю нечего было с ним делать?) При помощи моей, преподавателей, а также самостоятельно Алексей прочел все главное, выдающееся, что существует в древнегреческой, латинской литературе. К слову сказать, я не жалел вообще для детей моих средств, когда дело шло об их образовании, воспитании. Вот почему я через одну парижскую книготорговлю выписывал, например, для Алексея все, что выходило наиболее интересного на латинском языке. Так что в этом отношении с юности он был обставлен великолепно.

У сына моего Алексея поразительные способности в отношении изучения языков, особенно древнеклассических. По этой части он значительно опередил брата своего Николая, которому, однако, языки тоже давались легко.

В юности в Леле замечалась страсть к путешествиям. Будучи в университете, он года три подряд делал с товарищами во время каникул поездки по Волге, во время ее половодья, до Саратова или Самары. Обыкновенно подобные экскурсии продолжались недели две-три. Молодые путешественники покупали себе лодку и плыли на ней вниз по течению Волги. По окончании же путешествия лодка ими продавалась при конечной остановке. Хотя такие странствия сопряжены были с риском и опасностями, но я, не поощряя их, в то же время их и не запрещал, находя их полезными во многих отношениях, особенно же в смысле развития характера, находчивости, самостоятельности... Наказывать его в детстве и юности почти совсем не приходилось. Только раз я его поколотил по жалобе моей жены за потерянную по рассеянности, по ротозейству шапку, о чем и сейчас вспоминаю с сожалением.

Любовь к истории в нем проявилась в детстве: он рано стал читать с интересом книги исторического содержания. Но не одна история увлекала его в юности. Хорошо зная немецкий язык, Алексей еще гимназистом прочел по-немецки некоторые сочинения Канта. Потихоньку от

меня, как от врага легкого чтения, он познакомился в подлиннике с произведениями Ги де Мопассана, которые так увлекли его, что, будучи студентом, попав за границу, он объехал в Бретани те места, которые связаны с произведениями этого писателя. С детства в нем замечается доброта. По политическим взглядам он — демократ. Симбирскую гимназию окончил он успешно, но без медали, на которую имел основания рассчитывать. Это поразило и его, и нас, его родителей. Мы можем до сих пор лишь догадываться о причине такого строгого отношения к Алексею гимназического начальства. Дело в том, что к нам ходил в качестве гостя учитель Симбирской гимназии Вильковский. Как-то в гимназии ученики обступили его с просьбами прибавить баллы. В толпе находился и мой сын, не просивший, однако, как остальные, прибавки. Следует отметить, что Вильковский давал за деньги уроки одному гимназисту, пристававшему к нему на этот раз вместе со всеми. Увидев последнего, Алексей и говорит: «Что ты пристаешь?! Точно за деньги...» Вильковский принял это за намек и обиделся. На его сторону встал и директор гимназии Котовщиков. Последний стал преследовать Лелю за поведение. К ним присоединился преподаватель русского языка и словесности Козлов, бывший к тому же классным наставником в 8-м классе, где был мой сын. Началась травля мальчика этими тремя педагогами. В результате же и было то, что Алексею не дали той награды, на которую он вправе был по успехам и прилежанию рассчитывать. На основании моих педагогических взглядов я в эту неприятную историю не вмешивался. Жена же моя вмешалась, хотя и безрезультатно, не добившись правды. Позднее попечитель Казанского учебного округа Василий Александрович Попов мне говорил, что Котовщиков, Козлов и Вильковский сделали по отношению к моему Алексею большую несправедливость. Когда Леля окончил курс гимназии, то подарил собрание сочинений Ньютона на латинском языке учителю Вильковскому в знак того, что не питает к нему злобы. Тот книги эти принял.

Будучи в гимназии, Алексей сходился с товарищами и даже дружил с некоторыми из них. Назову из них бывших в нашем доме Соколовского (окончившего потом Московский университет по математическому факультету, а также Петербургский горный институт), Попова (сына симбирского нотариуса, также окончившего Мос-

ковский университет по математическому факультету и бывшего, как и отец, нотариусом), Гречкина (человека, ничем не выдающегося и тем не менее окончившего университет по естественно-математическому факультету). Я не мешал моим детям играть вместе с воспитанниками чувашской школы, между которых были у них тоже сверстники, с которыми они сходились. С поступлением же потом в гимназию отношения эти сами собой стали прекращаться. С младшим братом Николаем, бывшим младше его на несколько лет, и сестрой Алексей жил дружно. Тем не менее оба мои сына нередко между собой воевали, ссорились, что происходило отчасти и по причине разности их характеров, наклонностей... К сестре они относились несколько свысока, как к «девчонке».

Выше мною было сказано, что, изучив способности Алексея, я решил направить его по историко-филологическому пути, тем более что это совпадало и с личными его намерениями. Но я не производил на сына какого-либо давления, а действовал осторожно, стараясь дать ему возможность испробовать свои силы на других отраслях знаний и убедиться самому в том, что он тут успехами пользоваться не может. В конце концов он при окончании гимназии самостоятельно избрал для себя историко-филологический факультет университета. Я забыл упомянуть о том, что пока Алексей воспитывался в Симбирской гимназии, на него оказал прекрасное влияние служивший там в качестве преподавателя истории очень способный, умевший заохотить учеников, заставить их работать учитель Ясницкий.

Поступив в Московский университет, мой Алексей попал к известному профессору Цветаеву, читавшему лекции по римской, латинской словесности и еще каким-то предметам. Он же заведовал Румянцевским музеем. Цветаев был в близких отношениях с моим приятелем по Симбирску Алексеем Прокофьевичем Покровским. Когда Алексей ехал в Москву, то Покровский и дал ему рекомендательное письмо к Цветаеву. Добрый Цветаев не только хорошо принял Алексея, но сразу же стал относиться к нему столь внимательно, что по просьбе его взял к себе на содержание приехавшего с ним в университет бедного его товарища по гимназии Ласточкина.

Бывая в Москве, я познакомился через сына с профессором Цветаевым, очень интересовавшимся Алексеем, и

посещал его. Приятель моего сына Попов, упоминавшийся мной выше, приходился родным племянником знаменитому ректору Московского университета анатому Зернову, жил у него на квартире. Бывая у Попова, Алексей попал в учебный кружок знаменитостей, бывавших у Зернова. Такое же общество встречал он и у Цветаева. Все это, конечно, способствовало развитию природных дарований и наклонностей моего сына все в том же историко-филологическом направлении. Профессор Василий Осипович Ключевский, лекции которого на историко-филологическом факультете мой сын слушал, тоже очень благосклонно к нему относился, хотя между Ключевским и Цветаевым происходили какие-то трения. По указанию Ключевского Алексей, будучи на первом курсе университета, взял темою для своего студенческого сочинения смутное на Руси время. Начал он свою работу зимой 1896 года в Москве, а кончил ее в Симбирске летом 1897 года. Лето мы проводили тогда всей семьей на даче Денисова в Поливне под Симбирском. Алексей, привезя с собою нужные ему материалы, усидчиво там работал. За его труд, обративший на себя внимание ученых кругов, в следующем, 1898, году ему была присуждена серебряная медаль. В то время ни я, ни Алексей не знали еще профессора Петербургского университета С. Ф. Платонова, бывшего большим поклонником Ключевского, который и указал Платонову на моего сына. Алексей быстро сошелся с Сергеем Федоровичем Платоновым, настолько, что когда я съехался с сыном в Петербурге, то он повел меня к Платонову и меня с ним познакомил. Платонов так заинтересовался сочинением Алексея по смутному времени, что когда тот позднее для получения звания магистра истории представил свой новый труд под заглавием «Засечная черта Московского государства в XVII веке», то Платонов нарочно приезжал в Москву из Петербурга на диспут и участвовал в прениях, сочувственно отнесясь к работе Алексея и заметив, что в авторе упоминаемого выше труда узнает автора труда по смутному на Руси времени. Платонов все время поддерживал сына в его исторических исследованиях, помогал ему найти средства для издания его сочинений и т. п. Ему мой сын обязан тем, что свой огромный труд, по настоянию Платонова, он разбил на два самостоятельных исследования — одно для получения звания магистра, другое — для докторской диссертации («Приказ

сбора ратных людей»). Обе книжки вышли перед последней русско-германской войною. Через полгода Алексей получил звание доктора истории.

Будучи на третьем курсе Московского университета, сын мой представил сочинение на философскую тему (заглавия его не помню) и на 4 курсе получил за него серебряную медаль. Он продолжает увлекаться исследованиями по древнерусской истории, используя в качестве материалов старые архивы, хранившиеся в кремлевских дворцовых башнях. По его словам, он был счастливым в том отношении, что ему удалось открыть много нового, никому еще не известного, освещающего прошедшее России. Часть материалов в копиях, на всякий случай, он присылал на хранение моей жене (своей матери) в Симбирск. Нынешний и прошлый год Алексей углубился в новую науку — пропедевтику (начала) мировых событий. Вот почему ему так хотелось побывать в Москве на заседаниях большевиков (Ульянова-Ленина и др.), тоже участвующих в отечественных событиях огромной важности. Последний труд свой Алексей хотел выпустить в свет ко дню моего пятидесятилетнего юбилея (т. е. в нынешнем году), посвятив его мне [69]. Но убедился в том, что для обработки исследования надо еще проработать года два, о чем мне и писал.

Лет 6—7 тому назад в английском журнале «Восток и Запад», по-английски, в одном или двух №№ Алексей напечатал статью, посвященную памяти Н. И. Ильминского, которая, насколько мне известно, не обратила на себя внимания [70].

Алексей был в хороших отношениях не только с профессором Ключевским, но и с известным московским присяжным поверенным Плевако. Однажды оба они обедали в Москве у моего сына. Надо заметить, что на этом обеде сошлись инородцы — сын мой, чуваш, Плевако (киргиз или калмык) и Ключевский (отец которого был из мордвы, а мать русская). По этому поводу Плевако сострил, сказав, что сошлись истинно русские люди. Это рассказывал мне сын.

Сына моего Алексея выкормила грудью сама моя жена. Для Лидии и Николая пришлось взять кормилиц. Николай рос сперва неестественно медленно. По годам к 6—7 окреп. Умственное, физическое развитие, ввиду болезненности, шло у него медленнее, чем у Алексея. С детства у него проявилась склонность к изучению музы-

ки. (Надо заметить, что и у меня в юности было стремление изучать музыку настолько сильное, что, будучи в 6 классе Симбирской гимназии, я вознамерился брать уроки на фортепиано у одной учительницы, даже начал с нею занятия. Но последние пришлось бросить за отсутствием средств и инструмента.) Признаться, мне не по душе были попытки Николая изучить музыку—так что я намеренно их придерживал, задерживая его музыкальное развитие. Тем не менее, сын мой иногда скрытно от меня работал в этом направлении. Так, он пристроил с помощью особого приспособления несколько предметов из домашнего обихода, изображая на этом своеобразном самодельном инструменте несложные пьесы. Будучи в 6 классе Симбирской гимназии, на собственные свои средства он купил рояль, и до сих пор у нас в доме находящийся. Как и брат Алексей, Николай любил путешествия, но не на лодке, а пешком, на велосипеде, особенно по Казанской губернии, углубляясь в последнюю иногда верст на 80 от Волги (от Спасского затона вглубь на восток). Этим экскурсиям я не препятствовал — из тех же соображений, как и по отношению к Алексею. Николай, равно как и брат его Алексей и сестра Лидия, изучил английский язык самостоятельно, не обращаясь к нам, родителям, за пособием. У Николая с детства, кроме музыки, замечались способности к изучению механики, электричества и других технических отраслей знаний. По окончании 8 классов Симбирской гимназии с золотой медалью Николай стал готовиться к экзамену одновременно в три петербургских высших учебных заведения — в институты технологический, горный и путей сообщения, держал во всех них экзамены, выдержал и попал в горный институт, который и окончил хорошо. По установившемуся в институте порядку, будучи студентом, ему пришлось каждые каникулы работать где-либо практически, изучая горное дело. Через год он работал, таким образом, на Тагильском заводе, в следующие годы курса на юге России — на разных французских и русских заводах. На пятом году поехал на заводы же во Францию, в Сент-Этьен, побывал в Париже и других главных городах (специально изучал способы выделки стали). Но горное дело не захватило его. Обстоятельства сложились так, что он стал пробовать свои силы на совершенно другом поприще. Один из товарищей Николая по горному институту, музыкант, просил сына моего заменить его при

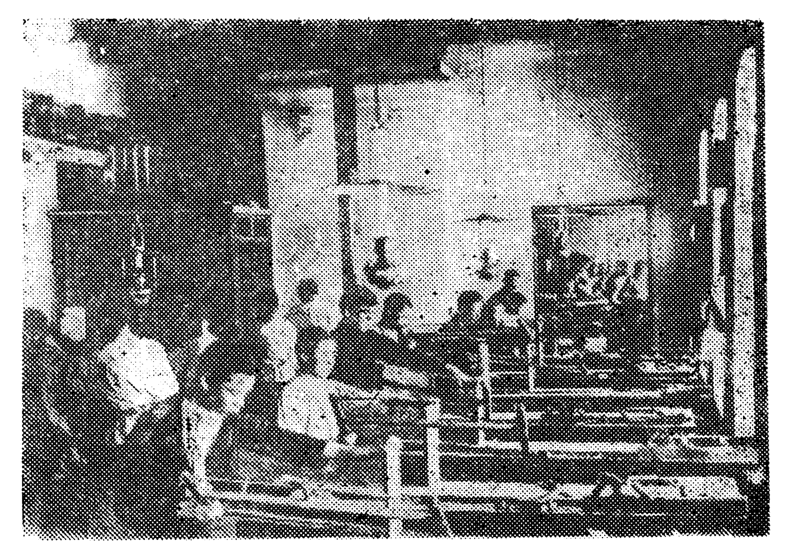
демонстрировании роялей на известной петербургской фабрике музыкальных инструментов Шредера. Кончилось это тем, что Шредер передал сыну года на четыре управление своим музыкальным магазином, дела которого были запутаны, а также и частью фабрики.

IX

С 1883 года (т. е. будучи инспектором чувашских школ Казанского учебного округа) я лелеял мысль об устройстве при Симбирской чувашской школе особой сельскохозяйственной фермы, так как всегда был того убеждения, что чувашское юношество, вышедшее из трудящегося чувашского народа, должно и в учебном заведении приучиться к тому труду, у которого выросло в деревнях,— к земледелию, огородничеству [71]. Хотелось ознакомить чувашскую молодежь с более культурными способами сельского хозяйства, тем более что в местностях, где наиболее скопилось чувашского населения, не было крупных помещиков, у которых имелись бы образцовые хозяйства. Подумывал я и об улучшении породы скота в чувашских селениях.

С той же целью приучить воспитанников Симбирской чувашской школы продолжать и в школе заниматься физическим трудом в свободное от школьных занятий время завел я при школе сад и огород. При покупке первоначальных зданий для школы и участка земли в 1876 году сада не было. Имелось всего несколько вязов и груш. Остальной, ныне существующий, сад разбит мною. Ученики школы принимали участие в посадке деревьев, поливке их, в устройстве дорожек, цветников. В цветниках росли даже редкие экземпляры цветов. Из фруктового сада ничего не продавалось. Все шло на нужды школы. Цветы я изредка дарил знакомым. Скоро я убедился в том, что нельзя оградить фруктовые деревья от набегов мальчишек соседних дворов, почти все отрясавших в незрелом еще виде, с которыми приходилось вести постоянную борьбу. Сад был общий мой со школою. Верхняя часть сада — на земле, принадлежавшей мне. Огород тоже находился на попечении воспитанников школы. С него, как и из сада, ничего на сторону не продавалось. Все шло на школу.

Если, бывая за границей и когда по России, мне случалось видеть образцовые, культурные, благоустроенные



Учащиеся Симбирской чувашской школы в столярной мастерской

деревенские хозяйства, а также учебные заведения, обслуживающие нужды сельского населения, то я никогда не оставался там подолгу и не посвящал себя изучению систем, положенных в их основу. Что же касается до чувашской школы и ее фермы, то мне пришлось здесь действовать самостоятельно, так сказать, на свой страх, имея в виду ту исключительную обстановку, в которой находились, создавались мною и школа, и ферма. Тут приходилось класть в основу одни лишь принципы, заимствованные иногда у Н. И. Ильминского и других, но практически насаждать их в зависимости от сотен мелких особенностей и чувашского дела *, и местных, симбирских, условий моей деятельности.

Устав Симбирской учительской чувашской школы был выработан летом 1885 года ** (точно года не помню) в Казани мною, Н. И. Ильминским и попечителем Казанского учебного округа Масленниковым, на даче последнего. Рукопись для доклада написал правитель канцелярии попечителя, но, конечно, с помощью Ильминского. Ильминский, помню, стоял за то, чтобы учителям и вос-

---

* То есть просвещения и национального подъема чувашей.
** Соответствует действительности.

питателям школы отнюдь не назначали больших окладов содержания, для того чтобы к делу просвещения чувашей привлекались люди идейные, любящие чувашский народ, а не случайные карьеристы, гоняющиеся прежде всего за материальными благами. В этом духе он говорил и на наших заседаниях на даче при выработке устава. Устав был выработан сравнительно быстро, но затем около пяти лет провалялся в Министерстве народного просвещения без движения. По мере того как развивалась жизнь чувашской школы, и программа ее, в сравнении с первоначальным уставом, увеличивалась качественно и количественно.

В чувашскую школу часто поступали чуваши, бедняки, сироты, приносившие с собой лишь лохмотья. Таких школа одевала на свои средства с головы до ног. Ни один чуваш или русский не были исключены по той причине, что не приносили с собой в достаточном количестве собственной одежды. По общим же правилам воспитанники при поступлении в школу должны были приносить с собой обувь и одежду.

Многие из вновь поступающих являлись в школу до невозможности грязными, покрытыми паразитами, с различными болезнями — вроде трахомы, худосочия, малокровия, болезни легких. Особенно часты были случаи прибытия с трахомой, как с болезнью, вообще распространенной в чувашских деревнях. Приходилось сейчас же обмывать, очищать, лечить вновь прибывших. Особенно удачно лечил трахому доктор Шостак.

Должность инспектора чувашских школ Казанского учебного округа была учреждена в 1867 году по инициативе Н. И. Ильминского, при содействии попечителя округа П. Д. Шестакова. В 1875 году с 26 августа на эту должность назначили меня.

В бытность попечителем Казанского учебного округа Масленникова сделано было из округа представление в Министерство народного просвещения (министром тогда был Делянов) о переводе моей должности в V класс из VI-го, каковое ходатайство и было удовлетворено.

Для того чтобы понять дальнейшее мое повествование, необходимо, чтобы я сделал общий очерк того, в каком положении ко времени моего назначения находилось школьно-чувашское дело в Симбирской губернии, запущенное моим предшественником *.

* Речь идет о Н. И. Золотницком.

Я нашел все школы в руках уездных земств губернии. Положение мое вначале было довольно странным и бесцветным. Я явился без всякой власти по отношению к школам, в роли советчика — специалиста по чувашскому вопросу, которого могли слушать и не слушать земства, школьные учителя, сельские священники, законоучительствовавшие в школах. К школам, кроме земства, дававшего средства, были привлечены еще особые училищные советы, непосредственно школами заведовавшие, причем и земство, и советы по закону должны были работать в тесном между собой единении, что на самом деле не всегда являлось. В состав училищных советов входили представители от земства (человека два, три), представители городов, Министерства внутренних дел, духовного ведомства и другие лица. Обычно председательствовали в советах уездные предводители дворянства. Школьно-чувашский вопрос еще более осложнялся тем, что во второй половине 1869 года были учреждены должности инспекторов народных училищ. На инспекторов возлагалась обязанность оказывать на школы (училища) нравственное влияние, действуя в желательном правительству направлении на народ с помощью этих школ, в том числе и инородческих. Инспектора народных училищ входили в состав губернского училищного совета, которому подчинялись уездные училищные советы. Вскоре после учреждения должности инспекторов народных училищ к ним перешло главное, от чего зависит успех школьного дела,— выбор, назначение, допущение в школы учителей, хотя право утверждения учителей на их местах было предоставлено училищным советам. В полное мое ведение из числа чувашских школ Казанского учебного округа с 1875 года была передана лишь Симбирская чувашская школа. Лишь в 1877 году фактически перешли ко мне и остальные чувашские школы округа, которые, как и Симбирская чувашская школа, остались под наблюдением инспектора (впоследствии директора) народных училищ и содержались на казенный счет.

Чувашские школы к этому времени намечались двух типов — одноклассные и двухклассные, находившиеся в ведомстве Министерства народного просвещения в Казанской, Симбирской, Самарской губерниях [72]. Ко мне перешло право назначения в чувашские школы учителей и учительниц, а также их увольнения. Инспектора народ-

ных училищ, хотя и обязаны были посещать вверенные мне школы трех губерний, но, в сущности, поставлены были в необходимость у меня, как у специалиста по чувашско-инородческому вопросу, учиться. Так как они мне, однако, не подчинялись, а имели право вмешиваться в мои распоряжения, то нередко не только мешали мне, но и вредили, тормозя делу просвещения чувашей,— кто по незнанию, а кто и по иным, с задачами просвещения ничего общего не имеющим, причинам. Инспектора должны были посещать инородческие (чувашские) школы, брать с них пример и вводить те же порядки в других, не инородческих школах губерний, входивших в состав Казанского учебного округа (последнее официально выражено не было, но само собою подразумевалось). Однако инспектора эти инородческих школ не посещали и примера с них не желали брать. Назначенный на должность инспектора татарских, башкирских, киргизских школ Казанского учебного округа Илиодор Александрович Износков, бывший директор всех школ Казанской губернии, под общим руководством Н. И. Ильминского действовал одновременно со мною, в полном со мною согласии, т. е. в точности следуя системе Ильминского, чем и представлял из себя приятное исключение.

До 1875 года в каждой губернии существовало по одному инспектору народных училищ. Износков был первым таким инспектором в Казанской губернии. В 1875 году он был переименован уже в директора народных училищ Казанской же губернии, в каковом звании я и застал его. С этого же 1875 года на каждую губернию стало назначаться по нескольку инспекторов народных училищ (по 3 или 4 инспектора), причем в большинстве случаев бывшие инспектора были переименованы в директоров, как это мы видим с Износковым. Остальное количество инспекторских мест было занято другими лицами.

Об Износкове, как и Радлове, бывших ближайшими сотрудниками Н. И. Ильминского, мне тоже хочется сказать особо, противопоставив эти две личности одну другой. А пока вернусь к моей деятельности в Казанском учебном округе.

При назначении меня инспектором чувашских школ Казанского учебного округа я застал ничтожное, сравнительно, количество таких училищ в округе. А именно: мне были переданы дирекцией народных училищ следую-



Мужская группа учащихся Симбирской чувашской школы. 1908 г.

щие чувашские школы [училища]: I) по Казанской губернии: а) Чебоксарского уезда — Бичуринская двухклассная, Тюрлеминская одноклассная, б) Козьмодемьянского уезда — Пихтулинское двухклассное, в) Ядринского уезда — Аликовское двухклассное и Тораевское одноклассное. II) По Симбирской губернии: а) Буинского уезда — в селе Кошки-Новотимбаево одноклассное (на моей родине, построенное до того при моем участии) и Новочукальское одноклассное; б) Курмышского уезда — Ходаровское одноклассное. III) По Самарской губернии: Бугульминского уезда — Девлизеркинское одноклассное.

Эти немногие школы были к тому же разбросаны на далеком друг от друга расстоянии. Они находились в заброшенном состоянии. И мне, вместо того чтобы продолжать намеченное уже дело, приходилось заново организовать его. До времени назначения меня инспектором я фактически заведовал одной лишь Симбирской чувашской школою, переименованной в семидесятых годах в «Симбирскую центральную чувашскую школу» (с целью уравнять воспитанников школы в правах по отбыванию воинской повинности с другими учебными заведениями). Это переименование было сделано без моего на то представления, вероятно, по ходатайству тогдашнего директора народных училищ Симбирской губернии Ульянова. С 1877 года Симбирской чувашской школе предоставлены были права по приготовлению учителей [73] (до того она была лишь воспитательно-образовательным учебным заведением для чувашского и русского юношества).

В 1890 году (6 февраля) вошло в силу положение о школе (устав).

В школу поступали и юноши подготовленные (окончившие сельские школы) и неподготовленные. В первое время для того чтобы заманить в школу, как в заведение мало известное, приходилось принимать с разного рода отступлениями от устава при приеме в первый класс. Русские юноши по уставу принимались в школу в целях дать возможность чувашской молодежи скорее ознакомиться с русским языком.

С назначением меня инспектором деятельность моя расширилась: я получил возможность открывать новые школы для чувашского населения и по этому вопросу прямо обращаться в земство. Я был тогда молод, жаждал деятельности. Но пока наладилось дело, прошло года два и мне всю свою энергию пришлось сосредоточивать

на одной лишь Симбирской чувашской школе. При попечителях Шестакове и Масленникове мне еще в округе содействовали, а позднее тормозили мои начинания. У меня где-то в бумагах должна храниться характерная резолюция недолюбливавшего меня и мою деятельность по просвещению инородцев окружного инспектора при Казанском учебном округе Свешникова, не исполнившего моего ходатайства, а все же написавшего нечто вроде того, что как было бы хорошо, если бы все русские инспектора народных училищ работали бы, старались бы так, как я. «О! Если бы...» и т. д. Помощи не было. Сочувствия не было. Хороших учителей не имелось... Трудно было работать иногда при таких условиях. А все же коечто мне удалось сделать.

За время нахождения моего на должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа открыты и преобразованы были по моей инициативе и при непосредственном моем участии следующие училища:

I. По Казанской губернии: а) в Чебоксарском уезде: 1) Икковское одноклассное; 2) Анаткинярское двухклассное; 3) Мало-Карачкинское двухклассное; б) в Ядринском уезде: 1) Персирланское одноклассное училище; 2) Хочашевское двухклассное мужское; 3) там же одноклассное женское; 4) двухклассное Абызовское; 5) Артемкасинское одноклассное; 6) Тораевское двухклассное*; 7) Аликовское двухклассное женское; в) в Цивильском уезде: 1) Норваш-Янишховское, преобразованное мною в двухклассное из одноклассного; 2) Янтиковское двухклассное; 3) Шихазанское одноклассное; г) в Тетюшском уезде: 1) Яльчиковское двухклассное; 2) Байглычевское одноклассное; д) в Спасском уезде: Сиктерминское, бывшее одноклассное, обращенное мною в двухклассное.

II. По Симбирской губернии: а) в Буинском уезде: 1) Больше-Аксинское одноклассное; 2) Старо-Чекурское одноклассное; 3) Кошкинское (на месте моей родины) одноклассное женское; 4) там же двухклассное мужское; 5) Черепановское одноклассное; 6) Альшеевское одноклассное; 7) Бюргановское одноклассное; 8) Рунгинское одноклассное; 9) Арабузинское двухклассное; 10) Норваш-Шигалинское одноклассное; 11) Тогаевское одноклассное; б) в Симбирском уезде: 1) Кайсаровское

---

* Преобразовано.

одноклассное; 2) Средне-Алгашинская миссионерская одноклассная школа; 3) Ново-Алгашинское женское училище, одноклассное; 4) Богдашкинское одноклассное; 5) Верхне-Тимерсянское одноклассное; 6) Нижне-Тимерсянское одноклассное; в) в Сызранском уезде: Малячкинское одноклассное; г) в Курмышском уезде — Юманайское одноклассное.

III. По Самарской губернии: Старо-Ганькинское одноклассное (позднее, без меня, обращенное в двухклассное).

Этот перечень училищ, созданных по моей инициативе, при моем содействии, не может считаться полным: память мне изменяет, и я невольно мог что-либо пропустить. В перечень не вошли те училища, которые нашел я начатыми постройкою и достраивал. Пихтулинское училище (Казанской губернии Козьмодемьянского уезда) найдено было мною в таком заброшенном виде, что оно закрылось. Я делал попытки воссоздать его, но безуспешно.

Я всегда старался преобразовывать одноклассные училища в двухклассные, обратив такие увеличения в систему.

Открытие школ (училищ), обыкновенно по системе Н. И. Ильминского в самых глухих местах, постройка храмов в большинстве случаев встречали всякого рода препятствия, главным образом со стороны сельского населения, не желавшего введения подобных новшеств. Приходилось опять-таки помнить заветы Ильминского, одним из которых было, по примеру татарского населения, возможно менее возлагать издержек и обязательств на местных жителей, а получать средства, так сказать, извне (пожертвования, субсидии), не раздражая излишними поборами. Поэтому прежде всего надо было добиться того, чтобы не желающие построения училища или церкви крестьяне не только этого пожелали, но вошли бы с соответствующим ходатайством. Кто имел лично дела с крестьянскими обществами, тот знает, насколько задачи, подобные вышеупомянутым, бывают по деревням трудно исполнимы. Тут нужны особые опыт, умение говорить с крестьянским сходом, сноровка, энергия, находчивость и т. п. Так как я сам вышел из крестьянской среды и до назначения меня на должность инспектора постоянно соприкасался с простым народом, то все эти качества во мне с годами выработались настолько, что мне удавалось победить упорство крестьян-чувашей, рассеять их подозрение, боязнь и получить обещание об отводе

земли под постройку, выдаче пособий, помощи при свозке на место построек лесного и иного материала и т. п. Приходилось выезжать на места, подолгу жить по деревням, неоднократно говорить на сходках и т. п.

Добившись успеха в главном, я уже работал далее с меньшими усилиями. Полученные мною от крестьянских чувашских обществ заявления утверждались земскими начальниками. Затем весь накопившийся материал со сметами, планами и т. п. представлялся мною через Казанский учебный округ в Министерство народного просвещения, а в некоторых случаях местным архиереям [74], если пособий от крестьян и Министерства народного просвещения не спрашивалось.

Когда подготовительная работа кончалась, роль моя сводилась к наблюдению, указаниям, ускорению, ко всякого рода содействию. Постройки производились на местах, вдали от более или менее крупных центров. И я появлялся на них время от времени, в зависимости от обстоятельств. Приходилось много, а иногда и далеко ездить по Волге на лошадях во всякое время года, ночевать где попало, питаться тем, что бог пошлет. Тем не менее все эти неудобства и лишения не ослабляли моей энергии.

Недостаточно было, однако, построить здания училищ, посадить в училища более или менее подходящих учителей и т. п. Надо было по заветам, программе Н. И. Ильминского сделать жизнь их возможно удобнее, культурнее для того, чтобы они ценили свою службу и подавали бы пример окружающему населению.

В этих видах я старался, чтобы учителя при жилищах своих устраивали сады, огороды, пчельники, поддерживая их, по возможности, в образцовом виде. Помещения учителей в одноклассных училищах входили в состав самого училища, что было, конечно, неудобно для учителей, особенно семейных. А так как в двухклассных училищах полагались отдельные от последних жилища для учителей, то я в интересах учителей старался обращать одноклассные школы в двухклассные. При двухклассных сельских чувашских училищах с моими инициативой и поддержкою устраивались мастерские — сапожные, столярные (другие виды мастерства не прививались), стараясь, таким образом, удовлетворить потребности и вверенных моему попечению заведений, и нужды бедного сельского населения, далекого от городских и

промышленных центров. Мною поощрялись попытки в глухих местах, населенных чувашами, открыть сельскохозяйственные школы с практическим обучением по разным отраслям сельского хозяйства. Чаще всего инициатива таких начинаний исходила от получивших образование в Симбирской чувашской школе, в которой я с теми же культурно-патриотическими целями ввел обучение ремеслам и отраслям сельского хозяйства. Вспоминается мне в этом отношении удачная работа в деревне священника из чувашей Виктора Зайкова, устроившего у себя в селе Кошелеях Цивильского уезда Казанской губернии огромный (что-то около тысячи колод) пчельник и прекрасно, образцово ведшего это дело на пользу себе и в пример окружающему сельскому населению, у него учившемуся пчеловодству, т. е. в том направлении, которое указывал всегда Н. И. Ильминский. (Надо заметить, что именно в Цивильском уезде существовали местности с условиями, благоприятствовавшими пчеловодству.)

Нечего много распространяться о том, сколько забот вызывало снабжение школ (училищ) необходимым школьным инвентарем, устройство классных столов, библиотек и т. п.

Само собою разумеется, трудясь в местностях, населенных чувашами, я имел поневоле в виду родное мне по крови чувашское племя. Но в деле просвещения народа я никогда не проводил резкой границы между инородцами и русскими, работая с одинаковой энергией и убежденностью для тех и других, не забывая того, чем я во всю мою жизнь был обязан русским, в том числе и таким простолюдинам, какими были Мушкеевы.

Для того чтобы выяснить школьные и иные нужды, связанные с жизнью, бытом, образованием и воспитанием как учителей, так и учащихся в чувашских школах, а также в целях ближе ознакомиться с преподавательским составом, устраивались съезды учителей одного или двух смежных уездов.

Трудно вообще в кратком очерке изобразить все то, что вызывалось в те дни, с одной стороны, самой жизнью и развитием вверенного мне чувашско-школьного дела, а с другой,— моим стремлением возможно полнее, шире провести в жизнь школьно-просветительные идеалы моего незабвенного великого учителя Н. И. Ильминского.

Для осуществления заветов Николая Ивановича я составил и разослал по чувашским училищам особую ин-

струкцию, в которой заветы эти явились как бы маяками для учителей и воспитателей на их трудном, ответственном пути служения народу.

Помню, как Ильминский двумя примерами охарактеризовывал то, как следует относиться к воспитанникам и воспитателям.

Относительно первых он всегда придерживался того взгляда, что не надо преждевременно, а тем более насильственно, развивать ребенка или юношу, прививая ему знания, не свойственные особенностям того народа, из которого он вышел, не совпадающие с особенностями его натуры и характера. Ильминский, как и Л. Н. Толстой, придавал огромное значение в деле воспитания как целых народов, так и отдельных личностей естественному, так сказать, стихийному, поступательному их развитию. Он сравнивал ребенка, юношу с прекрасным, многообещающим растением, стоящим в комнате и готовящимся к расцвету. Прошло бы еще несколько дней — и цветок на радость окружающим сам бы пышно раскрылся, заблагоухал. Но вот для того, чтобы порадовать обладательницу растения, устроить ей приятный сюрприз к ее именинам, неразумные друзья начинают усиленно поливать растение горячей водою или стараются раскрыть преждевременно руками цветочный бутон. Само собою, такие опыты, быть может, и дающие временные успехи и радости, ведут к гибели, порче самого растения. Помню, как однажды он сказал мне по отношению к детям: «Нельзя себе самоуверенно все приписывать, говорить: «Я разовью ребенка». Дал бы бог только не испортить того, что есть!..»

По отношению же к учителям, воспитателям он требовал, чтобы им была ясно указана определенная цель их деятельности, т. е. намечены определенные рамки, но чтобы затем в пределах этих рамок, хотя бы и узких, им была бы предоставлена известная самостоятельность. Ильминский выражался так: «Ты дал мне комнату, не выпуская меня из нее, требуя от меня, чтобы я в ней жил и трудился... Так дай же мне свободу хоть в этой-то небольшой комнате устроиться по моему усмотрению и вкусу, не требуя от меня, чтобы я ходил по одной лишь половице или в одном и том же направлении». Говоря так картинно, Ильминский имел в виду русских чиновников, которые всегда и везде, в том числе и в деле народного образования, старались все подвести под одни и те

же мерки, втиснуть в одни и те же рамки и часто, ничего не понимая, вмешивались, командовали, мешали и, конечно, только вредили, портили, тормозили и т. д.

Исходя из взглядов своих на постепенное, индивидуальное развитие ребенка или юноши, с устранением из сферы воспитания всего насильственного, иностранного, чуждого характеру и природе воспитывающихся, Николай Иванович как опытный педагог горячо восставал, например, против подражания немцам в деле устройства хотя бы воинских упражнений в школах и учебных заведениях России, не свойственных детскому возрасту, против устройства детских садов, таких игр, гимнастических упражнений, где все происходит по команде, по известной программе, притом с полным игнорированием личных, индивидуальных способностей каждого отдельного ребенка или юноши.

От каждого учителя (учительницы) в инородческом сельском училище, заведующих инородческими школами или в них преподающих, он требовал (лучше выразиться — ожидал) не только примерной, на глазах сельского населения, жизни и деятельности, но и сближения с темным, необразованным людом деревни.

По его мысли, такие образованные в массе необразованного крестьянства личности в целях заручиться симпатиями, доверием населения и сближения с последним на этой почве, должны были не только обладать элементарными знаниями по части медицины, законов и т. п. (чтобы в случае обращения к ним за помощью и советом иметь возможность оказать нуждающимся практическую пользу), но и стараться проникнуть в быт жителей тех деревень, селений, в которые были заброшены судьбою. От них ожидалось, чтобы они не только были доступны, внимательны к каждому, явившемуся к ним в дом за помощью и советом посетителю, но по возможности часто сами являлись бы в те семьи, где случались особые радости или горе, стараясь и тут проявить посильное свое участие, притом не на словах, а на деле.

Само собою разумеется, что теми же взглядами руководствовались не один Ильминский, но и другие истинные, шедшие в народ по призванию и любви, педагоги. Если я несколько подробнее коснулся этих взглядов моего учителя, то лишь потому, что они легли в основу той инструкции, которую я в качестве инспектора чувашских школ Казанского учебного округа создал и рассылал по

вверенным моему попечению чувашским школам, наблюдая за тем, чтобы она не оставалась мертвой бумагой, лежащей под сукном, а применялась бы, по мере возможности, на деле.

Имея в виду последнее, я дважды в год объезжал чувашские школы (училища). Иногда мне, впрочем, и не удавалось посетить одну и ту же школу дважды. При подобных официальных поездках-ревизиях я проводил в данном учебном заведении день-два, знакомился с нуждами училища, проверял в классах знания учеников, а значит и правильность педагогических приемов учителя; если приезд мой совпадал с праздником, то выслушивал пение училищного хора и т. п. К сожалению, мне по краткости времени пребывания в данном месте редко удавалось ходить по избам, в отдельные семьи, чего я требовал от стоявших во главе училищ. Происходило это и от усталости после иногда продолжительной дороги — на пароходе и лошадях. Бывало, по приезде я чувствовал себя иногда до того разбитым, что ложился для отдыха и только после того приступал к обычной школьно-ревизорской работе. Тут только, ввиду сильного утомления с дороги, я впервые узнал, что у меня, как и у Н. И. Ильминского, развивается склероз.

В последние годы своей жизни Николай Иванович Ильминский видел, как нарушаются его педагогическо-воспитательные принципы даже людьми, близко к нему стоявшими, хотя бы Николаем Алексеевичем Бобровниковым. Под влиянием развившегося недуга он часто на это махал рукою, видел, что в инородческие школы врываются заграничные приемы воспитания, особенно заимствованные у немцев, в том числе и излишнее увлечение военщиной. А по кончине Ильминского были люди, не церемонившиеся с усопшим, выдававшие за его взгляды свои личные увлечения и заблуждения.

Бобровников создал особую программу образования в инородческих учебных заведениях, кое-что мое выдав за свое, а в других местах программы ссылаясь на Н. И. Ильминского, будто бы придерживавшегося подобных взглядов. Программа имела некоторый успех только потому, что люди, мало осведомленные по части воззрений Ильминского, верили Бобровникову на слово. Я же, близко стоявший к усопшему и хорошо изучивший его отношение к тому или иному вопросу, возмущался раз-

вязностью человека, которому не могли не быть известны убеждения знаменитого народолюбца.

Со времени назначения меня инспектором инициатива открытия школ принадлежала мне. Я хлопотал у земства о поддержке школ субсидиями. Заботясь вообще о подведомственных мне школах Казанского учебного округа, я не забывал Симбирскую чувашскую учительскую школу, прося о ней, хлопоча и выпуская из нее учителей для школ. Мною устраивались съезды (так называемые краткосрочные курсы учителей) в г. Цивильске, Бичурине, Аликове (Казанской губернии), в Симбирске. Износков изредка приезжал на эти курсы, следил за ходом их занятий, даже руководил заседаниями, ведением дел. Курсы эти тянулись иногда до 6 недель. Симбирские съезды (курсы) Износкову не подчинялись, а присылался сюда кто-либо из инспекторов народных училищ, например, Вишневский (инспектор народных школ Ядринского, Цивильского и Козьмодемьянского уездов Казанской губернии). Мне случалось с Износковым ездить по школам Казанской губернии в качестве инспектора.

Что касается до библиотеки Износкова, то история ее приобретения для Симбирской чувашской учительской школы такова. В 1911 или 1912 году, когда я был в Петербурге, Износков собирался ехать на Кавказ к замужней дочери, жившей недалеко от Екатеринодара. Но денег у него на эту поездку не было. Он мне и говорит о том, что готов бы был продать мне свою библиотеку для того, чтобы добыть средства на эту поездку. Спрашиваю его, что он за нее хочет. «А что дадите! Рублей 200». «Сколько же вам для поездки сейчас нужно?» — спрашиваю его.— «Рублей 300. Расходов по пересылке книг брать на себя не могу». Отвечаю ему, что постараюсь найти деньги. При этом я думал занять деньги у сына Коли. В общем, разговор был поверхностный. Но я видел, что ему тяжело живется в Петербурге в материальном отношении, что ему хочется ехать на Кавказ отдохнуть у дочери, а средств на такую поездку нет. В тот же день я был у брата моей жены, Николая Алексеевича Бобровникова, занимавшего в то время должность члена совета министра народного просвещения, сообщив ему о моем разговоре с Износковым. При нашей беседе присутствовала жена Бобровникова Софья Васильевна, урожденная Чичерина (сестра нынешнего советского министра иностранных дел). Она и говорит мне и своему мужу:

«И говорить нечего! Надо библиотеку сейчас взять». Мы (т. е. я и Н. А. Бобровников) решили приобрести библиотеку за 300 рублей пополам, взяв на себя пополам и доставку книг по железной дороге в Симбирск. Первоначально деньги — 300 рублей — все сполна уплатил Износкову Бобровников. А потом я вернул Бобровникову то, что следовало с меня, т. е. половину этой суммы. Все деньги за пересылку тоже уплатил сначала Бобровников, а я ему вернул половину этой суммы. Когда состоялась продажа Износковым библиотеки, то Износкову было уже около 80 лет. Однако он был бодр, сохранил память. Износков умер в Петербурге года три тому назад, вернувшись с Кавказа. Мой сын Коля бывал в его доме. Библиотека Износкова прибыла в Симбирск при каталоге, в образцовом порядке. Я же ее и проверял по каталогу.

О приобретении библиотеки мною было донесено попечителю Казанского учебного округа. Зная состав книг библиотеки, среди которых много было по чувашскому (вообще по инородческому) вопросу, я и приобрел библиотеку Симбирской чувашской учительской школе. Покупая библиотеку Износкова, я имел в виду взгляды Н. И. Ильминского на подобного рода собрания книг и документов, которым он придавал значение, как материалам для будущей истории. Библиотека эта ни для какого музея не предназначалась. Я ее передал на хранение В. Н. Орлову с тем, чтобы она помещалась отдельно от библиотеки тогдашней Симбирской чувашской школы. Мне досадно слышать, что Орлов помимо моего согласия выдавал книги из этой библиотеки частным лицам, благодаря чему части книг не хватает. Когда в 1908 году праздновался 40-летний юбилей Симбирской чувашской учительской школы, то говорили о необходимости устройства особого при школе музея, где были бы собраны материалы, относящиеся к истории этого учебного заведения. Но дальше разговоров тут не пошли. О каком-либо общенародном, педагогическом, археологическом музее разговора ни тогда, ни позднее не было. Вообще никогда официально за время моего нахождения во главе Симбирской чувашской учительской школы вопроса о каком-либо музее не поднималось. Знаю, что Орлов самостоятельно стал собирать костюмы, вышивки, вещи чувашского быта, как любитель. Но чтобы все это предназначалось Орловым для музея, я от него ранее не слышал. Не помню, чтобы я протестовал против какого-либо

музей или мешал его устройству. Когда приближался 40-летний юбилей школы, я, помня заветы Ильминского последних лет его жизни, стал собирать материалы по деятельности Симбирской чувашской школы. Вообще я старался ознакомить воспитанников школы с теми местами и странами, по которым мне довелось путешествовать,— с Кавказом, Крымом, за границей. Для этого я нарочно во время странствий закупал фотографические виды наиболее интересных местностей, часть этих фотографий дарил школе с тем, чтобы их там развешивали, а ученикам, собирая их, рассказывал о тех местностях, где побывал, равно как и о наиболее интересных эпизодах моих путешествий. Насколько знаю, фотографии, мною подаренные, из школы пропали.

Совершенную противоположность с Износковым составлял Василий Васильевич Радлов, русский немец, окончивший Берлинский университет со званием доктора филологических наук этого университета. (Он особенно изучал в университете монгольский язык.) Благодаря протекции одной из великих княгинь Радлов попал в город Барнаул Томской губернии, где устроился учителем немецкого языка в местном учебном заведении, что было, если мне не изменяет память, в конце шестидесятых или в начале семидесятых годов. Недалеко от Барнаула он нашел группу русских миссионеров. В составе этой миссии, между прочим, находился священник Чаглоков (происходивший из алтайских инородцев, ученик Макария, обращенный им в православие). Миссия имела целью обращение в православие многих племен, в том числе и монгольского племени шорцев. В этой миссии был священник, который собрал и записал много устных произведений алтайцев (преданий, рассказов, песен, сказок и т. п.). Все они переданы были в рукописи Радлову (по часто свойственной русским простоте) для того, чтобы оказать содействие ученому иностранцу, находящемуся на русской службе. Члены миссии ходили, записывали, работали. А чужой ими воспользовался. Радлов переписал их по своему способу писания — латинским шрифтом, приспособленным к немецкому языку, а затем напечатал на средства русской императорской Академии наук четыре огромных тома замечательного исследования, включив в них и интересные воспоминания священника Чаглокова [75].

В сборнике Радлова — богатое собрание народно-поэ-

тических произведений. При этом было сделано весьма ценное для науки открытие: некоторые сказания, легенды алтайцев по содержанию совпали с древнерусским народным эпосом. По поводу трудов Радлова В. В. Стасов в «Вестнике Европы» напечатал ряд статей, подчеркивая это совпадение и делая из него выводы. Одновременно в разных других органах печати появились тоже статьи, посвященные сборнику Радлова.

Когда Н. И. Ильминскому предложено было звание академика Академии наук, он, не желая расставаться с Казанью и с трудами по инородческо-просветительному делу, отказался от этого почетного звания. В то же время он воспользовался удобным случаем сплавить нежелательного сотрудника из Казанского учебного округа, предложив Академии вместо себя Радлова. Академия согласилась на это. Радлов уехал в Петербург.

Николай Иванович мне говорил, что Радлов, зная о неудовольствии против него его, Ильминского, сказал ему перед отъездом: «Я вам обязан местом академика. Если, приехав в Петербург, вы меня не посетите, то это будет значить, что вы хотели меня выжить...» Тем не менее Ильминский так и не посещал его. Перед отъездом в Академию наук Радлов не раз предлагал мне передать ему рукописи мои с записанными чувашскими песнями, поговорками, сказками и т. п. Но я, зная судьбу записей священника алтайской миссии, этого не сделал, а передал в большей части Н. И. Ашмарину, у которого они и сейчас должны храниться[76]. Перейдя в Академию наук, Радлов продолжал научно работать. Между прочим, ему удалось создать классификацию — найти родство, взаимоотношения тюркских языков, указав на разницу их с монгольскими. Упоминаемая работа в Казани подготовлялась Радловым, но была им приведена в систему, закончена в Петербурге. Потом Радлов ездил с научной целью на Дальний Восток, в Монголию, делал там раскопки, прочитал надписи на скалах сибирских рек на одном из тюркских языков и т. п. Но я не претендую описывать по памяти его бесспорные научные заслуги.

Главное мое внимание было обращено в течение 50 лет на Симбирскую чувашскую школу как па учебное заведение, откуда должен был бы исходить свет, разгонявший тьму, висевшую над родным мне чувашским народом. Мне повезло в том отношении, что все эти 50 лет я находился при одном и том же деле, мною самим

избранном целью жизни, не кочуя, подобно другим чиновникам, в ущерб делу с места на место, от одной сферы деятельности часто к совершенно противоположной. Симбирская чувашская школа, благодаря тому, что во главе ее стоял так долго я, хорошо знавший прошлое, быт чувашского народа, занятый притом издательско-переводческой деятельностью, с течением времени сделалась как бы справочным центром по разного рода вопросам, связанным и с жизнью чувашей, и с переводческо-издательским делом, а также складочным местом изданий на чувашском языке.

В моей служебно-просветительной деятельности я всегда руководствовался (по указанию Н. И. Ильминского) правилом не держать у себя, на руках, казенных, общественных, частных денег, связанных с просвещением чувашей, а сосредоточивать их на местах в соответствующих учреждениях.

Этим же правилом я руководствовался обыкновенно и в деле школьно-церковного строительства, сосредоточивая все имевшиеся для этого средства в местных (сельских) комитетах по постройкам.

Деньги на это просветительное дело стекались из разных источников: от земства (средства, пожертвования местных крестьян), училищные (накопившиеся от остатков), пожертвования частных лиц, учреждений, обществ и т. п. В зависимости от источников мною определялся и состав сельских комитетов.

Обыкновенно училище устраивалось в намеченном для того пункте (чаще всего в каком-либо глухом угле), в частном доме (хате, избе). Для преподавания намечались учитель (по общим предметам) и законоучитель, местный священник для преподавания закона божия, а также для заведования училищем. На ответственности председателей комитетов лежала вся работа комитета. Иногда на помощь им я назначал и учителей из других школ, имевших уже известный в строительстве и нуждах училищ опыт. В состав комитетов входили земские начальники (пока должность эта существовала), представители земства (если постройка созидалась на средства земства), один или несколько крестьян-представителей от данной волости, а также представители местного общества, участие которых в комитете признавалось мною полезным для успешности дела. Общее же руководство и наблюдение за всеми комитетами я оставлял

за собой, неся, таким образом, долю ответственности.

Для того чтобы избежать лишних расходов, особого архитектора, который наблюдал бы за постройкою, не назначалось. Предварительно, конечно, вырабатывался при моем участии в Симбирске или на месте общий план данной постройки, равно как составлялась и предполагавшаяся для нее смета. Для одноклассных училищ существовал один общий образец, по которому они строились. Для двухклассных такого общего образца не было. Конечно, в зависимости от местных условий и хода работы комитетам приходилось иногда делать отступления от намеченной первоначально программы, однако не иначе, как с моего на то согласия. Во время сооружения построек мне приходилось выезжать в села, где они производились. А когда постройка кончалась, на общих основаниях мною приглашался через губернское правление архитектор для осмотра, причем составлялся соответствующий акт и здание передавалось заведующему училищем. Если я в этом лично не участвовал, то мне обо всем доносилось.

Хочу упомянуть и о времени, проведенном летом в родной мне деревне Кошках, где протекало мое детство, и около села Старые Бурундуки, где в юности я воспитывался в удельном училище, находившемся в ведении священника Баратынского.

Я с женой и детьми Лелей (Алексеем), которому тогда было лет 7—8, Колей и Лидией провели в Кошках лето 1885 или 1886 года. Жили мы в здании училища, которое пустовало, так как воспитанники были распущены на каникулы. Посещая деревню и знакомясь с ее жителями, я натыкался на случаи поразительной бедности, ютившейся притом чуть не рядом с чувашским училищем. Эти встречи напоминали мне эту же деревню во дни моего детства. Надо все это самому видеть! В сравнении с этими нуждающимися я, вышедший из той же деревни, казался богачом. Особенно обратила на себя мое внимание одна вдова с детьми. Конечно, мы с нею делились чем могли, т. е. помогали ей. Удивительные любовь, терпение, трудолюбие! Пользуясь случаем, я проводил моим детям в воспитательных целях параллели между их жизнью в довольстве и этой поражающей нищетою, молчаливо, безропотно несущей свой крест...

В селе Бурундуках мы провели лето 1891 года, в двух верстах от села, на мельнице губернатора Теренина,

отдававшейся в аренду и обращенной нами в дачу. Священник Баратынский тогда был еще жив. Детям нравилось пребывание здесь, тем более что имелось отличное купанье (чего в Кошках не было).

Когда мною вместе с преподавателями Симбирской чувашской школы в 1896 году была совершена поездка на ярмарку в Нижний Новгород, то по дороге мы останавливались в Ярославле, посетив находившуюся верстах в восьми огромную фабрику, так называемую «Большую Ярославскую мануфактуру», на которой работало около двадцати пяти тысяч человек. Вот где еще раз, бродя с моими школьниками по корпусам фабрики и знакомясь с работами последней, натолкнулся я на истощенных изнурительной, в негигиенической обстановке, работою людей, увидев бледные лица, впалые груди и другие признаки тяжелой нужды. Когда рабочие узнали, что воспитанники школы в большинстве — чуваши, то заинтересовались нами и стали нас расспрашивать: «Откуда вы?» — «Из Симбирска».— «Из Симбирп?! Чай, там, в Симбирп-то, лучше живется, чем у нас на фабрике?!» — говорили они.

Мысль об устройстве при Симбирской чувашской школе и женского отделения училища была у меня давно. Но я не осуществлял ее до тех пор, пока не женился. Устройство женского отделения совпало у меня с моей женитьбой. Если бы я, будучи холостым, устроил женское отделение, то это только дало бы повод моим врагам создать сплетни о моей безнравственности. Открыто было женское отделение около 1 октября 1878 года (через 10 месяцев после открытия мужского отделения).

Я знал о тяжелом положении чувашской женщины в деревне, которое мало чем разнится от такого же положения русской крестьянской женщины. Но мне не случалось видеть, чтобы русские женщины пахали и косили. А у чувашей это практикуется. Мне казалось несправедливым, чтобы в то время, когда для чуваша-мужчины открывалась дорога к просвещению, женщины-чувашки оставались бы в невежестве. Мне рисовалось, что из школы выйдут в народ чувашский опытные учительницы.

Чувашские девушки оправдали мои надежды. Из чувашской школы вышло много хороших учительниц для сельских школ. Между чувашками оказались даже даровитые личности, так что десять бывших воспитанниц

Симбирской чувашской школы пошли далее, получив высшее образование на Петербургских, Московских женских курсах и в педагогическом женском институте. Особо выдающихся чувашек до сих пор не появлялось.

Но из среды воспитанников чувашской школы уже имеется несколько человек, которых можно причислить к выдающимся по дарованиям.

Среди них рано угасший (от чахотки) воспитанник чувашской Симбирской школы математик Охотников, которому покровительствовал Н. И. Ильминский. Смерть помешала ему окончить университет. Но его намечали оставить при Казанском университете в качестве кандидата в профессора по кафедре астрономии.

Из чувашской школы вышел уже обративший на себя своими произведениями внимание художник Алексей Афанасьевич Кокель, чуваш.

В 1907 году по распоряжению попечителя Казанского учебного округа Деревицкого был исключен из чувашской школы весь первый класс за противогосударственную пропаганду [77]. В число исключенных, к сожалению, попал и воспитанник-чуваш Константин Иванов. Это был симпатичный, скромный, красивый по наружности, богато, всесторонне одаренный юноша, обладавший не только логической способностью, но и эстетическими талантами. Он был поэт и прекрасный переводчик, переведший очень удачно на чувашский язык лермонтовскую «Песнь про купца Калашникова» и некоторые другие рассказы. Из оригинальных вещей Иванов написал на чувашском языке повесть *, озаглавленную «Нарспи» (чувашское женское имя). Года через два после исключения из школы я выписал Иванова в Симбирск. Так как он был и хороший художник, то стал жить, давая уроки рисования, грамоты, письма. Когда в чувашской школе на домашней сцене ставили отдельные сцены из оперы «Жизнь за царя»**, то Ивановым для них писались декорации. Русский язык он знал отлично, быстро его усвоив, несмотря на его трудности. Я с ним занимался. Например, знакомил его с Белинским, чтобы помочь уразуметь значение лермонтовской поэзии. Отец Иванова был богатый крестьянин, живший в Уфимской губернии, недалеко от города Белебея, в селе Слакбаш. Вся семья

---

* Поэма.

** Речь идет об опере М. И. Глинки «Иван Сусанин».



П. М. Охотников



К. В. Иванов

чувашей Ивановых (в том числе и Константин) была из новокрещеных. В семье Ивановых существовала чахотка. В Симбирске эта болезнь обнаружилась и у поэта-художника Иванова. Он поспешил уехать на родину, к отцу, пожил в деревне два-три месяца и там скончался. Куда делись его рукописи, увезенные им с собой в деревню,— не знаю [78].

Припоминаю воспитанника Симбирской чувашской школы чуваша Павла Миронова, поступившего в школу после того, как я нашел его, заброшенного, с паршами на голове. Взяв мальчика из сожаления к его положению в школу, я обмыл его, сам не раз водя его в баню, а коросту на его голове сам лично соскребывал руками, чем и излечил его от этой болезни. Миронов выказал выдающиеся способности по математике, так что впоследствии обратил на себя внимание ученого мира своими математическими трудами. Он окончил Оренбургский учительский институт. Служил преподавателем в городских (бывших уездных) училищах. В 1906 году Н. А. Бобровников, бывший попечитель Оренбургского учебного округа, живший в Уфе, по моей просьбе повысил Миронова, дав ему место,— сначала инспектором народных училищ в Уральской области, потом директором училищ

в той же области. Миронов, прослужив положенное время, вышел с пенсией в отставку и жил в Уфе. Он, будучи в Симбирской чувашской школе, отличался большими способностями, учился хорошо и окончил школу рано. Изредка он бывал у меня в Симбирске. В последний раз я видел его в Уфе, в 1906 году, по возвращении моем из-за границы. Миронов был женат. Детей у него не было. Он издал три своих труда по математике — по геометрии, алгебре и арифметике [79]. Мне рассказывали, что будто бы Миронов решил успешно предложенные Французской академией наук математические задачи. (Сообщал мне это С. А. Акимов.) Миронов с успехом занимался еще естественными науками, особенно ботаникой.



П. М. Миронов

Моя молодая (тогда) жена Екатерина Алексеевна приняла горячее участие в организации женского отделения, взяв на себя преподавание поступившим чувашским девушкам русского языка, истории, географии, начатков грамоты и других предметов, что ею продолжалось до последнего времени — сначала бесплатно, а затем за вознаграждение.

Первое помещение для женского отделения было отведено в том же одноэтажном деревянном здании, где была ранее и наша квартира. Хлопот было немало. Между девушек были некоторые с красивой наружностью. Приходилось учредить особый надзор, чтобы от соседства с подростками-учениками не произошли бы нежелательные сближения. Иногда и по ночам мне приходилось делать внезапные обходы школы — с целью контроля за нравственностью и порядком.

Екатерина Алексеевна вообще принимала живое участие в жизни школы. Когда заболевали воспитанники



И. Я. Яковлев с женой и внучкой Катей. 1910 г.

или воспитанницы, она ухаживала за ними. Входила в быт и нужды семейств преподавателей и воспитателей школы. Помогала устраивать елки для школьников (для мальчиков и девочек устраивались отдельные елки).

Хочу сказать еще несколько слов о моей жене. Я женился на Екатерине Алексеевне 26 сентября 1877 года, когда до узаконенных 16 лет ей не хватало нескольких дней, почему на бракосочетание потребовалось через Н. И. Ильминского испросить особое разрешение от бывшего тогда казанского архиепископа Антония (в миру Амфитеатрова). Оставшись сиротой около 10 лет, Екатерина Алексеевна взята была на воспитание Ильминским, оставаясь у него до замужества. Ильминский дал ей приданое, устроил в своей квартире свадьбу. Екатерина Алексеевна родилась 2 октября 1861 года и была в молодости живого характера. С нею я познакомился у Ильминского. Екатерина Алексеевна, выходя замуж,

училась в старшем классе женской гимназии. Вышла из гимназии, не окончив ее ввиду замужества. Ильминский дал ей порядочное домашнее воспитание (до поступления в гимназию). К ней ходили учительницы-немки, так что она довольно хорошо говорила по-немецки, что пригодилось нам во время заграничных моих с нею путешествий. По-французски же она объясняется плохо. В молодости, до свадьбы, играла легкие пьесы на рояли. Теперь она игру эту забросила, забыла. Когда через год после моей женитьбы при мужской Симбирской чувашской учительской школе открылось женское отделение, куда стали поступать и взрослые девицы (чувашки и русские), я считал неудобным оставаться во главе этого женского отделения, которое перешло в ведение моей жены. В этом отделении были и безграмотные девочки, и девочки плохо грамотные. Первоначальная программа женского отделения по мере того, как шло вперед преподавание, постепенно расширялась. Так как вывоз из деревень чувашских девушек и девочек был вначале делом новым, необычным в деревне, то приходилось прибегать к различным способам их вербовки. Так, например, мы с женой оплачивали стоимость их переезда на пароходе до Симбирска. В самом начале Екатерина Алексеевна взяла на себя преподавать все предметы. Она была в одно и то же время учительница, и воспитательница, и надзирательница. Дело у нее пошло сразу же хорошо, с учащимися завязались прекрасные отношения, благодаря ее уменью мягко и в то же время настойчиво к ним относиться. Учащиеся всегда ее любили. Когда через год у нас родился первый ребенок — сын Леля — и жене моей пришлось самой кормить его, была нанята Софья Ивановна Лебедева (русская, говорившая по-чувашски), сирота, дочь русского священника в чувашском селе. Эта Лебедева в женском отделении в течение года с небольшим заменяла мою жену. Потом она поступила в городе в сестры милосердия. Но пока учительствовала в отделекии, жена моя не оставляла общего там своего руководства. Я редко посещал женское отделение, главным образом лишь во время экзаменов, не желая, по примеру Н. И. Ильминского, вмешиваться в чужое дело, производить давление. Жена моя с тех пор в течение 40 лет заведовала этим отделением почти непрерывно, отрываясь от дела лишь поездками в Москву на свадьбу Лиды, дочери нашей, за границу и т. д. Екатерина Алексе-

евна много делала для учащихся своего женского отделения, в чем я ей помогал по мере возможности. Из собственных наших средств собирались деньги на свадьбы, особенно если таковые происходили между чувашами, бывшими учениками и ученицами Симбирской чувашской учительской школы. При этом мы избегали обращаться за помощью к знакомым и сборов не делали. Только в нескольких случаях мы пользовались на такие нужды процентами с особого капитала в 10 или 5 тысяч рублей, положенного симбирским купцом Шатровым на выдачу пособий в таких случаях в размере каждый раз 50 рублей. Это бывало в последнее время. На наши с женой собственные средства наиболее нуждающиеся девочки снабжались бельем, платьем и другими принадлежностями туалета. Все это было, конечно, скромное, небогатое, но приличное. И по выходе из женского отделения девочки часто обращались к Екатерине Алексеевне и ко мне за материальной помощью и протекцией, причем мы старались исполнять по мере возможности их просьбы. Екатерина Алексеевна, кроме занятий в классах, старалась и развлечь своих воспитанниц, устраивала скромные елки на рождество, прогулки в окрестности Симбирска (например, в Киндяковскую рощу). Устраивались и литературные вечера. При всех этих развлечениях применялся мой педагогический принцип разобщения мальчиков от девочек [80]. Екатерина Алексеевна всегда была удивительная рукодельница, почему и в ее отделении процветало рукоделие всякого рода, удостаивавшееся даже наград на выставках. Особенно хорошо у нее были поставлены вязание, шитье, вышивки. Девочки сами обшивали себя под ее руководством. Впоследствии только была приглашена особая учительница по рукоделию, жившая вне чувашской школы и часа на два туда для уроков приходившая. За рукоделия и ученические работы женское отделение, во главе которого стояла Екатерина Алексеевна, получило почетные награды на выставках — дважды в Казани, дважды в Симбирске и на Нижегородской всероссийской выставке. Жалованье, которое получала моя жена за свои труды по женскому отделению, было ничтожно — всего 25 рублей в месяц. Потом его увеличили до 30—35 рублей в месяц. В 1888—1889 гг. или несколько позднее помощницей жены была назначена Наталья Яковлевна Яковлева, не бывшая с нами в родстве. Она помогала жене и по преподаванию, и по



Иван Яковлевич и Екатерина Алексеевна Яковлевы среди внуков; второй справа — А. Д. Некрасов, муж дочери Лидии. 1928 г.

надзору за воспитанницами, живя тут же, при женском отделении, в чувашской школе, получая такое же содержание, как и Екатерина Алексеевна. Таким образом, в

отделении уже были две учительницы. Эта Яковлева работала в школе до 1917 года.

Насколько хорошо было поставлено в отделении преподавание, видно из того, что некоторые из его воспитанниц по выходе из него окончили высшие учебные заведения. Таких, особо выделившихся воспитанниц, за все время существования отделения было с десяток. Одна из них (Свешникова), русская, окончив медицинские курсы в Петербурге, была потом доктором в земской больнице. Чувашка Назарова окончила потом курсы в Петербургском педагогическом институте (о ней я вел переписку с профессором Платоновым, устраивая ее на эти курсы). Была еще одна наша чувашка, дочь члена Стерлитамакской уездной земской управы (Уфимской губернии), окончившая какие-то высшие курсы. Сергеева, русская, дочь учителя, окончила в Петербурге математические курсы и где-то учительствовала еще недавно. Были и другие, выдававшиеся своими способностями, окончившие высшие учебные заведения, фамилий которых сейчас не припомню. Но особенными способностями, в массе, девочки нашего отделения не отличались. В этом отношении мальчики были выше их. С прибытием в чувашскую школу в качестве учителя рисования Н. Ф. Некрасова эта часть образования значительно поднялась. Но и по рисованию выдающихся способностями воспитанниц не было.

Кроме прогулок в окрестности Симбирска устраивались и более отдаленные, с воспитательной целью, путешествия, как например, в Москву, в Ярославль, на Нижегородскую выставку, под руководством Натальи Яковлевны Яковлевой. А в поездке в Н. Новгород участвовала и Екатерина Алексеевна. Девочки женского отделения принимали участие в работах на сельскохозяйственной ферме под Симбирском, где подолгу жили, исполняя разного рода работы: пололи, жали, собирали овощи и т. д. Я с семьей часто на лето переселялся на ферму. А Екатерина Алексеевна наблюдала и на ферме за детьми, заботилась об удобстве их размещения, пище, делала с ними прогулки. Девочки ценили заботы Екатерины Алексеевны, относясь к ней всегда хорошо. Между ней и детьми никогда столкновений, недоразумений не происходило.

У жены моей имеется золотая медаль за преподавательские обязанности. (Такие медали, сколько помню,



Воспитанницы женских педагогических курсов при Симбирской чувашской учительской школе. 1914 г.

выдавались за 10 лет выдающейся педагогическо-воспитательной деятельности.) У ее сослуживицы по женскому отделению Натальи Яковлевой тоже была медаль, только серебряная. Медали выдавались по представлению Казанского учебного округа. У жены моей имелись и отдельные благодарности от начальства этого учебного округа.

Следует отметить, что среди воспитанниц отделения, и русских и чувашей, были обладавшие хорошими голосами, имевшие недурные музыкальные способности. В этом отношении женская половина нашей школы отличалась от мужской. В церкви пели два отдельных хора — мужской и женский, причем несколько девушек входили в состав мужского хора. Кроме того, оба хора иногда составляли общий хор. Более способные ученики и ученицы обучались еще и игре на скрипке, имея в виду, что подыгрывание на этом инструменте иногда необходимо им будет, когда в качестве сельских учителей и учительниц они станут обучать хоровому пению в сельских школах своих учеников. Мы с женой оказывали иногда пособие и протекцию школьным учителям и учительницам, вышедшим из Симбирской чувашской учительской школы, когда они нуждались по выходе из школы в приобретении скрипки. Танцам в нашей школе воспитанников и воспитанниц не обучали, опять-таки по примеру Н. И. Ильминского, игнорировавшего в своих заведениях этот род светского увеселения. Но, тем не менее, как-то всегда выходило, что девочки сами по себе научались танцевать. Женское отделение помещалось первоначально в том деревянном флигеле, где ныне живет В. Н. Орлов и где одновременно с отделением рядом находилась и наша квартира. Тут были и спальни девочек, и классные их комнаты, и кухня. В 1885 году мы перебрались в тот дом, где живем и сейчас. Рядом с нашей квартирой и внизу поместилось с тех пор и женское отделение, так что Екатерине Алексеевне было легко наблюдать за порядками в его помещении, за поведением воспитанниц.

Я с женою дважды ездил за границу: первый раз во Франценсбад (в Австрию), а во второй — Наугейм (в Германию). В оба раза при нас детей не было. В первую поездку лечилась она, а во вторую — мы оба. Когда мы были во Франценсбаде, то сын наш Коля приезжал к нам туда из Лиона и Сент-Этьена, сопровождая меня потом в Швейцарию. Жена моя и жена Шатрова остава-

лись во Франценсбаде, а я, Шатров и Коля совершили путешествие по Швейцарии и Северной Италии (где были в Милане, на северных итальянских озерах — Лугано, Лаго-ди-Комо, Лаго-Маджоре).

Жена моя, как и я, в молодости не очень-то любила общество, изредка показываясь в свете, а более любя принимать у себя. Иногда воспитанницы женского отделения (постоянно кто-либо из них) у нас то обедали, то пили чай: приглашала их Екатерина Алексеевна для того, чтобы приучить их держаться прилично в обществе. В семейной жизни я был счастлив и в жене, и в детях моих. Когда девочкам женского отделения приходилось разъезжаться на большие праздники или каникулы, то жена моя старалась, чтобы они ехали вместе, или с родными, или имели надежных попутчиков. Но были и такие из них, которые по дальности расстояния ехать на праздники не могли, например, жительницы Оренбургской, Уфимской губерний. Для таких-то девочек Екатерина Алексеевна и старалась разными удовольствиями скрасить праздники, проводимые ими вне их семейств.

Придерживаясь заветов Н. И. Ильминского, я всегда старался, чтобы между чувашской школою и мною, как ее основателем, с одной стороны, и ее воспитанниками — с другой, по выходе их из школы поддерживалась живая связь. Поэтому мною принимались все меры к тому, чтобы оказывать вышедшим из школы помощь во всех случаях, когда они о том ко мне обращались. А таких случаев было много и притом по самым разнообразным вопросам, чему свидетельством могут служить письма, если все они у меня сохранились. Меня просили пристроить детей в учебные заведения, по другим семейным делам, уладить столкновения с прихожанами, дать практические советы и т. д. Иногда обращались и за денежной помощью. Мне приходилось выдавать небольшие пособия, хотя сам я никогда не обладал достаточными средствами. Помню, что 50 рублей у меня попросили на какое-то чувашское издание. Трудно припомнить все эти мелочи.

В Симбирской чувашской школе было введено со временем и светское пение. Из произведений русских композиторов давалось преимущество Глинке. Много услуг в этом отношении оказал школе Иван Митрофанович Димитриев, чуваш, сын священника, обладавший выдающимися музыкальными способностями и хорошим голо-

сом. Он вышел из 1-го или 2-го класса Казанской духовной семинарии и поступил в Петербургскую придворную певческую капеллу. При капелле были регентские курсы, которые он кончил. С 1910 года он преподавал музыку и пение в Симбирской чувашской школе. До Димитриева в школе устраивались литературно-музыкальные вечера. Но при нем дело это пошло лучше. Он хорошо поставил музыку, ввел обучение игре на скрипке. Благодаря его стараниям в школе устроился свой домашний театр, на котором были поставлены, например, сцены из оперы «Жизнь за царя» музыкально-вокальными средствами самой школы. При Димитриеве были заведены инструменты для духового, струнного оркестров. Между учениками нашлось немало даровитых солистов. Многие из воспитанников увлекались музыкою. На вечерах выступали в качестве солистов свои певцы. Особенно хорошо были поставлены Димитриевым пение и музыка в 1910 и 1911 годах. Он проработал в школе лет пять. Умер в Симбирске от чахотки. Деятельность его совпала с пребыванием в школе Константина Иванова, поэта-музыканта, о котором я упоминал еще выше. Иванов и готовил декорации к тем сценам из оперы «Жизнь за царя», которые ставил Димитриев. Были в школе и другие преподаватели музыки, принесшие ей пользу, как например, немец Отто Федорович Крамер, много и успешно работавший с оркестром, Яковлев, музыкант из Симбирского кадетского корпуса.

В Симбирской чувашской школе, кроме музыки и пения, было много обращено внимания и на живопись, рисование. В этом отношении нынешний преподаватель рисования Николай Федорович Некрасов как художник оказал школе большие услуги, развив у Константина Иванова и других учеников их природные способности, умея заохотить, заставить работать. Он находится в школе с 1902 года.

По распоряжению попечителя Казанского учебного округа хор школы участвовал на вечере во время юбилея Симбирской гимназии. (Днем, на торжественном акте, я подносил от имени школы адрес.) [81]

Принимала школа участие в юбилейных торжествах по случаю празднования столетия 1812 года и в других выдающихся событиях симбирской и общерусской жизни. (Обо всем этом, вероятно, найдутся следы в архиве школы.) [82]

В то далекое от нынешнего время я во взглядах на землю сходился с простым народом. Выйдя сам из крестьянства, зная его нужды, взгляды и чаяния, соприкасаясь с разными вопросами о земельном устройстве крестьян в качестве мерщика, изъездившего и исходившего значительную часть Поволжья, я не мог оставаться равнодушным зрителем, видя те недоразумения, какие возникали у крестьян-чувашей с начальством, помещиками и между собою относительно владения землею. При дальнейшем рассказе я буду иметь в виду прежде всего крестьян удельных (быт которых я особенно хорошо, близко знал), а потом отчасти государственных и крепостных.

Так называемые в старые времена «ревизии» происходили не периодически, а в связи с какими-либо особыми событиями в государственной, народной жизни. Последняя ревизия — 1857 года — вызвала наделы для удельных, государственных крестьян по наличному к тому времени числу мужских душ (ревизских). Но затем стали даваться и дополнительные наделы. В данном селе, например, было зарегистрировано определенное число мужских душ, наделенных землею, плативших подати и отбывавших разного рода государственные, общественные повинности. Но по закону общество могло принять к себе пришлые элементы. Само правительство селило их по своему усмотрению. Некоторые лица возвращались на родину с военной службы уже после надела по ревизии 1857 года: им тоже надо было дать землю. В то же время кое-кто и выбывал из общества — за смертью, будучи присужден судами к уголовным наказаниям с лишением прав и т. д. Между тем общество должно было платить ежегодно определенные налоги и подати, не принимая в расчет дополнения и исключения (к ревизии 1857 года). При этом и возникали всевозможные конфликты, недоразумения, злоупотребления на почве наделов. От ревизии до ревизии переделов земли не производилось. Если в обществе оказывались лишние души [наделы], то их пропивали, продавали и т. д. Ни убыль душ, ни прибыль правительством во внимание не принимались. После ревизии 1857 года правительство решило более ревизий не производить, а строго придерживаться впредь количества душ, определившегося при этой ревизии. Вопрос о распределении земли между крестьянами был предоставлен сельским

обществам, не вмешиваясь в их деятельность. Между тем родятся дети. Они подрастают, входят в возраст. А количество земли у данного сельского общества все одно и то же. (Иногда лишь делаются добавки удельным, казенным ведомствами, да и то с разными затруднениями и волокитами.) С годами образовывались, так сказать, на шее у сельского общества целые семьи, аккуратно, добросовестно отбывавшие всяческие повинности — воинскую, земскую, подворную, волостную и другие, а земли для них нет, не хватает. Что делать? Где выход? На этой-то, земельно-экономической, почве и начались среди крестьян волнения, доходившие до возмущений, бунтов, сопротивления начальству. Подобные явления вызывали, конечно, противодействие со стороны властей с подавлениями восстаний, судами, административными воздействиями и т. п. Оставшиеся без земельных наделов стали нанимать земли, идти в отхожие промыслы. Началась спекуляция землей. Земля вздорожала. Снова возникли вопросы: «Что же делать? Какой найти выход?!» Правительство некоторое время держало себя как бы в стороне, не принимая серьезных мер к разрешению вопроса по его существу, занимая выжидательно-оборонительное положение. Так тянулось до восьмидесятых годов.

К этому времени у меня выработались личные мнения по земельно-крестьянскому вопросу. Для разрешения последнего представлялось несколько путей. Можно было бы переделить всю землю между наличными мужскими душами. (Такой передел допускался законом. Для него требовалось согласие двух третей прежде пользовавшихся землею крестьян данного сельского общества, а не претендовавших на землю. Последние при переделах, как прибывшие позднее, не имели права голоса.) Но ведь образовались семьи, состоявшие только из женщин, т. е. из лиц, по закону не принимавшихся в расчет при разделе земли. Как быть с ними?.. Могло явиться и другое решение вопроса: переселить излишек безземельного населения хотя бы в Сибирь, на новые, казенные земли. Но против переселения, как лишающего рабочих рук, восстали помещики. В то время земледельческих машин в помещичьих хозяйствах еще не было, а все основывалось на физическом труде. Я мог по личному опыту убедиться в том, что помещики Поволжья (Казанской, Симбирской и других губерний) противодействовали переселению, так как ценность на помещичьи земли с умень-

шением лишнего сельского населения, поневоле стремившегося приобрести землю на стороне, уменьшалась. Начались побеги крестьян. Но это не облегчало положения сельских обществ.

Существовал и третий выход из создавшегося положения: наделить безземельных крестьян землею за счет земель удельных, казенных, помещичьих. Но банков земельных еще не было. Вообще возникали новые и новые затруднения. Вопрос из года в год все более обострялся. Помещики повышали цену за свою землю. Удельное ведомство в этом от них не отставало. Появились по деревням богатые крестьяне — кулаки, эксплуатировавшие крестьянскую бедноту тем, что, арендуя землю у помещиков, в удельном ведомстве на сроки, отдавали ее в пользование крестьянам на тяжелых условиях. Росли и злоупотребления при отдаче в аренду с торгов, например, земель удельного ведомства — на почве конкуренции.

Удельные крестьяне были освобождены и наделены землею позднее других крестьян, в 1863 году. Правительство (т. е. собственно говоря, удельное ведомство) тревожилось насчет лесов. (Крестьянам отмежевывалась только земля, а не лес. Наделяли только нелесными участками. А участки с лесами вырезывались, ограничивались внутри крестьянских наделов.) Что же делать с небольшими участками удельного леса, врезавшимися в крестьянские наделы? Надо было сторожить такой лес от покушений крестьян. А это вызывало необходимость нанимать многочисленную лесную стражу, что обходилось удельному ведомству дорого. Тогда ведомство стало отдавать крестьянам лесные и земельные участки, не вошедшие в надел, в аренду на долгие сроки (на 33 года, на 70 лет и т. д.) с тем, чтобы в условиях аренды была выговорена охрана крестьянами неприкосновенности леса. Таким образом, удельное ведомство избавлялось от дорогостоящей охраны леса. Отдача в аренду обыкновенно устраивалась одновременно с наделением крестьян землею. Согласно заключавшимся с крестьянами договорам, в зависимости от состава, количества, качества лесных участков, крестьяне могли рубить лес для себя, сообразуясь с общими правилами, законами лесного хозяйства, за плату по таксе. Но земли и леса стали дорожать. Тогда удельное ведомство начало нарушать договоры на арендовавшиеся лесные, земельные участки под разными предлогами. Крестьяне стали отстаивать свои

права. Начались тяжбы. Но бедным, непросвещенным крестьянам, не знавшим законов, жившим далеко от крупных центров, было не под силу бороться с удельным ведомством, имевшим власть, связи с губернской администрацией, средства и пользовавшимся услугами опытных юристов, защищавших его интересы. Крестьяне обыкновенно, видя, что соседи их проигрывают в судах тяжбы с удельным ведомством, не доверяя судам, избегая их, обращались с просьбами и протестами к тому же удельному ведомству, преследовавшему исключительно свои интересы. Помню, как управляющий Симбирской удельною конторою Белокрысенко ревниво оберегал интересы своего ведомства, иногда заведомо во вред, ущерб крестьянам. К восьмидесятым годам недоразумения на земельной почве особенно усилились, обострились ввиду того, что правительство не принимало энергичных мер к устранению причин наблюдавшегося явления, не переселяло крестьян, не старалось поддержать их, не облегчало им покупки земли и т. д.

Я не мог оставаться равнодушным и стал вмешиваться в интересах крестьян, чувашей (главным образом), в недоразумения, возникавшие на почве аграрного вопроса, хотя и служил в учебном ведомстве, т. е. непосредственно не соприкасался с этой стороною крестьянского быта.

Пользуясь тем, что многое в сельских обществах зависело от 2/3 голосов собравшихся на сход, я старался повлиять на крестьян так, чтобы они устраивали передележ земли по наличному числу душ, мужских, а в некоторых случаях и женских. Дошло до того, что крестьяне сами являлись ко мне просить меня приезжать к ним и помочь сделать передел земли, как они говорили, «по справедливости». Обращались ко мне за содействием и губернские власти — относительно сельских обществ с чувашским населением. Но я одинаково помогал и чувашам, и русским. В 1876 или 1877 году чуваши-крестьяне родной мне деревни Кошки-Новотимбаево приезжали советоваться ко мне насчет раздела земли. Я ездил к ним. И мне удалось добиться мирного, полюбовного решения. Это был тогда, насколько мне известно, первый случай такого быстрого улажения волнений по частному почину. Так все, по крайней мере, говорили. После Кошек та же идея раздела с принятием во внимание и женщин пошла по Буинскому, Симбирскому уездам. Так

что, смею думать, мой почин имел общее значение. Приведу следующий случай из быта той же деревни Кошки. Например, нашлась чувашская семья, во главе которой стояла женщина-вдова, а членами были девушки. Вдова лишилась земли после умершего мужа, который владел этой землею по ревизии. По обычаю, Кошкинское общество игнорировало интересы этой семьи. Мужчины стояли за себя, доказывая, что они только имеют право на землю, как отбывающие воинскую и другие повинности. Мне удалось, однако, вызвать жалость к положению женского элемента семьи и добиться наделения ее землею наравне с мужчинами. Появились вдовы, посторонние жителям деревни (села) Кошек, например, те, которые вышли замуж на стороне за кошкинцев, а затем, овдовев, приехали на жительство на родину их покойных мужей. У иной на руках оставался мальчик-подросток из другой деревни. Мне удавалось путем личных переговоров с крестьянами добиваться надела и для таких несчастных, обездоленных, чего ранее не практиковалось. Крестьяне-чуваши вообще жалостливы, гуманны. Быть может, этим объясняется то, что, по крайней мере, в прежние времена у них по деревням не существовало нищих, попрошайничества. Так было в пору моего детства и в Кошках. На всю деревню жило только двое нищих — старик и старуха. Это явление было настолько исключительным, о нем так много говорили, что я и сейчас помню этих двух бедняков. Обыкновенно по взаимному уговору они ежедневно начинали обход нашей дедевни с разных концов. Если старуха начинала стучаться в избы с востока, то старик одновременно проделывал то же с запада. Иногда они сходились где-либо посреди деревни. Тогда один из них пережидал ухода из центральной избы другого и входил в нее, когда тот удалялся. Вот на почве жалости к несчастным мне зачастую удавалось вызывать милосердие к женщинам и детям. Помню, как я бывал до слез тронут подобным отношением к обездоленным чувашского населения. В то время я уже был инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. В родной волости (Бурундукской), приезжая по земельным делам, я старался прежде всего влиять на волостного старшину, дававшего тон по деревням. Помню, сколько труда мне стоило добиться чего-либо в чисто русском селе Салмановка Симбирской губернии Буинского уезда. Я старался действовать на

русских крестьян в том духе, чтобы они сами покупали земли, раздавая их бедным. Земли было мало. Понятие о собственности явилось поздно, лишь при покупках. Чаще всего я выезжал в Симбирскую губернию толковать с крестьянами. Но были приглашения и из других губерний. Вообще в Симбирской губернии земельный вопрос стоял остро. Обыкновенно, когда я при ревизии школ приезжал в них, к помещению школ собирался народ. Вызывали меня. И поднимались земельные, другие вопросы. Так, я ездил в Тимерсяны (три чувашские деревни Симбирской губернии и уезда), Алгаши (три чувашские деревни) и в село Богдашкино. Ссоры и столкновения между крестьянами на почве земельных недоразумений доходили до побоищ и смертоубийств. Явились по деревням две партии: так называемые «новодушники» и «стародушники». Первые требовали передела земли, вторые восставали против такого передела. Стародушники рассуждали так: у меня, мол, было по ревизии 1857 года десять душ. И я не хочу, чтобы от меня что-то отнимали от надела на эти души. Губернатор Долгово-Сабуров, зная мое влияние на крестьян и умение говорить с ними, просил меня выезжать на места с чиновником особых поручений при исправнике и мирно улаживать конфликты, что мне почти всегда удавалось. Иногда я выезжал на места, во избежание недоразумений по службе, с разрешения попечителя Казанского учебного округа. Вопрос осложнялся в Богдашкине тем, что тут, кроме чувашей, жили магометане, татары, у которых многоженство, легкость развода, плодовитость делали семьи их многочисленными. В Богдашкино я ездил из Симбирска с непременным членом губернского по крестьянским делам присутствия Булдаковым, уездным исправником Плотниковым и чиновником из губернского или уездного присутствия, для записывания. Я был туда командирован губернатором официально, хотя о моей поездке и не доносил моему учебному начальству. В конце концов землю разделили по справедливости с согласия крестьян. В каждом из вышеупомянутых селений Симбирского уезда пришлось оставаться дня 3—4. Я говорил с крестьянами по-чувашски и улаживал недоразумения. Трудность заключалась в том, чтобы собрать 2/3 голосов за передел, которые требовались по закону. Когда в главных селениях после долгих усилий с моей стороны сломлено было упрямство стародуш-

ников, в других, смежных, второстепенных селениях дело шло легче, быстрее. Переделы в некоторых селениях стали делаться в зависимости от перемен в составе населения ежегодно. Правительство пыталось остановить это, но должно было уступать под давлением крестьянства, соглашаясь на исключения. На почве земельных переделов возникали новые недоразумения, столкновения, раздоры между русскими и чувашами, чувашами и татарами и т. д. в Симбирской, Самарской, Казанской губерниях. Мне удавалось и помимо начальства влиять тут в успокоительном смысле. Доносов на этой почве на меня по моему учебному начальству не бывало. Эти поездки вызывали большие расходы из собственных моих средств.

Я способствовал всеми силами разрешению на разумных, справедливых началах земельного вопроса, главным образом на родине моей — в Кошках. Но то же я делал и в других местах. Сын мой Алексей (профессор) женат на Приклонской. Мне была дана доверенность от всей семьи Приклонских (от жены моего сына, ее сестры и братьев), всего от одиннадцати человек — на раздел земли между членами семьи и на продажу земли бывшим крепостным крестьянам Приклонских. Это было в 1910 или в 1911 году. На такой раздел и продажу была воля старика Приклонского-отца, входившего в положение крестьян. Мне удалось и тут уладить вопрос. Имение Приклонских — Болховское Курмышского уезда Симбирской губернии — владело * землями при деревнях. Эти-то земли продавались на выгодных для крестьян условиях. Я старался влиять на безземельных чувашей в смысле переселения их в Сибирь, в Самарскую, Уфимскую губернии. Часть их сама туда переселялась. Мало того, на мой счет я посылал в Сибирь чувашей-ходоков для розысков свободной, подходящей земли. В общем же чуваши соглашались на переселение неохотно, с трудом.

Вспоминая мою деятельность в прошлом в только что указанном направлении, возобновляю в памяти моей и многие обстоятельства, препятствовавшие быстрому, благополучному разрешению этого вопроса — главным образом в так называемом Поволжье, с жизнью и бытом которого я был хорошо знаком с юности.

---

* Так в оригинале.

Введение около 1872 года (хорошо не помню) всеобщей воинской повинности привлекло массу молодежи, которая при ревизии 1857 года была детьми, а теперь, вернувшись из армии в родные деревни, оказалась вдруг без наделов в то время, когда приволжские губернии существовали главным образом земледелием. Можно было наблюдать по деревням никогда ранее там не наблюдавшееся явление так называемых «безлошадников» (т. е. крестьян, не имеющих своих лошадей) и «бездомников» (крестьян, не имеющих собственных жилищ, а потому принужденных в селах и деревнях нанимать квартиры и углы). Отхожих промыслов не было. Переселение существовало в слабой степени или отсутствовало. Бурлачество на Волге не давало много заработку. Да им и пользовались только некоторые, ближе к рекам Каме, Волге и Суре лежавшие селения. Надо было в то же время удивляться той неосведомленности о народных нуждах, которую проявляла наша тогдашняя печать. Например, дававший тон внутренней политике М. Н. Катков печатал у себя в газете громогласные статьи о том, что будто бы у нас в России нет и не может быть рабочего вопроса, восторгался действиями правительства, стоял за последнее, а не за крестьянство. Мне, как близко знавшему и нужды деревни, и настоящее положение земельного вопроса, стыдно, досадно было читать те глупости, которые писались тогда в журналах и газетах людьми, далеко от народа стоявшими.

Одним из зол Поволжья по земельному вопросу явилось то, что местное дворянство хотя бы Симбирской, Казанской губерний совершенно не понимало ни своего положения, ни назначения в отношении к крестьянскому населению. Я положительно не могу указать здесь ни одного помещика, который разумно, справедливо относился бы к крестьянам. Все это были убежденные, закоренелые крепостники. Должен, однако, оговориться. Как некоторое исключение за последние двадцать лет выделился из общей массы дворянства помещик Борис Осипович Гулак-Артемовский, которого я хорошо знал, владевший в Симбирской губернии, в Карсунском уезде, прекрасным имением Чуфарово. Ранее он служил в Харькове, потом недолго состоял инспектором народных училищ в Сызранском уезде Симбирской губернии. Гулак-Артемовский построил в своем имении огромный каменный дом для народного училища. Он готовил для этого

училища учителей, для чего способное сельское юношество присылал даже ко мне в Симбирскую чувашскую школу. Я часто с ним беседовал на темы о просвещении народа. У него была здравая, справедливая мысль, что никакие государственные, общественные реформы невозможны, если не повышать общего народного образования. У Гулак-Артемовского была богатая мать, жившая в Чуфарове и сочувствовавшая просветительной деятельности сына, и брат (младший), стремившийся, уйдя из имения, жить своим трудом. Случайно я столкнулся с ним в Сочи. У него был отличный голос. Он зарабатывал себе пропитание, состоя певчим в церковном хоре и поденно где-то работая. Я знал этого интересного человека с 1903 года, ранее, чем познакомился с его старшим братом, которого встретил после того лет через семь. Последний обратился ко мне за советом, прося помочь ему в деле народного образования. Только одного его я и знал как помещика, стоявшего близко к сельскому люду, старающегося, желавшего встать к деревне еще ближе, приносить ей насущную пользу.

Бывало, мне удавалось при помощи разных ухищрений вырывать что-либо крупное на чувашскую Симбирскую школу у купцов (например, у миллионера Шатрова). Дворяне же мне никогда не шли навстречу и существенно не помогали.

Остальные помещики, если иногда и делали что-либо для крестьянства, то лишь уступая требованиям времени, под разного рода давлениями, т. е. не добровольно, по убеждению, а когда не придти на помощь было нельзя. У дворян было труднее вырвать что-либо на дело народного образования, чем, например, у купцов. Купца можно было заставить раскошелиться наградами, благодарностями. Симбирское же, например, дворянство, часто богатое, имевшее связи, считавшее себя «столбовым», чем-то особенным, белокостным, даже в сравнении с дворянством других губерний на все и всех смотревшее свысока, считавшее себя и только себя опорой самодержавия, чем-то непонятным, ни в наградах, ни в благодарностях особенно не нуждалось. Хотя особенно крупных дворян было здесь немного. В моей культурно-просветительской деятельности я скоро перестал обращаться за помощью к местному дворянству, убедившись в том, что это бесполезно.

Начну с Мотовилова. Крепостник. Враг простого

народа. Человек небольшого ума, пролезший в Государственную думу с помощью В. Н. Поливанова и там ставший во главе националистов. Умевший втираться в высшие сферы. Крикун. Болтун. Помешанный на своих артистических способностях. Эгоист, ловко устраивающий свои дела. А в сущности пустой, ничтожный человек, долго продержавшийся в Государственной думе лишь потому, что в последние годы на таких людей был в России, в правительстве спрос.

Расскажу вам о Мотовилове два случая, лучше всего характеризующие и его, и ту среду, в которой он находил сочувствие, поддержку.

Как-то у Поливанова был вечер по поводу столетия Казанского университета, на который он пригласил всех, живших в Симбирске, бывших студентов Казанского университета, в том числе Мотовилова и меня. Поливанов, отличавшийся всегда гостеприимством, и на этот раз угощал гостей на славу. Я ожидал, что вечер будет посвящен воспоминаниям об университете, товарищах и т. п. Как вдруг старый Мотовилов начинает рассказывать анекдоты, никакого отношения к Казанскому университету не имевшие, притом один другого грязнее, порнографичнее. Другие его поддерживают в том же духе. И беседа обращается в нечто скандальное. Будучи чувашом по рождению, я сохранил до седых волос стыдливость, целомудренность чувашского народа, в разговорах никогда не употребляющего ругательных выражений (даже не имеющего их) и не говорящего о таких сторонах половой жизни, которые должны составлять тайну. Поэтому поведение Мотовилова, Поливанова и других представителей Казанского университета, симбирских дворян показалось мне отвратительным.

Вот и другой случай из жизни Мотовилова.

Осенью прошлого года из Петербурга (Петрограда) был командирован в Симбирск студент Поляков, который, между прочим, собирал здесь материалы по Симбирской губернии. В честь его П. Л. Мартынов собрал нас, членов местной ученой архивной комиссии, на особое заседание, где Поляков рассказывал о том, что после падения монархии он получил доступ в знаменитое бывшее 3-е отделение и читал удивительные доносы из провинции. Он даже рассказывал о содержании некоторых из них. Я сидел рядом с А. А. Мотовиловым (стариком), а напротив нас — бывший директор народных училищ

Симбирской губернии Василий Иванович Девицкий. Чтобы поддержать разговор, я сообщил, что, бывая в юности в Симбирске в доме Глазовых, слышал, как младший брат известного поэта Языкова, друга Пушкина, Александр, рассказывал старому Глазову о том, что до 1860 года жандармам нечего было делать в Симбирске, настолько жизнь здесь текла спокойно и сонливо. Политика отсутствовала. И жандармам приходилось доносить о тех, кто не ходит в церковь, не соблюдает постов, и о тому подобных пустяках. Как вдруг Девицкий меня перебивает. «А нынче,— говорит он,— дворяне занимаются доносами...» При этом через стол указывает на Мотовилова. По уверению Девицкого, он читал в Министерстве народного просвещения доносы на него Мотовилова. Мотовилов стал ругаться, не отрицая того, что сообщал в министерство о деятельности Девицкого, но не в 3-е отделение. Начались пререкания между ними, ругань, взаимные попреки. Одним словом, поднялся скандал. Все они были сконфужены. Мартынов растерялся. Тогда я, видя, что дело заходит далеко, да еще при человеке, чужом Симбирску, Полякове, говорю, что личные пререкания Мотовилова и Девицкого по части современных доносов, кажется, не входят в область науки археологии, старины, что мы, собравшиеся здесь вместе с г. Поляковым, интересуемся археологией, стариной и т. д. Тут опомнился и Мартынов, прекратив скандал.

Поливанов, обладая большими средствами, любил собирать редкие вещи, вообще знал толк и в старине, и в искусстве. На должности председателя симбирской ученой архивной комиссии он был на своем месте, так как на таких постах необходимы люди с влиянием, с положением, почему на заседания комиссии собиралось много лиц — ввиду того, что приглашения шли от Поливанова. После его смерти я поднял было вопрос о том, чтобы должность председателя комиссии перешла к сыну его, исходя из того соображения, что он поддержит начинание родителя, поможет средствами и т. д. Едва, однако, в частном разговоре со стариком Мотовиловым, дружившим с отцом и сыном Поливановыми, поднял я вопрос о том, что надо избрать в председатели молодого Поливанова, как Мотовилов пришел в ужас, замахал на меня руками и сердито запротестовал: «Как! Такого мальчишку?! На такой пост!..» Видимо, ему самому хотелось бы пройти в председатели. Но об его кандидатуре никто и

не думал. Временно был избран губернатор Ключарев, совершенно равнодушный к науке, никогда ничего для архивной комиссии не делавший и, тем не менее, потом увезший из Симбирска какое-то почетное звание по комиссии, якобы за огромные услуги, ей оказанные.

Вообще науке в Симбирске не везло. Работали отдельные лица, как например, П. Л. Мартынов, получивший от города Симбирска золотую медаль за труд о Симбирске, изданный ко дню, кажется, 250-летнего юбилея существования города. Был еще в Симбирске любитель старины — управляющий местною казенною палатою Иван Александрович Иванов. Он приехал в Симбирск из Твери и из Симбирска уехал, кажется, опять в Тверь.

Лично я засел в мою чувашскую школу и ничем, кроме нее, не интересовался.

Приведу небольшой эпизод из поездки моей с Поливановым по Кавказу. В 1903 году, будучи временно в отставке, за штатом [83], я получил от него предложение проехаться по Кавказу. Мы выехали из Симбирска 7 сентября, ехали по Волге до Царицына, а от Царицына до Новороссийска по железной дороге, причем он путешествовал в первом, а я в третьем классе. Из Новороссийска проехали в Гагры, где в то время жил принц Ольденбургский, старик, которому Поливанов меня представил и который спросил меня, быть может, введенный в заблуждение моей наружностью и костюмом: «Вы купец?» В гостинице, в которой мы с Поливановым жили, у входа ее стояли кадки с апельсиновыми деревьями. Апельсины на них были еще зелены. Тем не менее, Поливанов, пользуясь темнотою, сорвал их несколько, чтобы отвезти своим детям на показ. Это мне показалось поступком, не достойным культурного человека.

По убеждениям он был ярый крепостник. Такой же убежденный крепостник и закоренелый враг крестьянства, как и Мотовилов, которому он протежировал, с которым был в близких отношениях. Поливанов имел состояние по матери своей, урожденной Бычковой, самодурке, гордой, властной, державшей в руках сына, зависевшего от нее в денежном отношении и рабски ей повиновавшегося.

У Поливанова были большие связи: он умел их создавать всюду, и прежде всего, преследуя личные цели. Как человек практичный, он и услуги оказывал с расчетом. И в Государственную думу он проводил людей (вро-

де Протопопова, Мотовилова), которые могли быть ему полезны в будущем, как члены думы, имеющие вес в Петербурге. В сущности же это был тупой, мало способный человек, боявшийся серьезной работы, предпочитавший ее размениванию на мелочи. Воспитанный, общительный, всегда готовый оказать каждому услугу (там, где это не шло против его, Поливанова, интересов), он даже археологию в Симбирске избрал орудием своей карьеры, заводя с помощью ее, как председатель местной ученой архивной комиссии, нужные лично ему сношения с разными высокопоставленными выдающимися лицами, играя роль покровителя науки, искусств, дарований, наконец, мецената...

Когда стал приближаться срок Гончаровского юбилея, Поливанов, конечно, не мог оставаться равнодушным и не воспользоваться лишним случаем, чтобы о нем поговорили. От имени архивной ученой комиссии он и взял на себя почин в этом вопросе, на самом деле все свалив на письмоводителя своего, по должности губернского предводителя дворянства, известного в Симбирске своей изобретательностью по собиранию пожертвований на благотворительность Петра Александровича Александрова, у которого на случай таких поручений Поливанова была собрана куча календарей и других справочных книжек со всех главных крупных центров России, а в них имена, отчества, фамилии и прочие сведения о тысячах личностей, не подозревавших о существовании в Симбирске Поливанова и Александрова.

Когда начались у Поливанова заседания членов архивной комиссии по вопросу о том, каким способом почтить память Гончарова, то стали рождаться и разного рода проекты. В обсуждениях их и я, как приглашавшийся, принимал участие. У Поливанова явился дикий проект поставить статую Гончарова перед собором. Против такого проекта возражали многие, в том числе и я. Мысль моя заключалась в том, что лучше было бы учредить какое-либо общеполезное заведение, связав его с именем писателя. Но мысль моя не встретила сочувствия. Так как у Поливанова был конек — способствовать развитию в Симбирске художественных интересов, то я ему и предлагаю вынести Карамзинскую библиотеку из Дворянского собрания, соединив ее с библиотекой Гончаровской, все это объединив под именем Гончарова. Далее я предлагал назвать существовавший археологи-

ческий музей именем писателя. В пример я приводил Радищевский музей, находящийся в Саратове, который, к слову сказать, путешествуя с Поливановым, я вместе с ним осматривал. Мысль эта даже понравилась тогда Поливанову. Наконец, состоялось высочайшее разрешение на сбор денег для отливки памятника Гончарову. Целый год я всюду, где было можно, протестовал против подобной бесполезной траты народных денег, указывал, что лучше на них построить особый дом-музей, назвав его Гончаровским, доказывая, что город даром отведет под такое здание место, что можно будет собрать еще дополнительные средства. Мысль была моя. Ее одобрял Поливанов. И затем поднял вопрос о постройке (вместо отливки статуи) Гончаровского дома, идею этого проекта, принадлежавшего всецело мне, приписав только себе. Такое впечатление вынесли многие участвовавшие в совещаниях по предстоящему чествованию. Решено было при входе в будущий Гончаровский дом прикрепить горельеф или барельеф с изображением писателя. Но это так и не осуществилось ввиду войны и связанных с нею внутренних событий в России.

При создании Гончаровского дома главную роль сыграл Поливанов в смысле обеспечения своими связями и сбором средств на сооружение. Кроме него, и другие оказали тут свои услуги. Так, архитектор Шоде, близко стоявший к Поливанову, выработал проект сооружения, который и был выбран из числа других проектов. Секретарь и письмоводитель архивной комиссии Александров содействовал успеху сборов по России. Даже я, чуждый интересам старины, внес в это дело мою посильную лепту, участвуя в вопросах об устройстве отопления, освещения, при заготовке, приобретении для постройки материалов и т. п. Купец Шатров в чаянии наград пожертвовал крупную сумму денег.

Поливанов никогда ничего не сделал для чувашской школы, как для учреждения демократического, имевшего в виду интересы простого народа. Это не мешало ему обращаться ко мне с просьбами о приеме в школу того или другого мальчика иногда с явно дурными наклонностями, о чем было известно, конечно, Поливанову, но что он скрывал от меня или представлял в невинном виде. В этом отношении мне припоминается история с сыном старосты или приказчика Поливанова Скалкиным, русским. Однажды получаю от Поливанова письмо, в кото-

ром он просит меня принять Скалкина в школу. С год мальчик пробыл в школе, причем за ним ничего дурного замечено не было. На лето (на каникулы) он уехал в имение Поливановых, к родителям. Вдруг получаю от Поливанова письмо, в котором он пишет мне, что мальчик обокрал летом его оранжерею в имении, съев редкие персики, которые предназначались к столу в день именин его, Поливанова, что он просит школу воспитывать лучше юношество и т. д. На это я ему ответил: «Как я могу воспитывать воришек?! У нас в чувашской школе нет ведь оранжерей, которые соблазняли бы детей... Лучше вы избавьте нас от таких мальчиков...» После каникул Скалкин вернулся в школу, а затем, окончив довольно хорошо курс ее, поступил в учителя Буинского уезда.

Начав делать характеристики представителей симбирского дворянства, сплошь состоявшего из крепостников, врагов крестьянства, сообщу еще о двух знакомствах моих с другими симбирскими губернскими предводителями дворянства — Оболенским и Терениным.

Карьера князя Оболенского многим еще памятна. Обыкновенно из губернских предводителей дворянства проходили в губернаторы. Так и князь после должности симбирского губернского предводителя дворянства до генерал-губернаторства в Финляндии был губернатором херсонским, харьковским. В Харьковской губернии он прославился тем, что посекал крестьян. Ни народа, ни государственной жизни он не знал. На воспитание юношества имел довольно странные взгляды. У него и тут, как и во всем другом, замечалось барство. Так, помню, как однажды он развивал мне свои теории о воспитании и будущности единственного своего сына (к слову сказать, вскоре после этого разговора скончавшегося в Симбирске). Он мне, бывшему крестьянину (о чем, конечно, знал), стоявшему во главе чувашской школы, обучавшей детей крестьян, развивал целую теорию о том, что сын его, уже по рождению его и положению предназначенный к высокой государственной карьере, не может получать такого же, как другие, образования, а должен и подготовиться к будущей государственной службе по особой программе.

Бывал ли у меня в доме князь Оболенский? Отвечаю, что едва ли бывал. Где ему, такой особе, богачу и аристократу, было посещать меня, скромного заведующего какой-то мужицко-чувашской школою!

Это было бы ниже его княжеского достоинства...

Однажды в Симбирске приглашает меня к себе князь Оболенский и рассказывает, что к нему приехал из Саратова симбирский дворянин, мальчик, которому некуда деваться, поселился у него на кухне, «лижет тарелки», надоел, так что он, князь, хочет от него во что бы то ни стало избавиться. Лучшего исхода, по словам его, он не нашел, как только просить меня принять этого «мальчишку» в Симбирскую чувашскую школу. «Возьмите его к себе в школу,— говорит князь,— я буду за него платить деньги. Только избавьте меня от него!» А я думаю про себя: «Что же я с ним, дворянином, буду делать?! Тебе с ним плохо... А мне будет еще тяжелее...» Начинаю отговариваться, мотивируя мои возражения так: «Князь! У нас в школе порядки строгие... Дети рубят дрова, за неимением сторожей очищают отхожие места. Для крестьянских детей, чувашей, все это ничего. А дворянину-то будет тяжело...» Оболенский все-таки настаивал, убеждал меня; я был вынужден согласиться и принял дворянина в мою школу. При приеме мальчика я его предупреждал о том строгом режиме, который ожидает его в школе, нарочно сгустив краски и сказав, что в школе секут розгами (чего на самом деле никогда у нас не бывало). Он на все соглашался. Я его принял. Прожив с неделю, мальчик является ко мне и говорит: «Я не хочу жить у вас». «Иди,— говорю,— к князю, скажи, что сам не хочешь, не можешь... Может быть, князь отошлет тебя к саратовским твоим родственникам...» Оболенский и сплавил его в Саратов.

Князь Оболенский был губернским предводителем дворянства перед Поливановым. Ранее же его занимал ту же должность Михаил Николаевич Теренин. Он был сначала симбирским и буинским уездным предводителем дворянства. Я тоже его близко знал. Теренин, крепостник в высшей степени, симбирский дворянин и помещик, необразованный, бывший военный, с брюшком, непредставительный, плохой работник, ухаживавший за архиереями и губернатором, пока сам был небольшой птицею, держал себя гордо, надменно в сношениях с низшими, а иногда и с равными; с высшими же и равными — натянуто-любезно. Общечеловеческих достоинств он никаких не проявлял. Имел наружный, военный лоск. Любил собачью охоту, почему в своем имении держал не только охотничьи своры, но целый собачий двор.

И Теренин относился свысока, равнодушно к нуждам чувашской школы.

Отец Теренина, богатый помещик, имевший несколько имений, недалеко друг от друга расположенных в Симбирской губернии, жил постоянно в своем любимом имении Киятях Буинского уезда, где и похоронен. Имение это находится недалеко от родной мне деревни (ныне села) Кошек, верстах в 8—9. В Киятях бывали во дни моего детства ярмарки, на которые с Мушкеевыми брался иногда для развлечения и я, причем мне покупались пряники или глиняные, деревянные дудки-свистульки. Во время одной из таких поездок мне показали крепкого, здорового, небольшого роста старика, сказав, что это и есть помещик Теренин.

Став взрослым, я узнал про этого Теренина многое, что возможно было в старые времена крепостного права, но что теперь кажется чем-то ни с чем несообразным. Так, люди, близко знавшие этого изверга, рассказывали ужасы про те истязания, которым подвергал он своих крестьян. Недаром в памяти моей из времен далекого детства сохранились воспоминания о грустных, заунывных, душу надрывающих мотивах песен, которые пели крестьяне и крестьянки принадлежавших Теренину деревень. Только позднее мне это настроение их стало понятным. Передавали, что развратный помещик пользовался правом «первой ночи», что деревни его населены детьми, родившимися после насилий, совершавшихся им над его крепостными женщинами и девушками, что даже бывали случаи насилий его над девушками-помещицами, приезжавшими в гости в его имение. Дом его славился гостеприимством. Он любил и умел принимать в своих владениях губернаторов, архиереев и других нужных ему лиц, что не мешало ему истязать подчиненное ему крестьянство.

XI

К числу интересных знакомств моих по Симбирску принадлежит и знакомство с семейством Ульяновых, из которого вышел глава нынешней Советской власти в России Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Я учился еще в Симбирской гимназии, когда осенью 1869 года из Нижнего Новгорода в Симбирск приехал с семьею своей Илья Николаевич Ульянов, назначенный

сюда в качестве инспектора народных училищ Симбирской губернии. Первая квартира Ульяновых находилась на Стрелецкой улице, в доме вдовы священника Прибыловской (потом дом суконного фабриканта Аратского). Квартира Ульяновых небольшая, помещалась на дворе в особом доме, нижний этаж которого был каменный, а верх деревянный. Она занимала верх, часть нижнего этажа с кухней, была достаточно поместительна для семьи Ульяновых, уютна и имела две большие комнаты — залу и столовую, при нескольких других, меньших, комнатах. Дом этот и сейчас сохраняется в Симбирске. Несомненно, что в этой квартире и родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин 10(22) апреля 1870 года.

Семья Ульяновых, после нескольких лет жизни в Симбирске, состояла из Ильи Николаевича Ульянова, отца, жены его, Марии Александровны, и детей: дочери Анны, старшей (которой при водворении семьи в Симбирске было, насколько мне помнится, лет 7—8)*, сыновей Александра (Саши), Владимира (Володи), Дмитрия (Мити) и дочерей Ольги и Марии (Мани). Все эти дети, кроме Анны и Александра, родились в Симбирске. Во время пребывания в Симбирске, т. е. в течение шестнадцати с лишком лет, Ульяновы дважды меняли квартиру**. Затем они купили свой дом на Московской улице, в котором и жили до конца.

Володя Ульянов, будучи развитым, способным ребенком, рано поступил в местную, тогда единственную в Симбирске, гимназию в 1879 году, окончив ее первым учеником, с золотой медалью также рано, в 1887 году, т. е. 17 лет с чем-то от роду.

Мое знакомство с Ульяновым-отцом началось с тех пор, как взятые мною из деревень крестьянские мальчики, первые ученики основанной мною Симбирской чувашской школы, стали переходить в Симбирское уездное училище, а мне приходилось оказывать им при этом содействие, обращаясь с просьбами к Ульянову, в ведении которого училище состояло. Начались эти мои сношения еще тогда, когда я был воспитанником Симбирской гимназии, а продолжались во время нахождения

---

* В год переезда в Симбирск Анне Ильиничне Ульяновой было 5 лет.

** В действительности Ульяновым пришлось сменить в Симбирске несколько квартир.

моего в Казанском университете студентом. Главным же образом мне пришлось хлопотать у И. Н. Ульянова во время экзаменов опекавшихся мною мальчиков, за подготовку которых я опасался, т. е. в 1870 году.

Когда в бытность мою в университете я жил в Казани, то мне даже приходилось исполнять некоторые поручения Ульянова-отца, например, по части печатания в Казани отчетов — годового и временных учительских педагогических курсов. Жившие в моем общежитии-школе ученики одно время состояли под наблюдением директора Симбирской гимназии Вишневского, а затем, с назначением Ульянова, стали подчиняться ему. Еще позднее, будучи назначен по окончании университета инспектором чувашских школ Казанского учебного округа, получив в мое непосредственное заведование Симбирскую чувашскую школу, я вошел с И. Н. Ульяновым в близкие, постоянные, уже деловые сношения, бывал у него часто в доме, разъезжал совместно с ним по школам Симбирской губернии. Все это нас еще более сблизило. Помню, что и до этого мне приходилось ездить с ним, например, в мою родную деревню Кошки-Новотимбаево Симбирской губернии Буинского уезда, чтобы осмотреть дом, строившийся там для учрежденной по моей инициативе школы.

Как человек И. Н. Ульянов оставил во мне приятные воспоминания своим трудолюбием, нравственной жизнью, гуманным отношением к подчиненным и доступностью. Находясь в Симбирске, он был переименован из инспектора народных училищ в директора их. Здесь же получил он и высшие свои награды — чин действительного статского советника и звезду Станислава I-й степени. Особое внимание уделял он Симбирской чувашской школе, много сделав вообще для чувашских школ в Симбирской губернии до назначения меня по этим школам инспектором.

Когда в 1877 году я женился, то наше знакомство с Ульяновыми продолжалось семьями, еще более укрепившись.

В доме их царило радушие и гостеприимство без тех, однако, излишеств, которые допускались тогда во многих семьях, даже не очень зажиточных, при приеме гостей. Мария Александровна Ульянова не завела у себя по приезде в Симбирск особых чаев, закусок и т. п. во всякое время дня, составлявших до нее как бы местный



Семья Ульяновых. 1879 г.

обычай. В доме Ульяновых в 11 часов вечера подавались обыкновенно скромные закуски с легким ужином в виде горячего блюда — и более ничего. Детям давалось всего в меру, без излишеств и роскоши, чтобы не баловать их. На рождество устраивались елки для детей, вечера с маскарадными костюмами для взрослых, но все экономно и в меру.

Отношения между родителями и детьми напоминали добрые, старые времена. Все дети были благовоспитанны, вежливы, послушны родителям и прилежны. Особой строгости со стороны родителей не замечалось. В то время, как Ульянов-отец находился в частых, продолжительных разъездах по обязанностям своей службы, Ульянова-мать вся была погружена в интересы хозяйства и детей. Это была умная, красивой наружности, образованная, прекрасно знавшая иностранные языки, женщина. Говорили, что она — дочь доктора. Илья же Николаевич происходил из бедной мещанской семьи города Астрахани. Это не помешало ему прекрасно окончить курс Астраханской гимназии и математический факультет Казанского университета, после чего он учительствовал в

Пензенской гимназии, откуда перешел на службу в Нижегородский дворянский институт, по правам равный гимназии [84]. Будучи в Нижнем Новгороде, Илья Николаевич одновременно занимал должность воспитателя в упоминаемом институте, преподавая там математику, преподавателя физики в Нижегородском Мариинском женском училище и планиметрии в землемерно-таксаторских классах при гимназии. Такое разнообразие предметов преподавания указывает на выдающиеся его способности.

И. Н. Ульянову по его видному служебному положению в Симбирске приходилось поддерживать связи в разных кругах местного общества. Но Ульяновы не тянулись в высший круг. Приятный тон, существовавший в их доме, привлекал к ним многих. Я с женой входил в кружок хороших знакомых Ульяновых, довольно часто у них бывал. Дети Ульяновых, в том числе и Владимир (Володя), посещали нас и с родителями, и отдельно. Помню последнего в первое время пребывания Ульяновых в Симбирске сначала в виде малютки на руках матери или няни, а потом рыжеватым, застенчивым, молчаливым, даровитым юношей-гимназистом.

Припоминается мне такой случай из жизни Владимира Ильича Ульянова, его характеризующий, в эпоху юности.

В Симбирской чувашской школе один из учеников, Охотников Никифор Михайлович, чуваш, окончивший курс ее в 1879 году, обратил на себя внимание выдающимися способностями по математике. (Надо заметить, что в это время, благодаря преподавателю А. В. Годневу, в школе математика была поставлена хорошо и процветала.) Будучи в школе, Охотников делал самостоятельные открытия в области математики. По окончании же чувашской школы он был назначен учителем в Чистопольский уезд Казанской губернии, откуда через два года я перевел его в Симбирскую чувашскую школу, сделав преподавателем по его специальности. Одновременно с преподаванием в школе Охотников стал самостоятельно заниматься математикой по программе гимназического, даже университетского курсов. Тут у него, уже женатого, явилось стремление держать экзамен на аттестат зрелости — восьмого класса гимназии *. Я, ко-

* Имеется в виду — за полный курс гимназии.

нечно, всячески поддерживал в нем это стремление. Главное затруднение заключалось в том, что Охотников не знал ни новейших, ни древних языков. Когда Володя Ульянов, в то время юноша лет 16, бывший в 7 или 8 классе гимназии, был однажды у нас в гостях, я и предложил ему сделать доброе дело, взяв на себя занятия с Охотниковым, предварив его, что последний, как бедняк, платить ему за уроки не в состоянии. Помню, с какой живейшей готовностью Володя Ульянов откликнулся на это мое предложение, давая в 1886—1887 годах Охотникову уроки по новым и древним языкам бесплатно (к слову сказать, зная их прекрасно, как и другие дети Ульяновых). Охотников в 1888 году блестяще выдержал экстерном экзамен на аттестат зрелости, в том же году поступил на математический факультет Казанского университета, где сейчас же обратил на себя внимание своими исключительными математическими дарованиями профессоров-специалистов. К сожалению, он рано умер, не окончив университета, от чахотки (незадолго до окончания курса).

Илья Николаевич Ульянов скончался в собственном своем доме, находившемся в Симбирске на Московской улице, выходившем усадьбою (садом) на Покровскую улицу, 12 января 1886 года от кровоизлияния в мозг при следующих обстоятельствах. Незадолго перед этим Ульянову пожалован был орден Станислава I-й степени. Ульяновы собирались по этому случаю устроить вечер, пригласив близких знакомых. Как вдруг Илья Николаевич, будучи где-то в гостях, почувствовал себя там дурно, притом настолько, что был приглашен к нему на дом доктор, определивший его болезнь страданием на желудочной почве и успокоивший семью. На другой день, узнав о недомогании Ульянова, я с женой отправился навестить его. Я прошел к Илье Николаевичу в кабинет, где и имел с ним разговор о школах, которыми он заведовал одновременно со мною (он в качестве директора народных училищ, я — как инспектор чувашских школ Казанского учебного округа). Сидим мы с ним, беседуя, на диване, как вдруг вижу, что он бледнеет, начинает дрожать. «Со мной что-то небывалое,— говорит он мне,— какой-то особый, потрясающий озноб...» Тут вошла в кабинет Мария Александровна, я оставил на ее попечении больного, а сам с женой ушел домой.

Не прошло и часа с этой встречи, как во время наше-

го обеда пришли дети Ульяновых — Володя и Митя. Первый из них, прислонясь к косяку входной в столовую двери, по обычаю своему застенчиво выглядывая, роняет: «Папа... умер...» — «Как? Что? Когда?» Мы с женой сейчас же поспешили на квартиру Ульяновых, где действительно нашли старика мертвым. По словам его жены, после нашего ухода ему было все хуже и хуже. Он жаловался на сильный озноб, почему Мария Александровна, накрыв его теплее, уложила в кабинете, а сама, не подозревая опасности, села в столовой обедать с детьми. Вдруг в дверях комнаты появляется Илья Николаевич и, не входя, как-то странно посмотрев на всех, уходит. На вопрос жены, не надо ли ему чего-либо — муж ничего не ответил. Придя за ним в кабинет, Мария Александровна нашла Илью Николаевича лежащим в сильнейшем припадке лихорадки. Неожиданно он поворачивается к ней со странным выражением лица, с широко открытыми глазами и умирает. Врач, обещавший навестить больного, приехав в назначенный им час, нашел его уже мертвым. Смерть Ульянова застала его семью врасплох. Дочь Ульяновых Анна приехала погостить на рождество из Петербурга (кажется), где была на педагогических курсах [85]. Так как Мария Александровна была погружена в хлопоты о похоронах, а затем в заботы об устройстве домашних дел, то Анна с детьми часто приходила к нам. Пока покойник находился в доме, Маня и Митя у нас почевали. В свою очередь, и мы чаще заходили по вечерам к Ульяновым, чтобы им не было так жутко в квартире, где только что был покойник.

Отпевали Ульянова в Богоявленской церкви. Погребение было торжественным. Собралось много знакомых почившего. Вообще все отнеслись сочувственно к тяжкому горю семьи, тем более что последняя осталась нежданно почти без всяких средств. Похоронили прах Ульянова на кладбище Покровского монастыря. На литургии и отпевании на левом клиросе пел хор воспитанников Симбирской чувашской школы.

После смерти Ильи Николаевича мои отношения с его семейством не прекращались. Мне даже пришлось принять участие в судьбе несчастного сына его Александра.

Когда в феврале или марте 1884 года я по вызову министра народного просвещения Делянова приезжал в Петербург, то Александр, тогда еще студент Петербург-

ского университета, приходил ко мне часто в гостиницу, а иногда у меня и обедал. В те дни он представлял из себя цветущего, красивого, черноволосого и черноглазого юношу с мягким характером, похожего на мать Марию Александровну (в то время как Володя Ленин был с рыжеватыми, курчавыми волосами и похож на отца).

И. Н. Ульянов уже давно умер, когда по Симбирску стали распространяться слухи о том, что сын его Александр будто бы замешан в деле о покушении на жизнь императора Александра III. Слухи эти скоро подтвердились. Потрясенная Мария Александровна поехала хлопотать за сына в Петербург, а по возвращении оттуда была у меня в чувашской школе. По ее словам, Саша был непричастен к делу, что его и других оговорил провокационно Говоруха-Отрок [86]. Бедная мать умоляла меня спасти юношу, которому грозила смертная казнь, обратившись к Н. И. Ильминскому, чтобы тот вмешался в это дело с помощью своих влиятельных знакомых. Действительно, знаменитый просветитель инородцев был в то время в силе и особенно хорош с обер-прокурором св. Синода К. П. Победоносцевым. Я согласился сделать все возможное и поехал вместе с Марией Александровной Ульяновой в Казань. Но надежды наши на вмешательство К. П. Победоносцева не оправдались. К этому времени у Победоносцева вышло столкновение с редактором «Гражданина» князем Мещерским, который всячески травил его на страницах своего журнала, именно в связи с процессом Говорухи-Отрока. Некто Новорусский был замешан в это дело, при рассмотрении которого выяснилось, что его во время студенчества поддерживал материально Победоносцев, продолжавший это и впоследствии. Князь Мещерский, воспользовавшись удобным предлогом, бросил по адресу Константина Петровича недвусмысленные намеки на тему «Как волка ни корми, а он все в лес смотрит», доказывая, что спасение России только в дворянстве, и подчеркивал, что покровительствуемый Победоносцевым Новорусский был воспитанником духовной семинарии, духовной академии и т. п. Ввиду этого замешивать в дело Говорухи-Отрока Победоносцева Ильминскому было невозможно. Подобный путь спасения пришлось оставить. Я побывал у Ильминского, прося его заступиться за Александра Ульянова. Посетила его, поехавши со мною в Казань, отдельно от меня, и потрясенная горем Мария Алек-

сандровна. В конце концов Ильминский, поверив ей на слово о невиновности ее сына, послал телеграмму министру народного просвещения Делянову, прося последнего сделать что-либо для спасения гибнущего молодого человека. Делянов скоро ответил Николаю Ивановичу телеграммой же. Но в том смысле, что он, Ильминский, слишком добр, а дело Ульянова такого свойства, что никто в него вмешиваться не может, в том числе и он, Делянов («ни вы, ни я», как выражался Делянов), прибавляя, что уже и поздно. Этот ответ в подлиннике давал мне читать покойный Ильминский. Мария Александровна Ульянова, несмотря на такую неудачу, все-таки поехала затем сама хлопотать за сына в Петербург... Пока Ульянова оставалась в Петербурге, мы с женой часто навещали оставшихся одними ее детей, справляясь о том, нет ли известий от их матери? В свою очередь, и дети Ульяновой, в том числе и Володя, часто заходили к нам наводить такие же справки.

Вмешательство мое в судьбу Александра Ульянова не прошло мне даром: за мною в Симбирске одно время был учрежден даже особый жандармско-полицейский надзор, как за человеком сомнительным по части благонадежности.

Много лет спустя мне попался в руки журнал Струве, в котором описывался процесс о покушении на жизнь императора Александра III, причем рассказывалось о том, как самостоятельно, благородно, не запираясь, не впутывая в дело других, держал себя на суде Александр Ульянов. О Говорухе-Отроке же в статье почему-то ничего не упоминалось.

Осенью прошлого (1917) года, после падения в России монархии, в Симбирск приезжал Новорусский. Узнав обо мне от местного архитектора Шоде, Новорусский захотел со мною познакомиться и приехал ко мне с женой в чувашскую школу. Ранее я с ним знаком не был. От него я узнал, между прочим, что он просидел в Шлиссельбургской крепости около 18 лет и был выпущен оттуда лишь благодаря амнистии в 1905 году. Разговор перешел затем на подробности интересовавшего меня дела Говорухи-Отрока, Ульянова и др. По словам Новорусского, он спасся от смертной казни совершенно случайно. У императора Александра III была система, благодаря которой при утверждении приговоров по политическим делам, где имелось много соучастников, пригово-

ренных к смертной казни, даровать жизнь седьмому по очереди. А так как он, Новорусский, по списку явился таким седьмым, то смертная казнь была заменена ему заключением в Шлиссельбургскую крепость. Новорусский отрицал, что Говоруха-Отрок выдал своих соучастников. Он рассказывал, что Александр Ульянов на суде во всем сознался, держал себя спокойно, с достоинством, самообладанием и прошения о прощении и раскаянии не подавал [87]. Новорусский в беседе со мною не отрицал того, что К. П. Победоносцев помогал ему в его молодости. Про себя же сообщил, что все участие его в процессе Говорухи-Отрока и других состояло в том, что он, Новорусский, предоставил свою квартиру для совещаний заговорщиков-сообщников. Сам он, по словам его, деятельного участия в покушении на жизнь императора Александра III не принимал.

До сих пор при воспоминании о бедном, безвременно погибшем юноше Александре Ульянове, передо мною встает его симпатичный, прекрасный образ, и мне становится его жаль...

Она [Мария Александровна] умерла в прошлом году *, не переставая его [сына] оплакивать.

Приезжая в Симбирск на могилу мужа, она всегда навещала меня с женою, давая последней поручения, связанные с поддержанием в порядке могилы. Дом, принадлежавший в Симбирске Ульяновым, в котором скончался Ульянов-отец, давно был продан вдовою. До [самой] смерти Ульяновой я относился к бедной матери с участливым сожалением. Но кое-кого пугала возможность, благодаря близости к родным казненного государственного преступника, попасть, по примеру моему, под надзор полиции. Были лица, не так давно близкие к семье Ульяновых, даже ей обязанные в прошлом, которые отшатнулись от нее после несчастья с Александром Ульяновым,—это искренне огорчало Марию Александровну. В оправдание подобных малодушных симбирян можно сказать, что действительно правительство преследовало семью Ульяновых из-за казненного Александра. Даже Симбирской гимназии ставилось в упрек, что она выпустила из стен своих такого тяжкого государственного преступника.

---

* М. А. Ульянова скончалась 12(25) июля 1916 г.

Третий сын Ульяновых Дмитрий (Митя) в 1907 году служил в Симбирске санитарным врачом [88]. Он был товарищем по Московскому университету сыну моему Алексею, хотя они и находились на разных факультетах. Жив и теперь. Находится в Москве с братом Владимиром Ильичем.

Когда в 1908 году сын мой Алексей (ныне профессор Московского университета) поехал за границу с женою, то в Женеве встретился с Владимиром Ильичем, причем тот предупреждал его, что посещать его опасно, так как за ним, Ульяновым, следят и за границей. «Вы разделите мою участь!» — говорил он сыну. Ввиду такого предупреждения они сговорились встречаться на так называемом острове Жан Жака Руссо, в парке, где Владимир Ильич передал сыну моему свою книгу, сказав: «Когда вникнете в нее, то, может быть, поймете...»[89]. Затем сына вызвали из-за границы телеграммой о болезни дочери его Наташи. Он уехал и более в то время с Ульяновым-Лениным не виделся.

Сам я не встречал Владимира Ильича Ульянова-Ленина лет тридцать, хотя знаю, что он все время сочувственно следил за моей деятельностью по Симбирской чувашской школе. В последнее время, когда Ульянов-Ленин из застенчивого мальчика Володи, каким я его вспоминаю, волею судьбы превратился в главу Российской Советской власти, я имею веские доказательства того, что он все же не забыл ни Симбирска, ни чувашской школы, ни меня, в ней трудящегося.

Заговорив в связи с его [Володи Ульянова] пребыванием в Симбирске о воспитаннике Симбирской чувашской школы Охотникове, я хочу сказать еще что-либо об этом, так рано окончившем свое существование, моем родиче.

Охотников скончался молодым (лет 28—29) в Казани. После смерти Охотникова остались жена и трое детей. Жена его в одно время служила в Симбирской чувашской школе. Она была довольно простая, симпатичная женщина, окончившая курс в Казанской женской русской учительской семинарии. Сам Охотников умер, не оставив семье средств. Но родители его были зажиточные люди, ему помогавшие. В общем он и его семья не нуждались. Будучи в Казани, Охотников записывал со слов Н. И. Ильминского, за что получал вознаграждение и от него. Когда он служил учи-

телем в Симбирской чувашской школе, то жил на казенной квартире, помещавшейся под нашей. Смерть его вызвала общие сожаления со стороны тех, кто ожидал от него многого по части проложения новых путей в математике. После его смерти я встретился с одним из профессоров Казанского университета. Речь зашла об Охотникове, и профессор удивительно симпатично отзывался о дарованиях этого чувашского самородка. У Охотникова остались две литературные его работы [90], имеющие, кроме литературного, еще и общественное значение. По существовавшему ранее порядку от держащих при гимназиях экзамен на аттестат зрелости требовалась подача описания их прежней жизни и деятельности, т. е. нечто вроде автобиографии. Я ему и посоветовал включить в это сочинение возможно больше сведений из его прошлого, что он и исполнил, так что гимназическому начальству подана была им объемистая тетрадь, около 20 мелко исписанных листов, в которой он начинает с описания своего детства и юности, проведенных в деревне. (Второй экземпляр этих, крайне интересных, воспоминаний был у меня. Но я его не могу найти.)[91] Охотников по совету Ильминского написал, а затем и напечатал в журнале «Церковноприходская школа», издававшемся в Киеве, небольшую статью, красиво, просто написанную, в которой описывает дни, проведенные в Симбирской чувашской школе. Статья эта, когда я ее читал, глубоко меня растрогала. Следует, однако, заметить, что авторами ее, в сущности, были двое: Охотников и Н. И. Ильминский, прошедший всю статью, ее исправивший и придавший ей, надо думать, тот задушевный тон, которым от нее веет на читателя.

XII

Хочу сказать хоть немного о семье Керенских, из которой вышел глава Временного правительства Александр Федорович Керенский.

Я хорошо знал Федора Михайловича Керенского, отца. Будучи еще студентом Казанского университета, он бывал у Н. И. Ильминского. Ф. М. Керенский происходил из духовного звания. Еще холостым он жил в Казани против моей квартиры и находился в хороших отношениях с моим домохозяином, старым холостяком Иваном Ивановичем Лепаринским, у которого я жил в

общих с последним комнатах, почему, не бывая у Керенского, часто с ним встречался. Помню, что в беседах со мною он интересовался жизнью студенчества. Иногда в нем просвечивал либерал, хотя он это настолько умел скрыть, что попал в милость такого убежденного консерватора, каким был попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков. Семья Керенского, кроме него и жены, состояла еще из 3—4 детей. Нынешняя «знаменитость» Александр Федорович Керенский, когда я его знал, был старшим между детьми. Как ребенок он ничем особенным не выделялся, и я на него не обращал внимания. Керенский-отец с семьею переехал в Симбирск приблизительно в 1883 или 1884 году, когда был назначен сюда директором единственной тогда в Симбирске 1-й мужской гимназии *, и поселился в казенной квартире. Я был уже тогда женат. Мы познакомились семьями и бывали друг у друга. Потом Керенского перевели главным инспектором всех училищ Туркестанского края (должность, равная почти должности попечителя учебного округа). Помнится, что к этому времени сыну его было лет 7.

Вот какую характеристику могу сделать Керенскому-отцу, которого знал я близко. Способный. Образованный, отлично знавший русскую литературу. Хороший рассказчик, обладавший даром слова. В то же время это был человек завистливый, не терпевший около себя какого-либо соперничества, стремившийся вредить не только своим конкурентам, но даже тем, кого подозревал как стоявших поперек его дороги. На почве этих особенностей его характера у меня вышло с ним несколько довольно крупных, неприятных столкновений. Преподавание пения в чувашской школе было поставлено у меня хорошо, так что хор моей школы пользовался в городе популярностью. Воспитательно-образовательная часть была поставлена в школе настолько удовлетворительно, что некоторые земские деятели обращались ко мне за советами по учебным вопросам. Так как Керенский не допускал возражений против своих взглядов, особенно же некоторых, давно сложившихся (кто с ним не соглашался, тот становился его врагом), то он в лице преподавателя пения чувашской школы Петрова (Андрея Петровича, чуваша), которого пригласил учителем пения в свою гим-

---

* Ф. М. Керенский был назначен директором Симбирской классической гимназии в 1879 г.

назию, стал вымещать злобу на чувашской школе и вообще чувашах. Петров, будучи талантливым преподавателем пения, прекрасно поставил это дело в гимназии, получая за труд свой то же содержание, какое получал в чувашской школе. Надо заметить, что это стоило ему немалых усилий. Гимназисты сначала занимались крайне неохотно, небрежно. Но он принадлежал к числу преподавателей, увлекавшихся своим предметом, умевших увлекать и других, заинтересовывать, заставлять работать. По мере того, как росли успехи Петрова в этом отношении, росло и завистливое к ним отношение Керенского. Дошло до того, что он стал придираться к Петрову, делать ему грубости в присутствии учеников, высмеивать при них ему в глаза его чувашское происхождение. Петров мне жаловался, тем более что в чувашской школе очень ценились его труды и заслуги по организации хора. В то же время отвлечение от чувашской школы занятиями в гимназии, находившейся далеко от школы, не могло не отразиться на успехах чувашского хора. Выход был один — порвать связь с гимназией. Я посоветовал Петрову отказаться от занятий там, что он и сделал. А Керенский меня за это возненавидел. Скоро возникло между нами новое недоразумение. Керенский задумал пристроить к гимназии и ныне существующее крыло из красного кирпича. (Когда я учился в гимназии, этого крыла не существовало.) Возник вопрос о том, делать ли эту пристройку к гимназии или же пристроить еще одно отдельное учебное заведение, так как существовавшей гимназии для Симбирска уже было недостаточно. До приезда сюда Керенского у меня, Архангельского (будущего профессора, бывшего со мной одновременно в университете) и учителя гимназии, моего товарища по Казанскому университету Сергея Николаевича Теселкина, преподававшего в гимназии географию и историю, живших со мной на одной квартире (мы все были тогда холостыми), явилась мысль открыть в Симбирске прогимназию, которая со временем могла бы быть пребразована в гимназию. Принимая участие в таком предприятии, я думал дать возможность чувашам поступать еще в одно учебное заведение, кроме существовавшей гимназии. Мы надеялись найти сочувствие, помощь в городе, тем более что в кадетский корпус прием сделался затруднительным. Но мне пришлось бросить мысль о прогимназии, так как попечитель Шестаков, узнав о мо-

их планах, имел со мной по поводу их особое объяснение. При свидании со мной он прямо, с неудовольствием спросил меня: «Правда ли, что вы намерены учредить прогимназию?» Я ответил: «Да». «Тогда не будет вам моего сочувствия, моей поддержки!» — сказал он, пояснив, что, взяв на себя еще и прогимназию, я, несомненно, отвлеку часть моих сил от чувашского дела, которому посвятил свою жизнь и которое веду успешно, что я без нужды буду разбрасываться и т. д. В его словах было много правды и доброжелательства ко мне. Скоро Архангельский пошел в университет. (Он преподавал словесность в 1-й гимназии до Керенского.) Керенский застал в гимназии Теселкина, способного, хотя невидного по наружности педагога (Теселкин был мал ростом, тогда как Керенский отличался могучим телосложением, высоким ростом, дородностью, грудью, как говорится, колесом, вообще представительной наружностью), возненавидел его, стал преследовать, сделал на него в учебный округ донос (как о том говорил мне Теселкин) и добился перевода его в Саратов, тем более что Шестаков находился в то время под влиянием Керенского и верил ему. Перевод был ударом для Теселкина, который незадолго перед тем женился. Керенский продолжал, между тем, чистку в гимназии неугодного ему учительского персонала. Так, он сделал подлый, нечестный донос по начальству на такого достойного педагога, каким был инспектор Христофоров, за возражения против него, Керенского, по управлению гимназией. Христофоров был переведен в Астрахань инспектором. Климат Астрахани дурно влиял на его здоровье. Года через два Христофоров вышел в отставку, вернулся в Симбирск, где и умер. О доносе Христофоров узнал в учебном округе и говорил мне. На должности директора гимназии Керенского сменил Свешников.

Но я отвлекся от личных моих столкновений с Керенским. Вернусь к истории с пристройкой к гимназии кирпичного крыла. Имея знакомых в городе и земстве, я открыто говорил против проекта Керенского, указывая на то, что лучше открыть отдельную прогимназию, купив для этого на Московской улице большой каменный дом, принадлежавший Ермоловым, в то время продававшийся за 15 тысяч рублей. А между тем Керенский возбудил уже ходатайство о пристройке к гимназии крыла. Мои взгляды на этот вопрос выводили его из себя, так что при

встречах со мною он стал говорить мне дерзости, упрекая меня в том, что я, окончивший гимназию, должен бы был сочувствовать ее увеличению, а, между тем, противодействую, мешаю и т. д. Я ему отвечал, что гимназии сочувствую, но что это не мешает ввиду интересов населения высказываться за постройку прогимназии. Мои столкновения с Керенским продолжались. В 1885 году я освящал церковь чувашской школы, устроенную в ее первоначальном виде (до надстройки). Я и учителя школы решили отпраздновать это событие с особенной торжественностью, пригласив губернатора, местное начальство, представителей земства и других лиц. Так как у школы в то время средств не было, то на празднество я ассигновал из собственных моих средств 500 рублей. У Керенского давно уже было завистливое отношение к успехам, репутации моей школы. Воспользовавшись удобным случаем, он стал кричать по городу, что я устраиваю из освящения церкви при школе рекламу себе. Он говорил: «Подумаешь, какие-то чуваши... А куда лезут!.. Устраивают себе такое торжество!..» Под влиянием такой враждебной агитации Керенского в городе по поводу предстоящего торжества начались разговоры, толки. Все это доходило до меня. Наконец, вся эта интрига против школы мне надоела, и я решил не только не устраивать особого торжества, но и не звать высокопоставленных лиц и даже не приглашать на освящение архиерея. Так я и сделал, пригласив лишь директора народных училищ Ульянова, Белокрысенко, начальника Мариинской женской гимназии Вишневского и самого Керенского. Керенский был удивлен такой переменой в моих намерениях. «Как же это так! — говорил он.— Вы хотели устроить торжество...» — «Мало ли что я хотел. Раздумал. Помещения нет. Средств нет!» Керенский хорошо понимал, однако, почему я изменил мое первоначальное решение. До конца его пребывания в Симбирске он сохранил к чувашской школе насмешливо-пренебрежительное отношение и без официальных приглашений в нее не являлся. Н. И. Ильминский больших симпатий к Керенскому не питал. Он ненавидел всякие интриги, не одобрял забеганий к высокопоставленным лицам. У Керенского была несимпатичная черта — стремление втираться в высшее общество Симбирска. Так, он влез в дружбу к тогдашним директорам Симбирского кадетского корпуса генералам Альбедилю и Якубовичу, стремился играть роль

представителя главного местного учебного заведения, старался поддерживать отношения с губернатором Долгово-Сабуровым, с вице-губернатором Тройницким и другими видными местными бюрократами. История с переводом Христофорова, которого Ильминский любил, отшатнула Николая Ивановича от Керенского. Я ему сообщил об отношении последнего к учителю пения чувашской школы Петрову. Подобное поведение Ильминскому не понравилось. Тем не менее, когда Керенский был назначен в Туркестан, то поехал за советами и указаниями к Ильминскому, как к знатоку тамошнего края. Три дня Ильминский посвятил на то, чтобы ознакомить Керенского с той особою обстановкой, в которой ему предстояло работать на дальней окраине. По возвращении из Казани Керенский говорил мне, что никогда, ни от кого, во всю свою жизнь не получал подобной инструкции, как от Ильминского. Тем не менее Керенский и Николаю Ивановичу сделал огорчение. В Туркестане служил близкий Ильминскому человек (ученик его по Казанской духовной академии и преподаватель в Казанской инородческой семинарии при Ильминском) Остроумов. Керенский невзлюбил его и, пользуясь своим служебным положением, стал его преследовать, на что Остроумов как доверенное лицо Ильминского жаловался последнему. Когда Керенский появился в Ташкенте, Остроумов состоял директором тамошней учительской семинарии, хорошо ведя это дело, любя его. Но Керенский перевел его на должность директора Ташкентской гимназии, оторвав тем от любимого, налаженного дела. Керенский в нем видел конкурента, как в образованном педагоге, знавшем отлично инородческие языки (татарский, сартский и др.). Керенский в политическом отношении был двуличен.

XIII

Вы спрашиваете меня об ежегодных отчетах по Симбирской чувашской школе. Их нет (или, точнее сказать, их почти нет) [92], так как я всегда стоял за то, что не надо рекламироваться. В этом отношении у меня были взгляды, не согласные со взглядами Н. И. Ильминского, который в последние годы его жизни говорил мне, что, напротив, надо собирать материалы о школе, печатая их и тем знакомя общество с деятельностью учебного заве-

дения. Признаться, я всегда был врагом популярности. Для составления же отчетов пришлось бы уделять им часть моей душевной энергии. А она вся шла на чувашскую школу.

Когда в чувашской школе образовались хорошие хор и оркестр, то она стала участвовать в общественной жизни Симбирска.

Так, в 1909 году во время празднования юбилея Симбирской гимназии на вечере, имевшем место в дворянском собрании, принимали участие оркестр и хор чувашской школы. Привлек к участию в вечере школу приехавший на юбилей попечитель Деревицкий.

В 1896 году я воспользовался бывшей в то время в Нижнем Новгороде Всероссийской выставкою для того, чтобы, посетив Нижний Новгород, Казань, Кострому, Ярославль, Сергиевскую лавру, Москву, показать воспитанникам чувашской школы, из своих деревень никуда, кроме Симбирска, не выезжавшим, Россию в ее историческом прошлом, в ее культурном настоящем. Поездка эта, совершенная летом, описана в особой, изданной мною в том же году, брошюрке, где интересующиеся этим педагогическим опытом могут найти нужные им сведения [93].

Про меня постоянно распускалась клевета в том смысле, что я нажил себе незаконным путем состояние, нагрев, так сказать, руки около чувашской школы. А между тем я пришел к могиле без всякого состояния.

Стоя во главе школы, я занимался и преподаванием воспитанникам ее некоторых предметов. Так, я преподавал им логику, педагогику, арифметику, алгебру (первые два предмета в течение многих лет подряд). Когда по болезни учителей или по другим причинам оказывались свободными часы уроков, я устраивал с учениками собеседование на разные темы из текущей жизни, касаясь иногда и выдающихся событий России.

Зачастую во время таких собеседований я в учебно-педагогических целях разбирал в классе тот или другой злой, неблаговидный поступок воспитанника, делая из сказанного мною выводы. Чаще всего обращался я к классу на ту или иную тему в виде рассуждения, от меня исходившего. Но ученикам не возбранялось задавать мне вопросы, просить пояснений, даже делать возражения. И тогда все обращалось в собеседование. Но случаи возражений, вопросов в общем бывали редки. Поневоле

приходилось касаться и тем политического характера.

Несмотря на мои годы и на все то, что пришлось мне испытать в прошлом и что испытываю я в настоящем по отношению к созданной моими усилиями чувашской школе, я, как и в молодости, иногда позволяю себе помечтать.

Так, несколько лет тому назад мне пришла в голову мысль положить на длинный период времени тысячу рублей с тем, чтобы на этот капитал нарастали проценты, а когда скопится крупная сумма, можно было бы создать чувашский университет.

В 1877 году мною был поднят вопрос о преобразовании Симбирской чувашской школы в чувашскую учительскую семинарию. При этом я преследовал две цели: 1) дать возможность чувашам получать лучшее, высшее образование и 2) увеличить содержание преподавательскому, воспитательскому составу. К вопросу этому в надлежащих сферах отнеслись было сочувственно. Мною было составлено и представлено несколько проектов. Но и до сих пор вопрос о такой семинарии не разрешен в положительном смысле, не утверждены положение, штаты, оклады и т. п. С переходом власти к Советам была получена бумага от Симбирского комиссариата о том, что разрешено переименовать школу в семинарию.

У меня была мысль отправлять более способных чувашей из Симбирской чувашской учительской школы в английские университеты — Кембриджский и Оксфордский, конечно, предварительно основательно обучив их английскому языку. Когда в 1905 году я был вызван в Петербург и довольно долго жил там по случаю особого совещания для выработки правил по инородческому образованию, то меня однажды посетил англичанин Кин, представитель так называвшегося английского высшего иностранного библейского общества. Я ему и высказал мое пожелание в виде мысли, навеянной изучением мною по книгам высших английских учебных заведений, которыми в те дни я увлекался. Мне хотелось, чтобы по окончании курса в английских учебных заведениях чуваши возвращались бы в Россию и применяли свои познания на благо чувашского народа. Тогда у меня в голове не было еще мысли о каком-либо особом, высшем для чувашей учебном заведении. Я старался более способных чувашей толкать в русские духовные академии и университеты. Кин был очень образованный, благовоспи-

танный человек, довольно хорошо говоривший по-русски, так как долго жил в России. Он бывал у меня и в Симбирске, в чувашской школе, приезжая в Симбирск по делам своего библейского общества. Когда ему сообщил о моем проекте посылать выдающихся чувашей в английские университеты, то он к этой моей мысли отнесся сочувственно. Но заявил, что Лондонское библейское общество, как преследующее лишь чисто миссионерские цели, оказать мне тут материальную помощь в виде какого-либо пособия не может. Однако он обещал мне дать ход моему заявлению, если я его сделаю на бумаге, оказав мне возможное содействие. Но разные обстоятельства помешали мне дать ход такому начинанию. Оно осталось лишь в виде моего пожелания.

С начала последней русско-германской войны мне на старости лет пришлось пережить в Симбирской чувашской школе и отрадные, и грустные события.

Вот что доносил я в 1915 году министру народного просвещения графу Игнатьеву, давая объяснения по ревизии, произведенной в чувашской школе Богоявленским.

В объяснении моем (от 4 июня 1915 г. за № 1117) министру народного просвещения графу Игнатьеву на ревизию д. с. с. Богоявленского, произведенную в чувашской школе в сентябре 1913 года, доказав всю неосновательность и лживость заявлений Богоявленского о ферме, я, между прочим, доносил:

«Не могу не высказать по поводу судьбы сельскохозяйственной фермы при Симбирской чувашской школе того, что мною перечувствовано и пережито около этого дела. Желание устроить ферму при школе было моей мечтой в молодости. Более 30 лет я готовился к ее осуществлению, устраивая при школе опытные хозяйства. Наконец, в 1912 году удалось мне на скопленные по копейкам деньги приобрести для школы и женского при ней училища собственный участок земли в 264 десятины, замечательно удобный именно для опытного хозяйства. Школа имеет вполне достаточные для оборудования фермы средства, с разных сторон — от земств, от учреждений, от частных лиц поступают выражения самого искреннего сочувствия этому делу, во всякой форме выражается содействие, притекают пожертвования,— словом, теперь, на закате моей жизни, казалось, я дождался возможности осуществления давнишней моей мечты — соз-

дать твердо поставленную теоретическую и практическую школу — ферму с целью насаждения и распространения в народе столь драгоценных для него сельскохозяйственных знаний, умений и навыков. И что же ждало меня теперь оттуда, откуда я мог бы ждать если не сочувствия, то хотя бы непрепятствования развитию этого дела — со стороны Казанского учебного округа! Не было ни одного моего начинания в этом направлении, которое встретило бы сколько-нибудь доброжелательное отношение и поддержку. Все мои ходатайства или отклонялись, или задерживались без ответа месяцами и годами, самое дело, осуществленное, конечно, с разрешения министерства, оказалось моей виной, «самым больным местом» школы. И именно в связи с устройством фермы, как в награду за все мои труды и начинания, по соображениям д. с. с. Богоявленского, одобренным т. с. Кульчицким, я должен был даже быть удален с той должности и оторван от той работы, которой была отдана вся моя жизнь... Было бы грустно пересказывать слишком длинный мартиролог истории фермы за последние 3—4 года во время управления Казанским учебным округом т. с. Кульчицкого и особенно его помощника д. с. с. Погодина.

Отчет по ферме за 1912 г. мною был напечатан действительно без разрешения округа... Однако, вследствие соответствующего распоряжения округа, отчет этот в обращение не поступал и по требованию округа, вследствие донесения д. с. с. Богоявленского, был полностью, в количестве 120 экз., препровожден в округ. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. История с печатанием этого отчета никакой огласки не получила бы, если бы гласность ей не придал сам д. с. с. Богоявленский, взявший на просмотр лично для себя, ради справок, один экземпляр отчета и давший мне слово не передавать его никуда дальше. На деле же д. с. с. Богоявленский слова своего не сдержал, экземпляра отчета мне не вернул, а представил его в округ и этим самым сообщил ему огласку и движение, за что ныне привлекает меня к ответственности. Впрочем, непонятно, что именно опасного или преступного можно усмотреть в напечатании хозяйственного и исторического отчета по ферме в количестве 120 экз. „на правах рукописи"».

В чувашской школе еще до войны (ввиду существовавшего тогда течения в высших сферах) было обращено уже должное внимание на военную подготовку школь-

ной молодежи. Много в этом отношении оказал услуг школе офицер Лепарский, занимавшийся с воспитанниками гимнастикой, строем. Он любил это дело, умел заохотить, втянуть в него и воспитанников. Устраивал с ними походы в военном строю на нашу ферму. Ввел сокольскую гимнастику[94]. Ученики в строю делали прогулки по городу со своим оркестром. Лепарский даже меня хотел приучить к военным приемам. Так, он уговорил меня, выходя к школе, здороваться с учениками: «Здравствуйте, ребята!» На что они отвечали по-солдатски: «Здравия желаем, Ваше превосходительство!» Раза два я это проделал по желанию Лепарского, но потом бросил, находя такую военщину не в моем характере, прося Лепарского оставить меня в покое.

В 1914 году пошли на войну, недоучившись, воспитанники 3-го, высшего, класса школы. (В школе было три класса, курс в каждом классе двухгодичный.) То же повторялось в следующие годы — 1915, 1916 и 1917. Так как усиленные выпуски пополнялись более энергичными, лучшими учениками, то затянувшаяся война прежде всего и нанесла удар школе как учебному заведению, преследовавшему свои особые задачи, расшатав ее учебные занятия и воспитательную часть. Эта разруха отразилась и на низших классах, в которые, благодаря войне, стали проникать письма ушедших на войну товарищей из действующей армии, газетные известия о ходе войны и т. п., отодвигая на задний план учебно-воспитательное дело.

В 1915 году мне удалось при содействии Министерства народного просвещения выхлопотать воспитанникам Симбирской чувашской школы права, уравнявшие их с другими учебными заведениями — пользоваться сокращенным курсом в военно-учебных заведениях и, таким образом, скорее проходить в офицеры. Это, само собою разумеется, усилило отлив воспитанников из школы на войну. По этому вопросу, будучи в Петербурге, я не раз ходил хлопотать и в Главный штаб, и в министерство.

Помню прибытие в Симбирск первых раненых. Обыкновенно равнодушного, сонного Симбирска трудно было узнать. Встречи. Подарки. Овации. Слезы... Попечительное отношение к жертвам войны.

Воспитанники Симбирской чувашской школы и тут во всем этом принимали, с моего согласия, самое живое,

деятельное участие, помогали переносить в госпиталь с вокзала раненых и т. п.

В 1914 году был устроен военный лазарет при школе с денежной помощью купца Шатрова, с привлечением к нему наличных сил живших в школьных зданиях. Взяла под свою опеку раненых и больных нижних чинов моя жена. Прислуживала в лазарете наша прислуга.

Школе пришлось в 1914 или 1915 году уступить для нужд военного времени свои мастерские — слесарную, токарную и другие, передав и разного рода инструменты, бывшие в этих мастерских. Это подорвало еще одну из важных сторон школьной нашей жизни — обучение воспитанников ремеслам.

Девочки на средства школы шили белье для раненых, теплые жилеты для солдат, табачные кисеты и т. п. Мальчиков, юношей, отправлявшихся на войну, мы снаряжали, одевали и отправляли на свой счет, давая им еще и денежные пособия — по 15 рублей каждому.

Враги мои воспользовались для своей агитации против меня рядом съездов по чувашскому вопросу.

Кампания против меня началась в апреле—мае 1917 года в Казани на съезде представителей мелких народностей (в том числе и чувашей). Съезд имел целью провести своих (от инородческого населения) кандидатов в Учредительное собрание. Устав национального общества мелких народностей Казанского и Приволжского края был очень фантастичен. Я на этот съезд не поехал. А потому и противодействия тому, что делалось и говорилось на этом съезде, с моей стороны не было. (Я, в сущности, многого тогда еще не подозревал.) Участников съезда от мелких народностей, населяющих Приволжье, съехалось немного. В большинстве оказались чуваши. Николай Алексеевич Бобровников участвовал в трудах этого съезда и даже одно время на нем председательствовал, но влияния на дела съезда не имел. Хотя на этом съезде против меня открыто ничего не говорилось, но тут собрались и некоторые мои недоброжелатели. Несомненно, тайно шли совещания между ними о том, как бы выгнать меня из Симбирской чувашской школы, что потом и обнаружилось. Открыто же стали действовать против меня на следующем съезде [95], который, ввиду преобладания на Казанском съезде чувашского элемента, решено было устроить в Симбирске. Задумано все было хитро, ловко. Желали, чтобы я все подготовил к этому съезду, т. е.

добыл бы средства, нашел бы помещение, пристроил бы по городу участников съезда и т. д. Тут же задумано было свалить меня, причем роль эту взяли на себя Андреев, Афанасьев [96] и др. Смутно лишь подозревая об интриге, я в интересах чувашского народа (интересы эти были выставлены главными мотивами устройства съезда) сделал с моей стороны для успешности съезда все, что только от меня зависело: пожертвовал из моих средств 300 рублей, выпросил у директора Симбирского кадетского корпуса генерала Жолтикова помещение в корпусе для общих заседаний, для расквартирования же участников съезда дал помещение в чувашской школе, выхлопотав помещения в ремесленном училище, в епархиальном училище, в женском духовном училище (участниками съезда должны были быть и учительницы), бегал, хлопотал, волновался... В. Н. Орлов уверял меня, что съезд — отрадное явление в жизни чувашского народа, что на съезде все будет легально, прилично, лишь в рамках программы съезда... Сам Орлов тоже бегал, суетился. Мои опасения оправдались.

Съезд состоялся в июне 1917 года. На всех заседаниях его я не был. Съехавшиеся на съезд враги мои сошлись в Симбирске с частью недовольных моею деятельностью преподавателей и воспитанников Симбирской чувашской школы. Тут-то в Симбирске была задумана та кляуза на меня воспитанников школы, которая была подана ими на меня на третьем съезде, состоявшемся в Казани в октябре 1917 года. Тут была подана на меня упоминаемая кляуза, рассмотрена съездом, который дал ей ход. На эту-то кляузу священник Даниил Филимонов прислал мне свое опровержение в мою пользу, которому я не дал хода, оставив его в моем личном архиве.

19 апреля текущего 1918 года Симбирский губернский комиссариат народного просвещения уволил меня от должности председателя педагогического совета Симбирской чувашской школы. Но в конце того же апреля совет школы меня вспомнил, избрав меня председателем педагогического совета только женских педагогических курсов и женского при школе училища...

Последние неприятности, испытываемые мною в Симбирской чувашской школе, после некоторых колебаний заставили меня еще раз [97] обратиться за покровительством к В. И. Ульянову-Ленину. В телеграмме в Москву я сообщал, что меня удалили с должности председателя

педагогического совета Симбирской чувашской школы и могут выселить с квартиры. В ответ на это из Москвы, несомненно, под влиянием Ульянова-Ленина, получены были две телеграммы [98], в которых велено восстановить меня в правах по педагогическому совету — одна на имя Симбирского отдела народного просвещения, другая за подписью Ленина.

Из Москвы прислана была мне в Симбирскую чувашскую школу на мое имя телеграмма. Но ее предварительно вскрыл В. Н. Орлов.

Текст этой телеграммы таков: «Из Москвы. Подана 25/X — 1918 г. Принята в Симбирске 30/X — 1918 г. Чувашская семинария. Председателю педагогического совета Яковлеву. Комиссариат народного просвещения находит недопустимым устранение избранного председателя педагогического совета Яковлева, особенно среди учебного года, и продолжает считать Яковлева председателем. Вместе с тем рекомендуется отделу более внимательное и бережное отношение к такому заслуженному деятелю по народному просвещению, как Яковлев, проработавшему полстолетия. Заместитель народного комиссара по просвещению Мих. Покровский».

* * *

У меня с годами накопился довольно большой, интересный личный мой архив. Я желал бы, чтобы этот личный мой архив после смерти моей перешел в наследство к сыну моему Алексею, профессору. Но завещания по этому вопросу я не делал.

Портрет мой (фотогравюра Брукмана) сделан в Мюнхене по заказу моей снохи, жены сына моего Алексея, урожденной Приклонской, художницы. Она нарисовала мой портрет по фотографии. И уже с этого художественного воспроизведения была сделана за границей фотогравюра в небольшом количестве (250) экземпляров.

С натуры меня до сих пор никто не срисовывал. Только в последние годы меня нарисовали: 1) карандашом — художник Н. Ф. Некрасов и 2) масляными красками — художник Архипов (1921 г.). Первый портрет похитил у меня Некрасов, а второй находится и сейчас у меня [99]. В Симбирской чувашской школе моего портрета нет. Да я по примеру Н. И. Ильминского и не желал бы, чтобы при жизни моей мое изображение украшало помещение школы.

Каково мое политическое завещание родному мне чувашскому народу?

Завещаю чувашам, что бы ни случилось с Россией, жить с нею, разделяя ее радости и горе, какое бы государственное устройство в ней ни существовало. Если в России осуществится республика, пусть и чуваши будут верны республике.

Твердо верую, что не может погибнуть многомиллионный русский народ. Значит, если вера моя осуществится, не погибнет и чувашское племя — пока тесно будет слито с общей Родиною — Россией.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] **К стр. 20.** В архивах хранится несколько собственноручных автобиографий И. Я. Яковлева, в которых день рождения помечен 13 апреля 1848 г. Так, 26 августа 1869 г. он писал о себе: «Я родился 13 апреля 1848 года. День моего рождения... считается счастливейшим, это был третий день пасхи в этом году. По другим известиям моих родичей, я родился 18 апреля... но это, мне кажется, положительно неправда, я тут более полагаюсь на показания моих родных» (Отдел рукописей музея И. Я. Яковлева при Чувашском государственном педагогическом институте имени И. Я. Яковлева, фонд А. И. Кондакова, папка 1, л. 6).

Действительно, по данным пасхального календаря XIX в., в 1848 г. первый день пасхи был 11 апреля, третий день пасхи — 13 апреля, вторник.

Вообще же до поступления в гимназию И. Я. Яковлев не придавал значения дате своего рождения. Он не знал также, что жил без родителей и воспитывался до 1856 г. в чувашской семье Пахома Кириллова, которая усыновила его в первые же дни жизни. Только при подготовке личных документов для представления их в дирекцию Симбирской мужской классической гимназии он узнал подробности о своем происхождении и долго не верил, что с раннего же детства лишился родной матери. Сразу же после поступления в гимназию И. Я. Яковлев начал наводить справки о своих родителях. Обнаруженные в архивах документы он сравнивал с показаниями своих родных и родственников, которые в те годы были еще живы. После долгих разысканий он узнал и точную дату своего рождения — 13 апреля.

[2] **К стр. 20.** В конце первой половины XIX в. дер. Кошки-Новотимбаево входила в Бюргановский приказ, Жуковского прихода, Буинского уезда. Деревня возникла в начале XVIII в., когда чуваши в период колонизации Поволжья двигались обратно из Посурья к юго-востоку. Во второй четверти XVIII в. здешние чуваши подвергались насильственной христианизации (см.: Д и м и т р и е в В. Д. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959, с. 347).

[3] **К стр. 20**. Мать (родная) И. Я. Яковлева, Макарова Анастасия, была родной сестрой жены Пахома Кириллова, Авдотьи Васильевой.

В 1868 г. И. Я. Яковлев писал о своей матери так: «Мать моя скончалась спустя три дня после моего рождения, я был виновником ее смерти...

Моя мать была, по отзыву всех ее знающих, чрезвычайно умная женщина, одаренная замечательной красотой между чувашами. Она в течение 8-летнего вдовства отлично правила домом, который был одним из первых домов моей деревни как по зажиточности, так и по значению; на ее руках, кроме ее собственных детей — десятилетнего сына и восьмилетней дочери, оставшихся после [смерти] мужа, были малолетние дети ее деверя. Она исполняла сама все крестьянские работы, сама пахала, сама ездила на базар и в город продавать хлеб и прочее, умела отлично отделаться, когда один из родственников хотел завладеть домом, и держаться...» (Отдел рукописей музея И. Я. Яковлева при Чувашском госпединституте, фонд А. И. Кондакова, папка 1, л. 6).

О своем родном отце И. Я. Яковлев не оставил никаких сведений, не обнаружены они и в архивных документах.

По данным ревизской сказки по дер. Кошки-Новотимбаево 1850 г., И. Я. Яковлев считался «незаконнорожденным сыном» (Государственный архив Ульяновской области, далее: (ГАУО, ф. 156, оп. 2, д. 387, лл. 34—35).

[4] **К стр. 21.** Здесь речь идет о родных братьях и сестре И. Я. Яковлева. Старшего, Ивана, и сестру Акулину он помнил хорошо, ему часто приходилось помогать им. Второй брат умер в раннем детстве, поэтому Яковлев не помнит его имени. Иван и Акулина умерли в начале 900-х годов.

[5] **К стр. 21.** В ревизской сказке 1850 г. И. Я. Яковлев значится усыновленным Пахомом Кирилловым (1800—1872) (ГАУО, ф. 156, оп. 2, д. 387, лл. 34—35). По существовавшей издавна традиции у чувашей дети получали фамилию по имени отца. Семью Андрея, сына Пахома Кириллова, И. Я. Яковлев называет семьей Пахомовых.

[6] **К стр. 22.** Ко времени усыновления И. Я. Яковлева в доме Пахомовых (Кирилловых) жили две семьи: Пахома и его сына Андрея. Официально приемной матерью И. Я. Яковлева считалась жена Пахома Кириллова — Авдотья Васильева, которую он звал бабушкой, а Пахома — дедушкой. За И. Я. Яковлевым ухаживала и жена Андрея, которую он звал мамой и считал приемной матерью. Она умерла через три года после его усыновления. По данным ревизской сказки 1858 года, Авдотья Васильева

и вторая жена Андрея Анна Васильева, в это время были живы. В семье имелись дети: Анастасия (15 лет), Прасковья (8 лет), Анисия (3 года) (ГАУО, ф. 156, оп. 2, д. 613, лл. 492—493).

[7] **К стр. 25**. В 1871 г. в дер. Кошки-Новотимбаево было открыто одноклассное училище Министерства народного просвещения. В его организации активное участие принимали инспектор народных училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянов и студент Казанского университета И. Я. Яковлев. И. Н. Ульянов официально открыл его 11 октября 1871 г., приняв на учебу 16 чувашских мальчиков. После открытия училища по ходатайству И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева оно было передано на государственное содержание.

Под «русским» училищем И. Я. Яковлев имеет в виду училище Министерства народного просвещения, в отличие от земских, церковноприходских и братских училищ.

[8] **К стр. 25**. Составление первого чувашского букваря на основе новой чувашской письменности было завершено осенью 1871 г., а в январе 1872 г. он был издан под названием «Тъваш адизене сырьва вьрепмелли кнеге» в объеме 56 стр.

[9] **К стр. 27**. Благодаря стараниям И. Я. Яковлева Кошкинское одноклассное инородческое училище Министерства народного просвещения в 1897 г. стало двухклассным; в 1894 г. при нем было открыто женское отделение, преобразованное в 1898 г. в самостоятельное женское училище (ЦГА ЧАССР, ф. 501, оп. 1, д. 367, л. 5). При Кошкинском двухклассном училище была создана хорошо оборудованная столярная мастерская, где ремеслу обучались не только дети, но и взрослые крестьяне. В 1899 г. на базе этой мастерской И. Я. Яковлев организовал кружок трудовой помощи крестьянам. В деревне Кошки-Новотимбаево в двухклассном и женском одноклассном училищах в 1897 г. обучались дети 22 близлежащих селений (ЦГА ЧАССР, ф. 501, оп. 1, д. 108, л. 19).

[10] **К стр. 30**. Архивные материалы свидетельствуют, что И. Я. Яковлев по окончании учебы в с. Старые Бурундуки был направлен удельной конторой в Симбирск для продолжения учебы в уездном училище, где проучился с сентября по декабрь 1860 г.

12 ноября 1860 г. «Симбирские губернские ведомости» (№ 46) опубликовали Положение об открываемых землемеро-таксаторских классах и объявление о приеме учащихся в них. Поскольку завершилось первое полугодие учебного года, то укомплектование контингента учащихся землемеро-таксаторских классов задержалось. Поэтому решено было организовать их за

счет 1 класса уездного училища. И в январе 1861 г. И. Я. Яковлев вместе со всей группой детей удельных крестьян из 1 класса уездного училища был переведен в эти, только что открытые землемеро-таксаторские классы (ГАУО, ф. 128, оп 2, д. 30, л. 8).

[11] **К стр. 39.** Белл-ланкастерская система взаимного обучения — система организации и методов обучения в начальной школе, при которой старшие ученики являлись помощниками учителя и под его руководством вели занятия с младшими учащимися. Впервые ее ввели в практику школьного обучения английские педагоги А. Белл и Дж. Ланкастер в начале XIX в.

В России эта система распространялась прежде всего в удельных училищах.

[12] **К стр. 40.** Подробно об этом И. Я. Яковлев писал в автобиографии, составленной 18 апреля 1867 г. (ЦГА ЧАССР, ф. 515, оп. 1, д. 320, лл. 6—7).

[13] **К стр. 52.** Одним из внуков Г. И. Мушкеева, обучавшихся в Симбирской чувашской школе в 1879 г., был Иван Павлович Мушкеев. В конце того же года выбыл по болезни и в 1880 г. скончался в с. Старые Бурундуки.

[14] **К стр. 52.** И. Я. Яковлев был направлен в Симбирское уездное училище, откуда переведен на учебу в землемеро-таксаторские классы (см. примечание 10).

[15] **К стр. 54.** О направлении И. Я. Яковлева по окончании учебы на работу в книге приказов записано: «16 мая 1864 г. Департамент уделов на основании § 8 «Положения о межевых учениках, сельских мерщиках», принятого 1 апреля 1859 г., Яковлев Иван, Александров Григорий утверждены сельскими мерщиками с производством 120 руб. в год каждому» (ГАУО, ф. 318, оп. I, ед. хр. 1313, л. 65).

[16] **К стр. 55.** Уставные грамоты 1861 г. в России—акты, определявшие поземельные отношения временнообязанных крестьян с помещиком в связи с отменой крепостного права. В уставных грамотах фиксировался размер земельного надела и определялись повинности с крестьян. Уставные грамоты составлялись на основании «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. самими помещиками, утверждались и вводились в действие мировыми посредниками. Составление и введение в действие грамот проходило в условиях обостренной классовой борьбы.

[17] **К стр. 55.** «Вестник Европы» — ежемесячный журнал, выходивший с 1866 г. под редакцией либерально настроенного профессора М. М. Стасюлевича. В нем преимущественным вниманием пользовались вопросы истории и политики. По своему политическому направлению это был буржуазно-либеральный журнал, от-

стаивавший капиталистический путь развития России по западноевропейскому образцу. В начале 1918 г. он прекратил свое существование.

[18] **К стр. 59.** Общественно-политическая газета «Русские ведомости» выходила в 1863—1918 гг. в Москве. Основателем и создателем ее был Н. Ф. Павлов, затем ее издавали И. Н. Павлов, Н. С. Скворцов (в 1866—1882 гг.). По своему направлению «Русские ведомости» противостояли реакционным «Московским ведомостям». В разное время в «Русских ведомостях» сотрудничали Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и др.

[19] **К стр. 59.** Речь идет о русской газете «Санкт-Петербургские ведомости» (выходила в Петербурге с 1728 г. при Академии наук). В 1863—1874 гг. при арендаторе-редакторе В. Ф. Корше газета «Санкт-Петербургские ведомости» считалась одним из наиболее либеральных органов печати, критиковала правительство, противников буржуазных реформ.

[20] **К стр. 59.** Здесь вкралась ошибка. Согласно Положению о землемеро-таксаторских классах, выпускники их обязаны были отслужить в удельном ведомстве не менее 10 лет («Положение о Симбирских землемеро-таксаторских классах».— Газета «Симбирские губернские ведомости», 1860, № 46). При досрочном же освобождении удельные конторы требовали компенсации средств, затраченных на обучение не только в землемеро-таксаторских классах, но и удельном училище.

[21] **К стр. 67.** Литературный и общественно-политический журнал «Русское слово» выходил в Петербурге в 1859—1866 гг. Ведущая роль в журнале принадлежала Д. И. Писареву. Сотрудничали также А. П. Щапов, Н. В. Шелгунов и др. Журнал неоднократно подвергался репрессиям со стороны правительства. В 1866 г., после покушения Д. В. Каракозова на Александра II, журнал был закрыт.

[22] **К стр. 67.** Статья «Чувашский праздник учук», написанная И. Я. Яковлевым в соавторстве с редактором газеты М. В. Арнольдовым, была опубликована в «Симбирских губернских ведомостях» 28 марта и 4 апреля 1867 г. В конце статьи поставлены через черточку две фамилии: Арнольдов — Яковлев. В номере от 28 марта есть примечание редактора, в котором подчеркнуто: «Статью эту мы писали вдвоем с г. Яковлевым. Высокий этнографический интерес к содержанию заставил нас принять участие в составлении этой статьи».

[23] **К стр. 67.** Речь идет о рецензии И. Я. Яковлева на учебное пособие Н. И. Золотницкого «Сӧлдалык кнеге» (календарь), изданное в Казани в 1867 г. Рецензия опубликована в «Симбир-

ских губернских ведомостях» 13 апреля 1867 г. Рецензент приветствовал появление книги Золотницкого и в то же время указывал на необходимость создания более совершенного алфавита чувашского языка.

[24] **К стр**. 68. Первоначально мнение, будто И. Я. Яковлев выступал в печати против употребления чувашского языка в школах, высказал Н. И. Ильминский еще в 1884 г. в статье «К истории инородческих переводов» (журн. «Православный собеседник», март, с. 333); статья перепечатана в его книге «Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии» (Казань, 1890), где, в частности, было сказано, что Яковлев в 1868 г. написал статью против употребления чувашского языка в школах, которая была напечатана тогда же в «Симбирских губернских ведомостях» (с. 38). П. В. Знаменский же в своей книге «На память о Николае Ивановиче Ильминском. К 25-летию братства святителя Гурия» (Казань, 1892, с. 277—288) лишь повторил эту мысль. Ту же мысль повторяли и продолжают повторять по сей день другие авторы статей о деятельности просветителя, ограничиваясь ссылкой на цитированные воспоминания Ильминского. Но в каком именно номере «Симбирских губернских ведомостей» выступал И. Я. Яковлев против употребления чувашского языка — оставалось невыясненным. Так, А. Спасский в книге «Просветитель инородцев Казанского края Николай Иванович Ильминский» (Самара, 1900, с. 117) писал, что И. Я. Яковлев «... печатно восставал против употребления чувашского языка в школах (в 1868 г., «Симбирские губернские ведомости»)...». То же самое находим у Н. В. Никольского, который в книге «Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири, подверженных влиянию ислама», (Казань, 1912, с. 302) указывает на статью И. Я. Яковлева «против употребления чувашского языка в школе («Симбирские ведомости», 1868 г.)». В сборнике «И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников» (Чебоксары, 1968) подчеркнуто, что эта статья якобы была написана И. Я. Яковлевым под влиянием Баратынского (с. 135).

Авторитет Ильминского был настолько велик, что даже в библиографическом справочнике литературы о чувашах указывалось наличие такой статьи И. Я. Яковлева: Иванов А. Указатель книг, брошюр, журнальных и газетных статей и заметок на русском языке о чувашах. Казань, 1907, с. 53. «Симбирские губернские ведомости», 1868, статья И. Яковлева против употребления чувашского языка в школах. Не указаны ни дата, ни номер газеты.

Тщательный просмотр всех номеров названной газеты за 1867—1870 гг. позволяет предположить, что Ильминский, вероятно, спутал И. Я. Яковлева с его учителем А. И. Баратынским, тоже печатавшимся в газете «Симбирские губернские ведомости» и действительно выступавшим против употребления чувашского языка в школе. И. Я. Яковлев же всегда выступал за просвещение «инородцев» на родном языке.

[25] **К стр. 71.** Благожелательное отношение некоторых высокопоставленных лиц к представителям национальных меньшинств объясняется обстановкой оживленного обсуждения в 60-х гг. XIX в., по инициативе Н. И. Ильминского, вопроса о допущении «инородческих» языков в церковную проповедь и начальное школьное обучение; о подготовке церковно-священнослужителей и учителей из представителей местных народов. В Казани при управлении учебного округа в 1866 г. был учрежден особый Комитет — «инородческий», куда входили попечитель округа П. Д. Шестаков (председатель), Н. И. Ильминский, Н. И. Золотницкий (члены) и др. Комитет поощрял стремление представителей нерусского населения края к образованию, просвещению своих сородичей и т. д. По-видимому, этим можно в какой-то мере объяснить сочувственное отношение к И. Я. Яковлеву при его поступлении в Симбирскую классическую гимназию.

[26] **К стр. 77.** По архивным данным, после Рекеева на учебу в Симбирск прибыл Е. А. Улюкин (11 марта 1869 г.), а Е. Исаев — позднее, осенью 1869 г. (ГАУО, ф. 835, оп. 1, д. 4, л. 1).

[27] **К стр. 81.** Текст воспоминаний А. В. Рекеева об училище хранится в Госархиве Ульяновской области, ф. 835, д. 4.

[28] **К стр. 81.** Результаты своих исследований М. П. Петров опубликовал в книге «Симбирская чувашская учительская школа и И. Я. Яковлев». Чебоксары, 1928 (на чувашском языке). Она была издана к 60-летию Симбирской чувашской школы и 80-летию со дня рождения ее основателя.

[29] **К стр. 82.** Алексей Рекеев был призван в рекруты по прихоти помещика В. Е. Аргамакова, члена рекрутского присутствия Буинского уезда, в нарушение манифеста «О производстве в 1871 г. рекрутского набора с обеих полос Империи и с губерний Царства Польского», в котором, в частности, сказано: «Освободить от рекрутской повинности лиц, состоящих в должности учителя начального народного училища, если лица эти предварительно выдержали испытание на упомянутое звание в установленном порядке (Мнение Государственного Совета 22 апреля 1868 г.), или же с успехом окончили курс наук в учебных заведениях, дающих право на звание учителя начального народного училища» (Полное собрание законов Российской Империи. Со-

брание второе, т. XLV, отделение второе, 1870 №№ 48530—49097 и дополнения. СПб., 1874, с. 538, 540).

Благодаря неоднократным ходатайствам, решительным действиям И. Я. Яковлева и И. Н. Ульянова Рекеев в конце апреля 1871 г. был освобожден от воинской службы.

[30] **К стр.** 82. Симбирская чувашская школа в 1890 г. стала учительской школой, в 1917 г.— учительской семинарией.

[31] **К стр.** 83. Во время инспектирования учебных заведений г. Симбирска П. Д. Шестаков посетил квартиру учеников И. Я. Яковлева 21 сентября 1870 г. По возвращении в Казань попечитель вызвал студента Яковлева на беседу и потребовал от него подробных сведений о частной школе. Затем 12 октября представил в Министерство народного просвещения ходатайство за № 350 об ассигновании денежного пособия на ее содержание (ЦГА ТАССР, ф. 92, оп. 1, д. 98, л. 3).

[32] **К стр.** 84. О сборе денег подписными листами в 1870 г. И. Я. Яковлев писал в «Отчете о состоянии Симбирской чувашской школы за первую половину 1875/76 учебного года»: «В конце августа мне предстояло отправиться в Казань для поступления в университет, между тем, меня сильно занимала мысль обеспечить содержание моих мальчиков, по крайней мере, на один год. Я открыл между моими знакомыми и товарищами по гимназии подписку, которая дала около 350 руб., сумму, вполне достаточную для содержания в продолжение одного года 4 мальчиков» (Циркуляр по Казанскому учебному округу, 1876, № 3, с. 151).

[33] **К стр.** 86. В Симбирске И. Я. Яковлев был известен не только как основатель чувашской национальной школы, но и как собиратель предметов старины, памятников устного народного творчества, которые учителя и учащиеся школы собирали под его руководством с 70-х годов прошлого века. В 1895 г. он участвовал в создании в Симбирске губернской ученой архивной комиссии. Во все время существования этой комиссии он был ее постоянным членом.

[34] **К стр.** 92. Гончаровский дом — здание, построенное в Симбирске в честь уроженца этого города, известного писателя И. А. Гончарова. Торжественная закладка здания состоялась 6 июня 1912 г., в день столетия со дня рождения И. А. Гончарова. Строительство дома было завершено в сентябре 1915 г. И. Я. Яковлев заведовал постройкой дома, его участие в строительстве было отмечено несколькими благодарностями Симбирской ученой архивной и строительной комиссий. Ныне в этом здании размещаются краеведческий музей и Ульяновский областной художественный музей.

[35] **К стр.** 94. Здесь неточность. В начале сентября 1870 г. в

Симбирской чувашской школе обучалось не 5—6 мальчиков, а 4 (см. Отчет И. Я. Яковлева о состоянии Симбирской чувашской школы за первую половину 1875/76 учебного года в Циркуляре по Казанскому учебному округу, 1876, № 3, с. 151).

[36] **К стр.** 96. Она называется «Материалы к истории Симбирской чувашской школы, мужского и женского при ней приходских двухклассных училищ с трехлетними педагогическими курсами». Издана в Симбирске в 1915 г. в объеме 71 стр.

[37] **К стр.** 98. Ссора произошла из-за расхождений во взглядах на характер переводимой на чувашский язык литературы. И. Я. Яковлев ценил заслуги В. А. Белилина, и впоследствии дружественные связи между ними продолжались.

[38] **К стр. 100.** Книга Н. И. Ильминского «Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии» (Казань, 1890) явилась официальным ответом на жалобы и доносы представителей духовенства, особенно В. Я. Смелова, который в течение десяти лет писал анонимные статьи против И. Я. Яковлева, его алфавита и переводов. В одном из центральных журналов Смелов писал о Яковлеве: «Пылкость молодой натуры, с которой он принялся за дело, была причиной того, что он встал на неправильный путь в инородческом деле. Г[осподин] Яковлев в деле образования чуваш задался мыслью чувашский язык сделать языком книжным...» (О деятельности г. Яковлева по образованию чуваш.— Журнал «Церковно-общественный вестник», 1884, № 9). В одной из жалоб Смелов писал, что просветительная деятельность И. Я. Яковлева не только бесполезна, но и аполитична (Переписка о чувашских изданиях Переводческой комиссии, с. 3). Н. И. Ильминский как председатель Переводческой комиссии при братстве св. Гурия и крупный специалист по тюркским языкам выступил против священников Смелова, а также П. П. Любимова названной выше книгой.

[39] **К стр. 105.** В дореволюционной России духовная семинария являлась наиболее доступной формой получения образования для бедных крестьян. Семинария давала право на поступление в университет. Почти все воспитанники И. Я. Яковлева, направлявшиеся в духовную семинарию, впоследствии получили высшее образование. По решению Казанского собрания епископов Поволжья 1885 г. начиная с 1888 г., из числа выпускников Симбирской чувашской школы без вступительных экзаменов ежегодно разрешалось принимать в IV класс Симбирской духовной семинарии по два-три человека, имевших не менее чем двухлетний стаж учительской работы (см. сб.: Письма Николая Ивановича Ильминского. Казань, 1895, с. 335). Но с 1906 г. выпускников школы перестали принимать в духовную семинарию, так как в

1905—1906 гг. они зарекомендовали себя как зачинщики «беспорядков» в школе и семинарии.

[40] **К стр. 108.** Речь идет о противниках системы просвещения «инородцев», разработанной Н. И. Ильминским в начале 60-х годов XIX в. Сущность данной системы нашла отражение в высочайше утвержденных 26 марта 1870 года особых Правилах «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев», которыми главное место в школьном образовании отводилось религиозному воспитанию, первоначальное обучение допускалось на родном языке с одновременным изучением русского языка, разрешалось готовить учителей из среды самих же национальных меньшинств, издавать учебники и книги религиозно-нравственного содержания на родном языке с печатанием их русскими буквами (см.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. 4. СПб., 1874, с. 1555—1556).

Введение этой системы способствовало в какой-то мере распространению грамотности, развитию просвещения нерусских народов. Наиболее реакционные чиновники Министерства народного просвещения, представители высшего духовенства выступали против системы Н. И. Ильминского. К числу таковых относился и редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков.

[41] **К стр. 108.** Под «чувашскими преобразованиями» подразумевается здесь общественно-просветительная деятельность И. Я. Яковлева в целом: открытие и строительство новых школ, преобразование одноклассных училищ в двухклассные, подготовка национальных педагогических кадров, создание чувашской письменности, перевод и издание книг и т. д.

[42] **К стр. 109.** В журнале «Миссионерское обозрение» (1899, № 11, с. 436—451 и № 12, с. 576—588) была опубликована статья епископа Никандра «К вопросу о более желательной и целесообразной постановке церковноприходской и школьной миссии среди населения инородческого Среднего Поволжья». Она подписана «С. Е. Н.», т. е. «Симбирский епископ Никандр». Указывая на случаи направления И. Я. Яковлевым некоторых выпускников Симбирской чувашской школы в духовную семинарию, автор обвинил просветителя во вмешательстве в духовные дела. Епископ называет И. Я. Яковлева «пестуном инородческой обособленности, образованным хранителем своего родного племени» и т. д., призывает насильственно христианизировать и русифицировать чувашей, а для этого, по его убеждению, надо строить не школы, а монастыри, церкви.

В опровержение его утверждений И. Я. Яковлев подготовил большую статью «К вопросу об инородческой миссии в Поволжье», но не опубликовал ее. Опровержение мракобесу дал дирек-

тор Казанской инородческой учительской семинарии Н. А. Бобровников. Оно было опубликовано в следующем же номере журнала «Миссионерское обозрение» под названием «По поводу статьи: „К вопросу о более желательной и целесообразной постановке церковноприходской и школьной миссии среди населения инородческого Среднего Поволжья"» (1900, № 1). Бобровников утверждает, что главная роль в приобщении национальных меньшинств к русской культуре принадлежит школе родного языка, поэтому деятельность И. Я. Яковлева по организации подобных школ полезна и нужна народу.

[43] **К стр. 110**. Копия этого письма, подписанная И. Я. Яковлевым 8 ноября 1912 г., ныне хранится в Центральном госархиве Чувашской АССР, ф. 207, оп. 1, д. 883, лл. 79—83. В письме вкратце изложена история создания и развития Симбирской чувашской школы, подчеркнуто ее значение для чувашской культуры.

[44] **К стр. 110**. Речь идет прежде всего о вмешательстве в дела бывших воспитанников Симбирской чувашской школы, принимавших участие в революционном движении 1905 г. Так, 4 августа 1908 г. И. Я. Яковлев обратился к симбирскому губернатору Д. Н. Дубасову — по поводу высылки сельского учителя М. Тимофеева в Уфимскую губернию за противоправительственную пропаганду — с просьбой разрешить Тимофееву вернуться в Симбирскую губернию. При этом он подчеркнул: «Я беру Тимофеева на свою ответственность и ручаюсь за скромность и безупречность его дальнейшей службы» (ГАУО, ф. 855, оп. 1, д. 659, л. 46). Под поручительство И. Я. Яковлева Тимофеев был возвращен из ссылки и продолжал учительствовать.

[45] **К стр. 111**. С обвинениями И. Я. Яковлева в «национализме», «сепаратизме» писали всевозможные жалобы и на имя министра просвещения. Так, 23 марта 1914 г. подобная жалоба поступила от буинского уездного предводителя дворянства Теренина (ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 172, д. 2075, л. 11). Причем жалоб было настолько много, что в апреле 1914 г. министр просвещения Кассо сам приехал в Симбирск для их проверки.

[46] **К стр. 112.** Переводами на чувашский язык И. Я. Яковлев пробовал заниматься еще в годы учебы в гимназии. Его систематическая переводческая деятельность началась в университете. Направление этой деятельности Яковлева определялось Н. И. Ильминским, рекомендовавшим переводить прежде всего религиозные книги.

[47] **К стр. 114**. В годы учения на истфилфаке университета (1870—1875) И. Я. Яковлев изучал следующие языки: славянский, русский, греческий, латинский, немецкий, французский, англий-

ский, итальянский. На II курсе им было переведено с итальянского языка на русский сочинение «Предисловие Лаврентия Бонинконтрия Миниатского». Текст перевода хранится в ЦГА ТАССР, ф. 977, опись истфилфака, д. 1013, лл. 10—15.

[48] **К стр. 115**. Официально такая комиссия не существовала. Переводческое дело в Симбирской чувашской школе осуществлялось на добровольных началах: ученики, учителя под руководством Яковлева переводили книги с 1870 г. Переводчики менялись, но издательско-переводческая деятельность не прекращалась. Первое время переводы и учебники печатались в Казани, затем и в Симбирске.

[49] **К стр. 116**. Совещание по вопросам издания переводов и книг для национальных школ состоялось 18—21 сентября 1906 г. в г. Уфе. Совещание приняло решение сосредоточить составление переводов и издание учебных книг и пособий для чувашских школ Оренбургского учебного округа в Симбирской чувашской учительской школе (ЦГА ЧАССР, ф. 207, оп. 1, д. 526, л. 8).

[50] **К стр. 119**. Здесь пропущены названия некоторых сел: в Буинском уезде И. Я. Яковлев построил школьные здания и в с. Кошки-Новотимбаево (для мужского и женского училищ), в с. Старое Дуваново и т. д. Всего в этом уезде им было построено около 20 школьных зданий. С. Кайсарово—Симбирского уезда.

[51] **К стр. 119**. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 г. об условиях отмены крепостного права вызвали разочарование и возмущение обманутых в своих надеждах крестьян. Они не поверили в подлинность оглашенного текста «Положений» и считали, что местная власть скрыла настоящие манифест и новые законы. Весной 1861 г. в Поволжье произошли крестьянские волнения. Так, в с. Бездна под руководством крестьянина Антона Петрова его односельчане отказались ходить на барщину, вносить оброк помещикам, забирали из помещичьих амбаров хлеб. К ним присоединились крестьяне других селений Спасского, Чистопольского, Лапшевского уездов Казанской губернии и смежных уездов Самарской и Симбирской губерний. Восстание в Бездне было жестоко подавлено. 12(24) апреля 1861 г. по приказу генерал-майора свиты А. С. Апраксина была расстреляна безоружная 4-тысячная толпа крестьян. Были убиты и умерли от ран 91 человек, свыше 350 ранены. 19 апреля (1 мая) был расстрелян А. Петров.

[52] **К стр. 119**. Трагедия в Бездне вызвала широкий отклик в передовых слоях русского общества. Студенты Казани организовали панихиду по жертвам бездненского расстрела, на которой с критикой политики правительства выступил профессор университета А. П. Щапов, за что подвергся репрессиям. Перед арестом

он успел передать текст своей речи студенту Казанской духовной академии И. Я. Христофорову, который перед смертью завещал его И. Я. Яковлеву; от него текст перешел к сыну—Алексею Ивановичу. Ныне текст речи А. П. Щапова хранится в Московском отделении архива АН СССР (ф. 665, оп. 1, д. 36).

Впервые текст речи А. П. Щапова был опубликован академиком М. Н. Покровским в журнале «Красный архив», 1923, № 4.

[53] **К стр. 121**. Упомянутые ходатайства И. Я. Яковлева были опубликованы под названиями: «Отношение инспектора чувашских школ Казанского учебного округа от 29 сентября 1875 года за № 11» (Журнал Симбирского уездного земского собрания сессии 1875 года. Симбирск, 1876, с. 99—101), «Отношение инспектора чувашских школ Казанского учебного округа от 10 мая 1877 года» (Журнал Симбирского губернского земского собрания 1877 года. Симбирск, 1878, с. 42—43).

[54] **К стр. 124.** И. Я. Яковлев стремился использовать все возможности для укрепления положения и сохранения Симбирской чувашской школы. В данном случае сведения о школе и ее руководителе в высочайшем отчете давались, по-видимому, с целью получения дополнительных ассигнований для учебного заведения.

[55] **К стр. 125**. Автором клеветнической статьи «О двух генералах» являлся бывший воспитанник Симбирской чувашской школы Г. Ф. Алюнов (Федоров), ставший впоследствии лидером чувашских эсеров-националистов и белогвардейцем. В 1907 г. он же опубликовал в симбирской газете «Волжские вести» (№ 6) еще одну клеветническую статью под названием «Сплошная драма». В них И. Я. Яковлев изображен деспотом и назван «Ванькой Бешеным, служащим в ведомстве инородческого затемнения». В 1907 г. в газете «Симбирские вести» (№№ 336, 352, 354) появилась статья другого воспитанника Симбирской чувашской учительской школы Д. Петрова «Современная бурса», в которой школа в Симбирске показана как чуждое интересам народа учебное заведение. Обе статьи опубликованы без указания фамилии автора.

Подобные пасквили появились и в других газетах. Чувашские националисты, подстрекаемые и поддерживаемые симбирскими октябристами и кадетами, в течение ряда лет вели усиленную борьбу против И. Я. Яковлева. Они обвиняли его в «русификации» своих сородичей, в «измене родному народу» и т. д., а его педагогическую систему, созданную для приобщения национальных меньшинств к культуре великого русского народа, считали средством «инородческого затемнения».

И. Я. Яковлеву приходилось защищать себя от клеветников в печати, обращаясь в местные и окружные суды. Процессы были

настолько сложны, что дело доходило до Сената. Для защиты своего дела Яковлев вынужден был прибегнуть к помощи знаменитого русского адвоката Ф. Н. Плевако. Процессы обсуждались даже в столичной печати. «Целый ряд свидетелей раскрыл перед глазами суда и публики процесс фабрикации лживых и клеветнических заметок, процесс «поддерживания» — изготовления клеветы и ее распространения. Приговор суда строго заклеймил это своеобразное литературное творчество. К разным срокам заключения приговорены супруги Сахаровы, Миллер, Жильцов и Колосов...» (Новое время, 1907, 9(22) декабря).

[56] **К стр. 126.** Речь идет о фельетоне Г. Ф. Алюнова «Легендарный чувашский юбиляр», изданном в Казани под псевдонимом «Смирнов» отдельной брошюрой с приложением отрывка из очерка Плавского «Яков Иваныч из чуваш». Этот очерк был опубликован в журнале «Дело», 1880, № 7. По предположению Н. И. Яковлева, под Плавским выступал Н. А. Баратынский. В Циркуляре Казанского учебного округа текст фельетона не опубликован, но в списке приобретенной литературы для педагогического музея при Казанском учебном округе в разделе «Словесность» за № 21 значится: «Смирнов. Легендарный чувашский юбиляр. С приложением отрывка из очерка Плавского «Яков Иваныч из чуваш». Казань, год издания не указан (см.: Циркуляр Казанского учебного округа, 1910, № 12, приложение, с. 757). И. Я. Яковлев об этом знал тогда же, но молчал, так как все действия учебного округа против него поддерживало Министерство народного просвещения. Редактором указанного циркуляра был помощник попечителя учебного округа П. Погодин.

[57] **К стр. 126.** Имеется в виду передача И. Я. Яковлевым своего трехэтажного дома совету православного миссионерского общества за 26 тыс. руб. Эти деньги он использовал позднее для строительства сельскохозяйственной фермы школы: в 1911/12 учебном году он пожертвовал 7580 руб. своих денег (ЦГА ЧАССР, ф. 207, оп. 1, д. 889, л. 112 а), в 1912/13 — 18894 руб. 56 коп.+ 550 руб. (ЦГА ЧАССР, ф. 207, оп. 1, дд. 924, 968).

[58] **К стр. 131.** «Народной армией» называли контрреволюционное войско Комуча («Комитета членов Всероссийского учредительного собрания»). Г. Ф. Алюнов (Федоров) добровольно вступил в нее, отступал вместе с белогвардейцами и белочехами, в Сибири был арестован и доставлен в Казань, где и умер.

[59] **К стр. 140.** Когда Терепина отказалась вернуть крестьянам землю, Яковлев помог им возбудить судебное дело, нанял для защиты их интересов опытного адвоката Н. И. Миролюбова и в начале марта 1905 г. выслал ему все необходимые документы. И. Я. Яковлев просил сообщить, не согласится ли Миролюбов ве-

сти это дело бесплатно. Последний 25 марта ответил, что согласен вести его за умеренную плату, просил выслать еще ряд документов (ЦГА ЧАССР, ф. 207, оп. 1, д. 468, л. 2—6). Благодаря его помощи крестьяне добились возвращения земли.

[60] **К стр. 144**. Назначение официального расследования было связано с тем, что после смерти Н. И. Ильминского его система просвещения преследовалась, особенно в таких многонациональных учебных округах, как Казанский, Оренбургский и Западно-Сибирский. Предводители местного дворянства по Положению о народных училищах 1874 г. состояли председателями уездных и губернских училищных советов и в силу своего положения вмешивались в деятельность национальных школ, пытались изгнать родной язык из преподавания. Мракобесы считали, что система Ильминского способствует возрождению духа «национализма», «сепаратизма» у «инородцев», т. е. отделению, обособлению их от России. Подвергались гонениям и сторонники системы Ильминского. В 1903 г. в связи с ликвидацией должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа И. Я. Яковлев лишился возможности руководить чувашскими школами округа.

Для расследования создавшегося положения «в инородческом вопросе» министерство направило в указанные округа члена совета министра народного просвещения проф. А. С. Будиловича, выводы которого были в пользу системы Н. И. Ильминского.

[61] **К стр. 146.** Речь идет о книге С. В. Чичериной «Положение просвещения у приволжских инородцев» (СПб., 1906), в которой показаны результаты применения системы Ильминского в просвещении народов Поволжья, приведены обширные статистические данные за 35 лет о росте уровня грамотности населения, числе школ, национальных педагогических кадров и т. д. В целом книга критикует Министерство народного просвещения за ослабление внимания к системе Ильминского.

[62] **К стр. 146.** С. В. Чичерина подарила И. Я. Яковлеву книгу «У приволжских инородцев. Путевые заметки» (СПб., 1905). Этот экземпляр сейчас хранится в музее И. Я. Яковлева при Чувашском госпединституте имени И. Я. Яковлева.

[63] **К стр. 148.** И. Я. Яковлев еще в XIX в. перевел все четыре «Книги для чтения» Л. Н. Толстого на чувашский язык, а затем переиздавал их несколько раз. При составлении учебников для чувашских школ он широко использовал его учебники «Азбука», «Новая азбука». В 1909 г. вместе с К. В. Ивановым Яковлев выпустил «Первую книгу для чтения после букваря на чувашском языке», составленную по образцу «Книги для чтения» Л. Н. Толстого.

Л. Толстой переписывался с некоторыми воспитанниками

Симбирской чувашской учительской школы, а также с учителями сельских чувашских школ.

[64] **К стр.** 148. И. Я. Яковлев имеет в виду работу Н. И. Ашмарина над составлением 17-томного словаря чувашского языка, которому он посвятил более 30 лет своей жизни. Первые две книги были изданы в 1910—1912 годах. После длительного перерыва издание возобновилось только в 1927 г. (см. брошюру: Егоров В. Г. Н. И. Ашмарин как исследователь чувашского языка. К 100-летию со дня рождения. Чебоксары, 1970, с. 15—16).

[65] **К стр.** 148. Речь идет о работах Н. И. Ашмарина «Материалы для исследования чувашского языка. Часть I. Учение о звуках (фонетика). Часть II. Учение о формах (морфология)». Казань, 1898 и «Опыт исследования чувашского синтаксиса. Часть I». Казань, 1903.

[66] **К стр.** 149. В 1916 г. Н. И. Ашмарин одновременно через В. В. Радлова и С. Ф. Платонова надеялся получить помощь в продолжении научных исследований в стенах университета. Первый из них обещал помочь Ашмарину занять кафедру в Казанском университете, а второй — в Петроградском. В декабре 1916 г. Ашмарин сообщил Платонову о ходатайстве для него Радловым места в Казанском университете, после чего Платонов прекратил поддерживать с Ашмариным связь.

Между тем, Министерство народного просвещения не выделяло средств на учреждение должности преподавателя чувашского и татарского языков в Казанском университете, о чем ходатайствовал Радлов, поэтому Ашмарину так и не удалось занять университетскую кафедру.

[67] **К стр.** 151. Д. Н. Садовниковым было собрано немало русских легенд и песен, которые изданы после его смерти отдельной книгой под названием «На старой Волге» (Симбирск, 1906).

[68] **К стр. 153.** И. Я. Яковлев имеет в виду брошюру Ф. В. Виноградова «Следы язычества в домашнем обиходе чуваш» (Симбирск, 1897).

[69] **К стр.** 166. В данном случае И. Я. Яковлев говорит о 50-летнем юбилее своей педагогической деятельности (1868—1918), считая со дня основания Симбирской чувашской школы.

[70] **К стр. 166.** Статья А. И. Яковлева была опубликована в английском журнале «The East and the West», London, voll. 11, July», 1913, № 43, p. 265—269 («Восток и Запад». Лондон, т. 11, июль, 1913, № 43, с. 265—269).

[71] **К стр.** 168. Первоначально в организации учебно-воспитательной работы в Симбирской чувашской школе И. Я. Яковлев руководствовался теми основными положениями, какие существовали в крещенотатарской школе и инородческой учительской

семинарии Н. И. Ильминского в Казани. Жизнь и быт учащихся этих закрытых учебных заведений по возможности приближены были к крестьянским условиям, в основе изучения родного языка лежал язык семьи и т. д. Но впоследствии Яковлев в организации учебно-воспитательного процесса пошел дальше Ильминского. Еще в конце XIX в. в Симбирской чувашской учительской школе обучались основам сельского хозяйства, причем практические занятия проводились на ферме. В учебных мастерских производились несложные сельскохозяйственные машины — плуги, сеялки, веялки и т. п. Всего этого не было в учительской семинарии Ильминского.

И. Я. Яковлев творчески использовал опыт классиков педагогики, в частности Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского и других. Земельный участок фермы площадью более 300 гектаров он разделил на части и прикрепил к ним классы, каждый ученик имел свой участок, обрабатывал его для выращивания овощей. Подобная практика была у великого швейцарского педагога И. Г. Песталоцци.

72 **К стр. 171.** Согласно распоряжению попечителя Казанского учебного округа П. Д. Шестакова от 28 августа 1875 г. за № 3820, И. Я. Яковлев обязан был инспектировать чувашские школы не только названных в воспоминаниях Казанской, Симбирской, Самарской, но и Саратовской губерний. В последней губернии им также были открыты школы.

73 **К стр. 174.** До 1877 г. Симбирская чувашская школа, как и другие народные школы национальных меньшинств, считалась «инородческим» училищем Министерства народного просвещения. Но в отличие от других ее воспитанники самостоятельно готовились к сдаче экзаменов на звание учителя, что было установлено И. Я. Яковлевым и И. Н. Ульяновым, а сдавали такой экзамен в Казанской инородческой учительской семинарии. С преобразованием школы в центральную (1877 г.) было официально разрешено готовить в ней учителей, т. е. ее воспитанники здесь же сдавали экзамены на звание учителя. В ней учились не только чувашские и русские юноши, но и представители других народов Поволжья.

74 **К стр. 177.** По Положению о начальных народных училищах 1864 г. во главе губернского училищного совета стоял епархиальный архиерей (см. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. III. СПб., 1865, столб. 1226—1227). Для организации новых школ в губернии необходимо было иметь официальное разрешение от председателя совета.

75 **К стр. 184.** Академик В. В. Радлов, собирая лингвистический, этнографический и фольклорный материал по тюркским

языкам Алтая и Западной Сибири, широко использовал услуги местных жителей для изучения их языка, этнографии и археологии (см.: Библиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. Под редакцией и с введением А. Н. Кононова. М., 1974, с. 241—245).

В тексте речь идет о его труде «Опыт словаря тюркских наречий» в 4-х томах.

[76] **К стр. 185.** Переданные И. Я. Яковлевым Н. И. Ашмарину рукописи с чувашскими песнями, сказками и другими памятниками устного народного творчества Ашмарин широко использовал при составлении словаря и грамматики чувашского языка. Многие из этих рукописей ныне хранятся в Центральном госархиве Чувашской АССР (фф. 207, 501, 515), в научном архиве НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров ЧАССР.

[77] **К стр. 189.** Осенью 1905 г. и в начале 1907 г. в связи с открытием II Государственной думы учащиеся Симбирской чувашской учительской школы, особенно 1 класса, проводили политические митинги, протестовали против шовинистически настроенного преподавателя Д. Кочурова, объявили ему бойкот, распространяли листовки и т. д. Попечитель учебного округа Деревицкий потребовал исключения из школы всего 1 класса. Учащиеся были распущены по домам. Неоднократные ходатайствования И. Я. Яковлева перед учебным округом о восстановлении класса оказались безуспешными.

[78] **К стр. 190.** Еще в 1915 году И. Я. Яковлев не раз просил родителей и родственников поэта вернуть его архив в Симбирскую чувашскую учительскую школу, но брат поэта, Квинтилиан, решил хранить его у родителей. В годы гражданской войны родина К. В. Иванова стала ареной военных действий, дом его родителей неоднократно подвергался обыску белогвардейцев. Личный архив поэта пропал бесследно.

[79] **К стр. 191.** П. М. Мироновым были написаны и изданы следующие учебники: 1) Арифметика (систематический курс целых и дробных чисел); отношения и пропорции, способы решения задач на правила: тройное, процентов, учета и проч. Уфа, 1900 (319 стр.). 2) Арифметика. Систематический курс целых чисел и десятичных дробей. Уфа, 1912 (262 стр.). 3) Учебник геометрии и сборник геометрических задач. Часть 1—4. Уфа, 1895—1897. 4) Учебник геометрии с приложением вопросов для повторения геометрических упражнений. Издание 2-е. Уфа, 1898. 5) Приготовительный курс. Геометрия. Казань, 1914. 6) Приготовительный курс геометрии с приложением собрания геометрических задач и разверток тел. Курс 3-го и 4-го отделений городских

училищ. Составлен по программе городских по Положению 31 мая 1872 года училищ. Уфа, 1904. 7) Краткий курс геометрии с приложением собрания геометрических задач. Уфа, 1900. 8) Приготовительный курс геометрии. Самара, 1890. 9) Геометрия. Курс городских училищ. Составлен по программе городских по Положению 31 мая 1872 года училищ. Уфа, 1905.

80 **К стр. 194.** В Симбирской чувашской школе, считавшейся закрытым учебным заведением, мальчики и девочки обучались раздельно: в учительской школе и на женских педагогических курсах. Но в подготовительных классах допускалось совместное обучение. Так же и в художественной самодеятельности они, как правило, участвовали разобщенно, но в школе существовал смешанный хор.

81 **К стр. 200.** Полный текст приветственного адреса «Симбирской мужской гимназии в день ее столетнего юбилея (1809—1909) от Симбирской чувашской учительской школы» опубликован в газете «Симбирянин», 1909, № 826, с. 3.

82 **К стр. 200.** Архивы Симбирской чувашской школы и ее основателя, несмотря на то, что часть их пропала в годы гражданской войны, все-таки весьма богаты. Большинство материалов хранится в Центральном госархиве Чувашской АССР (фф. 207, 501, 515), в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ф. 361), в Чувашском республиканском краеведческом музее, в научном архиве НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР, в музее И. Я. Яковлева при Чувашском госпединституте.

83 **К стр.** 212. За все годы своей работы в качестве инспектора чувашских школ Казанского учебного округа (1875—1903) И. Я. Яковлев редко пользовался служебным отпуском. В 1903 г., когда неожиданно для него была упразднена его должность, он временно оказался вне службы. Чтобы отвлечься от переживаний по поводу своей отставки, И. Я. Яковлев выехал на Кавказ. Эту поездку он намеревался использовать также для подыскания места под дом отдыха, где могли бы в будущем отдыхать учащиеся Симбирской чувашской школы.

84 **К стр. 221.** По сведениям Н. И. Алпатова, в Пензе И. Н. Ульянов преподавал в Дворянском институте, а в Нижнем Новгороде — в гимназии, на землемерно-таксаторских курсах, в женском училище и в течение года был воспитателем в Дворянском институте (см.: А л п а т о в Н. И. Педагогическая деятельность И. Н. Ульянова, М., 1956, с. 25—26).

85 **К стр.** 223. В 1886 г. А. И. Ульянова училась на Высших женских (Бестужевских) курсах в Петербурге.

86 **К стр. 224.** По-видимому, М. А. Ульянова говорила об

О. М. Говорухине. Яковлев перепутал его с Ю. Н. Говорухо-Отроком, привлекавшимся к суду в 1877—1878 гг. по «процессу 193-х». В дальнейшем И. Я. Яковлев «дело 1 марта 1887 г.» ошибочно называет «делом Говорухи-Отрока». «Дело 1 марта 1887 г.» по поводу неудавшегося покушения «Террористической фракции партии Народной воли» на жизнь Александра III слушалось в апреле 1887 г. в Особом присутствии Сената при закрытых дверях. К ответственности было привлечено 15 участников заговора. Из них пятеро (А. И. Ульянов, П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов, В. С. Осипанов, П. Я. Шевырев) были приговорены к смертной казни и повешены в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 г., остальные 8 были приговорены к разным срокам каторги и ссылки.

О. М. Говорухин был участником подготовки покушения на Александра III, но за несколько дней до назначенного дня покушения, в конце февраля 1887 г., эмигрировал в Швейцарию. По делу 1 марта 1887 г. к ответственности не привлекался.

[87] **К стр. 226.** Поведение и психологическое состояние А. Ульянова Новорусский описал так: «На суде я уже видел его... совершенно спокойным, как бывало на студенческих собраниях. Решение, последнее и бесповоротное, было принято.

Ясным подтверждением этого, а равно характеристикой личности Александра Ильича служат его слова, которые ему удалось шепнуть Лукашевичу на суде:

«Если вам будет нужно, говорите на меня».

Это желание принять на себя вину другого сквозило так явно во всех его показаниях до суда и на суде, что даже прокурор... стал недоверчиво относиться к ним. И в своей обвинительной речи, разграничивая то, что совершил каждый подсудимый, он определенно подчеркнул: — Ульянов приписывает себе много такого, чего он в действительности не совершал» (Иванский А. Молодой Ленин. Повесть в документах и мемуарах. М., Политиздат, 1964, с. 290—291).

[88] **К стр. 227.** Д. И. Ульянов служил санитарным врачом в Симбирске не в 1907, а в 1905 г. (см.: Ульянов Д. И. Очерки разных лет. Воспоминания. Переписка. Статьи. М., 1974, с. 13).

[89] **К стр. 227.** Очевидно, здесь речь идет о встрече А. И. Яковлева с В. И. Лениным в 1905 г., а не в 1908 г. В своих воспоминаниях А. И. Яковлев довольно подробно описал четыре встречи с В. И. Лениным, состоявшиеся в 1886, 1897, 1905 и 1918 годах. В июне 1905 г. он встретился с В. И. Лениным в Женеве на улице Корратери (см.: Яковлев А. И. Четыре встречи с В. И. Лениным.— Исторический журнал, 1942, № 1—2, с. 161). Эту же встречу подтверждает книга: «Владимир Ильич Ленин. Биографиче-

ская хроника», т. 2. 1905—1912. М., Политиздат, 1971, с. 114.

[90] **К стр.** 228. Н. М. Охотников написал ряд работ на историко-педагогические темы; из них были опубликованы: «Грамота среди чуваш» (Журн. «Церковноприходская школа», 1890, июнь, с. 232—280; ноябрь, с. 217—230); «Приволжские чуваши. Этнографический очерк» (Газ. «Симбирские губернские ведомости», 1893, №№ 21, 31, 52); «Записки чувашина о своем воспитании» (сб. «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете», т. XXXI, вып. 1. Казань, 1922, с. 19—48). И. Я. Яковлев имел в виду первые две работы. Ко времени составления настоящих воспоминаний последняя работа Н. М. Охотникова еще не была опубликована.

[91] **К стр.** 228. Копия этой рукописи ныне хранится в Госархиве Ульяновской области (ф. 660, св. 6, лл. 351—359).

[92] **К стр.** 233. В различных архивах страны хранится более 20 отчетов Симбирской чувашской школы за 1875—1917 гг. Большая часть их находится в Центральных госархивах Чувашской АССР (ф. 207) и Татарской АССР (ф. 92).

[93] **К стр.** 234. Брошюра называется: «Поездка воспитанников Симбирской чувашской учительской школы и воспитанниц женского при ней училища в Казань, Н. Новгород, Кострому, Ярославль, Сергиеву Лавру и Москву летом 1896 года». Симбирск, 1896.

[94] **К стр.** 238. От названия «Сокольской гимнастической организации», возникшей во второй половине XIX в. в Чехии. Организация преследовала цели подготовки воинов-защитников.

[95] **К стр.** 239. Речь идет о съезде чувашских националистов, состоявшемся 20—28 июня 1917 г. в Симбирске. Отдельные воспитанники Симбирской чувашской школы (В. Н. Орлов, О. А. Андреев, П. А. Афанасьев) уговорили И. Я. Яковлева принять участие в устройстве этого съезда.

В первые дни съезда И. Я. Яковлев участвовал в его работе и даже выступил на нем, но с критикой устава будущего Чувашского национального общества (ЧНО), что вызвало недовольство со стороны некоторых чувашских националистов. Впоследствии на этой почве лидеры ЧНО (С. Н. Николаев, Г. Ф. Федоров (Алюпов) и др.) начали преследовать И. Я. Яковлева, добивались отстранения его от должности, настраивали учащихся и учителей против него. Вмешательство лидеров ЧНО в руководство Симбирской чувашской учительской семинарией, их стремление захватить его в свои руки объяснялось тем, что они придавали ей большое значение в осуществлении своей националистической политики. В конце сентября (по старому стилю) 1917 г. состоялся очередной съезд ЧНО, на котором было принято решение (по выражению Яковлева, «кляуза») о необходимости замены

Яковлева на посту директора семинарии — ввиду его «старости», «грубого обращения» — более молодым по возрасту руководителем из числа членов ЧНО. Решение подписали члены ЧНО и другие лица. Среди подписавшихся были также отдельные учащиеся семинарии. И. Я. Яковлев не подчинился решению националистов и продолжал руководить школой. В апреле 1918 г. националисты и левые перегибщики снова пытались отстранить Яковлева с руководящего поста. В это дело вмешался В. И. Ленин.

[96] **К стр. 240.** По документам выясняется, что П. О. Афанасьев в то время в Симбирске не работал и в интриге против И. Я. Яковлева участия не принимал. В 1918 г. П. О. Афанасьев был заочно избран председателем педагогического совета Симбирской чувашской мужской учительской семинарии, но он отказался занять эту должность, чтобы И. Я. Яковлев продолжал руководить семинарией.

[97] **К стр. 240.** В первый раз И. Я. Яковлев решил обратиться за помощью к В. И. Ленину в начале 1918 г. и 21 февраля написал ему письмо. Но оно не было послано.

[98] **К стр. 241.** Первая из них была послана В. И. Лениным 20 апреля 1918 г. председателю Симбирского Совдепа. Она приведена в «Предисловии» к настоящей книге.

Вторая телеграмма цитируется в тексте воспоминаний.

[99] **К стр. 241.** Все эти портреты в настоящее время хранятся в музее И. Я. Яковлева при Чувашском государственном педагогическом институте имени И. Я. Яковлева.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* При подготовке Указателя имен ко второму изданию учтены замечания С. Л. Сытина.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. Я. ЯКОВЛЕВА

1848 г., апреля 13 (25).	День рождения Ивана Яковлевича Яковлева.
1856—1860 гг.	Учеба И. Я. Яковлева в Бурундукском удельном училище.
1860 г., сентября 5 (17).	И. Я. Яковлев поступил в Симбирское уездное училище.
1860 г., декабрь—1863 г., май.	Учеба И. Я. Яковлева в землемерно-таксаторских классах при Симбирской мужской гимназии.
1864 г., мая 16 (28).	И. Я. Яковлев утвержден сельским мерщиком-таксатором.
1866 г., декабря 1 (13).	Оставление И. Я. Яковлевым службы в удельном ведомстве.
1867 г., марта 28 (апреля 10).	И. Я. Яковлев опубликовал свою первую статью под названием «Чувашский праздник учюк» (в соавторстве с М. В. Арнольдовым).
1867 г., сентября 1 (13).	И. Я. Яковлев поступил в V класс Симбирской классической гимназии.
1868 г., октября 28 (ноября 9).	День основания И. Я. Яковлевым Симбирской чувашской школы. В этот день к нему в Симбирск прибыл на учебу А. В. Рекеев, первый ученик школы.
1869 г., осень.	Знакомство И. Я. Яковлева с И. Н. Ульяновым, начало совместной с ним общественно-педагогической деятельности и дружбы с семьей Ульяновых.
1870 г., июня 25 (июля 7).	Вручение И. Я. Яковлеву золотой медали об окончании гимназии.
1870 г., августа 12 (24).	И. Я. Яковлев поступил в Казанский университет.
1871 г., осень.	И. Я. Яковлев при участии В. А. Белилина завершил составление первого варианта нового чувашского алфавита.
1872 г., январь.	Издан первый чувашский букварь, подготовленный И. Я. Яковлевым.
1873 г.	Издан «Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки» И. Я. Яковлева — первый двуязычный учебник для чувашских школ.
1875 г., июля 17 (29).	И. Я. Яковлев получил свидетельство об окончании Казанского университета.

1875 г., августа 28 (сентября 9).	И. Я. Яковлев назначен инспектором чувашских школ Казанского учебного округа.
1877 г.	Преобразование Симбирской чувашской школы в центральную.
1877 г., сентября 26 (октября 8).	Вступление И. Я. Яковлева в брак с Е. А. Бобровниковой и начало их совместной педагогической деятельности.
1878 г.	Открытие женского класса при Симбирской центральной чувашской школе.
1882 г.	Организация И. Я. Яковлевым первых временных педагогических курсов для усовершенствования знаний сельских учителей Казанской губернии.
1890 г.	Преобразование Симбирской центральной чувашской школы в учительскую с шестилетним курсом обучения.
1891 г.	Организация И. Я. Яковлевым временных педагогических курсов для учителей Симбирской губернии.
1892 г.	Издан «Первоначальный учебник русского языка для чуваш» И. Я. Яковлева.
1899 г.	Организация И. Я. Яковлевым в с. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Кружка трудовой помощи крестьянам.
1901 г.	Открытие женских педагогических курсов при Симбирской чувашской учительской школе.
1903 г., май.	Упразднение должности инспектора чувашских школ Казанского учебного округа, на которой И. Я. Яковлев состоял с 1875 г.
1905 г., май.	И. Я. Яковлев участвует в работе Особого совещания по образованию восточных инородцев, созванного Министерством народного просвещения.
1906 г.	Поездка И. Я. Яковлева по странам Западной Европы с целью изучения системы народного образования.
1908 г., ноябрь.	Празднование 40-летия Симбирской чувашской учительской школы.
1909 г.	Издана «Первая книга для чтения после букваря на чувашском языке» И. Я. Яковлева (в соавторстве с К. В. Ивановым).
1911 г., лето.	Вторая поездка И. Я. Яковлева по странам Западной Европы.
1911—1912 гг.	Организация сельскохозяйственной фермы Симбирской чувашской учительской школы и общественных столовых для голодающих детей.
1913 г.	Издан «Отчет о состоянии сельскохозяйственной фермы Симбирской чувашской учительской школы за 1912 год»,

	изъятый впоследствии управлением Казанского учебного округа.
1917 г., октябрь.	Симбирская чувашская учительская школа была преобразована в учительскую семинарию.
1918 г., апреля 20.	В. И. Ленин пишет телеграмму председателю Симбирского Совета с просьбой не отстранять И. Я. Яковлева от дела просвещения чувашского народа и сообщить по телеграфу условия избрания председателей педагогических советов чувашских женской и мужской учительских семинарий в Симбирске.
1918 г., ноябрь—декабрь	И. Я. Яковлев вместе со своим учеником И. С. Степановым перевел на чувашский язык Конституцию РСФСР.
1919 г., сентября 15.	И. Я. Яковлев вышел на пенсию.
1919 г., ноября 12.	И. Я. Яковлев написал большое письмо В. И. Ленину.
1920 г., марта 12.	В. И. Ленин подписывает рукописный и машинописный экзепляры протокола № 435 заседания Малого Совнаркома РСФСР от 11 марта 1920 г. с пунктом 1— о назначении пенсии И. Я. Яковлеву.
1920 г., ноября 23.	И. Я. Яковлев направляет письмо президиуму I съезда Советов Чувашской автономной области, в котором благодарит участников съезда за приветственную телеграмму и выражает уверенность в успешном развитии культуры и просвещения чувашского народа в условиях советской автономии.
1922 г., октябрь.	И. Я. Яковлев переезжает к сыну Н. И. Яковлеву на ст. Елизаветино близ Петрограда.
1923 г., лето.	И. Я. Яковлев переехал в Москву к сыну А. И. Яковлеву и дочери Л. И. Некрасовой.
1928 г., октябрь.	Празднование 80-летия со дня рождения И. Я. Яковлева и 60-летия основания Симбирской чувашской школы.
1930 г., октября 23.	И. Я. Яковлев умер в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

Иван Яковлевич Яковлев

ВОСПОМИНАНИЯ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ДОПОЛНЕННОЕ

Заведующий редакцией А. И. Скворцов. Редактор Н. П. Герасимова. Художник С. А. Владимиров. Художественный редактор Е. Е. Михайлова. Технические редакторы А. Ф. Никитина, В. П. Окина. Корректоры А. И. Елисина, Р. И. Крысина.

Сдано в набор 28.04.83. Подписано в печать 31.10.83. НТ 18114. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 15,12. Уч.-изд. л. 16,58. Тираж 10000 экз. Заказ № 1901. Изд. № 2. Цена 1 р. 30 коп.

Чувашское книжное издательство,
428000, Чебоксары, пр. Ленина, 4.

Типография № 1 Государственного комитета Чувашской АССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
428019, Чебоксары, Канашское шоссе, 15.

ББК 74.03(2)
Я 47

Яковлев И. Я.

Я 47 Воспоминания. 2-е доп. изд.—Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1983.— 288 с.

1 р. 30 к.

В 1982 году впервые были опубликованы «Воспоминания» выдающегося чувашского педагога-просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. В книге воссозданы картины его жизни и деятельности. Сразу же после выхода она стала библиографической редкостью. Учитывая многочисленные просьбы читателей, издательство предприняло повторный выпуск книги.

ББК 74. 03 (2)

1 р. 30 коп.

И. Я. ЯКОВЛЕВ

ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО